

День второй

- [Илья Эренбург](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
-

Илья Эренбург

День второй

*Да будет твердь среди воды. И стало так.
И был вечер, и было утро: день второй.*

Бытие

У людей были воля и отчаянье — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. Десятник Скворцов привез сюда легавого кобеля. Кобель тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от голода и от тоски. Он садился возле барака и, томительно позевывая, начинал выть. Люди не просыпались: они спали сном праведников и камней. Кобель вскоре сдох. Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним под землю, где тускло светились пласты угля. Они шли с ним и в тайгу. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, догадавшись, что не найти ему здесь иного прокорма, начал кусать человека.

На дороге сидел Захар Силкин, которого односельчане называли Халабруем, бывший кулак Веневского уезда, ныне переселенец и строитель шамотного цеха. Он сидел нагишом и злобно щипал свою рваную рубаху, стараясь уничтожить несметных врагов. Он сказал Ваське: «Эти граждане заведутся — от них не избавишься». Но Васька ничего не ответил, он только уныло дочесался.

В редакции газеты «Большевицкая сталь» Шольман, торопясь, дописывал статью о дезинфекции: «В бараке № 28 на столе можно увидеть «Анти-Дюринг», но там кишмя кишат клопы. Когда мы положим конец подобной некультурности?» В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки. Начесанные бока горели.

Но люди не звери: они умели жить молча. Днем они рыли землю или клали кирпичи. Ночью они спали.

Когда люди пришли сюда, здесь было пусто и дико. Кривой Артем из деревни Бессоновки пас здесь коров. Он сидел на пне и не то пел, не то кричал: «Э-э-э!» Его визгливый голос больно въедался в тишину степи. Иногда приходил сюда фельдшер Злобин из Кузнецка. Фельдшер собирал травы для лечебных настоек. Завидев Артема, он всякий раз лениво спрашивал: «Пасешь?» И так же лениво Артем отвечал: «Ага». Фельдшер сгонял Артема с пня и начинал

рассказывать о тайнах апокалипсиса: у фельдшера была своя страсть — он любил непонятное. Он говорил про число зверя, и, слушая его, Артем недоверчиво зевал.

В стороне был город — Кузнецк. Над городом белели развалины крепостной церкви. Когда партизан Рогов взял Кузнецк, он спалил церковь и повесил попа. Возле развалин люди останавливались по нужде. Здесь был чудесный вид и на реку Томь, и на перепуганные домишки кузнецких мещан, но воздух здесь был трудный.

Иногда в ясный день показывались горы, голубые, как вымысел. Там жили шорцы. Никто не знал толком, как они живут. Они уходили из своих улусов в тайгу, били медведей, выдр и белок. Шаман ударял в большой бубен и на непонятном языке разговаривал с духами. Духи любили мясо и пушнину. Охотник пел песню: «Птицы, птицы! Не клюйте моих мертвых глаз!» Шорка кормила длинной свисающей грудью пятилетнего мальчугана, и тот урчал, как медвежонок.

Когда пришли сюда люди с машинами, шорцы смутились. Машины бегали по степи и рычали. Пришельцы начали рубить тайгу. Тогда шорцы ушли прочь. Они передавали из одного улуса в другой: «Казачи идут!» «Казачами» они называли русских. Как от лесного огня, неслись прочь шаманы, дети, медведи и выдры. В августе то и дело горела тайга. Шаманы говорили, что злые духи разгневаны.

Люди пришли сюда со всех четырех концов страны. Это был год, когда страна дрогнула. В Москве не хватало бумаги, шла в ход папиросная и оберточная. Из старых лабазов выгаскивали конторские книги прошлого века. Люди с фантазией безудержной, как стихия, старались писать бисерным почерком, чтобы сберечь четвертку листа. Бумага нужна была для проектов, для смет, для таблиц. Трещали одуревшие «ундервуды». Как бешеные бегемоты, ворочались ротационные валы. На заседаниях от цифр першило в горле и захватывало дух. Члены коллегий заболели грудной жабой от исторического пафоса. Счетоводы и регистраторы начали пить чай прикуску; засыпая, они теперь мечтали о плюшках.

В стране надрывались паровозы. Из их груди исходил мучительный свист: они никак не могли поспеть за людьми. За одну ночь на вокзальных перронах, как сказочные горы, выросли тюки, корзины, узлы — все вшивое и пестрое добро. Оседлая жизнь закончилась. Люди понеслись, и ничто больше не могло их

остановить. Среди узлов вопили грудные младенцы. Старики отхлебывали суп из ржавых жестянок. Здесь были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, калмыки, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, бородатые рязанские мостовщики, комсомольцы, раскулаченные, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики и даже сектанты-проповедники. Все эти люди неслись куда глаза глядят. Они не знали, куда они несутся. Но все они неслись на восток, и это знала Москва.

По базарам Украины ходили вербовщики: они набирали рабочих. Глухие деревни севера всполошились, узнав, что в Кузнецке людям дают сапоги. В Казахстане раскулаченные баи успели вырезать скот. Казахи угрюмо щерились: они не знали, как им жить дальше. Они никогда не видали ни заводов, ни железнодорожного полотна. Им сказали, что где-то на севере еще можно жевать и смеяться. Тогда, подобрав полы своих длинных халатов, они пошли. Женщины тащили на спине ребят. Плевались измученные верблюды. Потом запыхтело железное чудовище, и у казахов замерли сердца. Они приехали на стройку, полные вшей, восторга и ужаса. Их повели к бараку, где сидел заведующий рабочей силой. Они не вошли в барак. Они сели на землю, скрестив худые ноги.

На стройке было двести двадцать тысяч человек. День и ночь рабочие строили бараки, но баракон не хватало. Семья спала на одной койке. Люди чесались, обнимались и плодились в темноте. Они развешивали вокруг коек трухлявое зловонное тряпье, пытаясь оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались одним громадным табором.

Те, что не попадали в бараки, рыли землянки. Человек приходил на стройку, и тотчас же, как зверь, он начинал рыть нору. Он спешил — перед ним была лютая сибирская зима, и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина, и вера. Земля покрылась волдырями: это были сотни землянок.

Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи моргановского крана.

Люди глядели на кран, который шутя подхватывал огромные болванки, и они понимали, что победа обеспечена. Они забирались в свои землянки. Крохотные печурки дымили. Находила зима. Мороз выжимал из глаз слезы, и от мороза плакали бородатые сибиряки — красные партизаны и староверы, не знавшие в жизни других слез. В трепете припоминали мечтатели из Полтавщины вишенники и темный, как сказка, юг. Ясными ночами на небе бывало столько звезд, что казалось, и там выпал глубокий снег. Но небо было далеко. Люди торопились с кладкой огнеупорного кирпича. Они устанавливали, что ни день, новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями.

«Почему ты приехал сюда?» — в сердцах спросил Васька Смолин рыжего Ястребцова. Тот, усмехнувшись, ответил: «Будто ты сам не знаешь. Вот получу спецовку и смоюсь». Тогда Васька Смолин, отчаянно сплюнув, отошел в сторону и громко сказал: «Гады! Мы строим гигант, а они пользуются...» На стройку приезжали летуны. Они получали сапоги и одежду. Потом они уезжали на другую стройку. Они увозили с собой казенное одеяло и презрение к человеческой вере. Они готовы были презирать весь мир. Но Васька Смолин их презирал — он отказался от премиальных: он строил гигант.

Бригада мостовщиков побила рекорд. Ее чествовали с музыкой. На эстраде сидел начальник строительства, два американца, секретарь ячейки и фотограф с большущим аппаратом. Фотограф все время приговаривал: «Отвратительное освещение». Трубачи надували щеки; без передышки они играли «Интернационал». На эстраду поднялся Антип Сорокин. Это был старый мостовщик, владимирец. Всю жизнь он мостил мостовые тихих, степенных городов. Когда большевики надумали мостить сибирские болота, кряхтя, он поехал в Сибирь. Он взошел на эстраду, хитро щурясь: он всегда хитро щурился, когда чего-нибудь не понимал. Председатель прочел по списку: «Товарищ Антип Сорокин». Играла музыка, и кто-то дал Антипу книгу. Тогда старый мостовщик заплакал: он не выдержал света, звуков и счастья. Он не мог прочесть эту толстую книгу — он читал по слогам. Но он слышал, как молодые говорили: «Мы строим гигант», и он сочувственно мычал. Потом он вспомнил о своей собственной жизни: нет валенок, Красникову дали гармошку, а гармошку легко загнать на

базаре, это не книга, и, вытерев рукавом мокрые глаза, он снова принялся хитро улыбаться.

Варя Тимашова кончила в прошлом году педтехникум. Она учительствовала на стройке. Ей было девятнадцать лет, и она любила переводные романы. Она думала, что она похожа на Ингеборг Келлермана. Она могла бы любить столь же глубоко и красиво, но у нее нет для этого времени... У Вари не было времени даже для мечтаний. Романы она читала только на каникулах. Она занималась в ФЗУ, и у нее каждый день было по десяти или по одиннадцати уроков. Из школы она возвращалась ночью. До Верхней колонии, где она жила, идти надо было добрый час. Не было ни тротуаров, ни фонарей. Варя вязла в глине. Иногда вода приходилась ей по колено, и Варя сердито ругалась: «Сволочи!» Она никак не походила на Ингеборг. Это была курносая русая девушка, с крепкими икрами и с добрым сердцем. Придя домой, она валилась на койку как мертвая, но вдруг приподымалась и, схватив тетрадь, что-то писала — она должна была записывать свои мысли. Она писала: «Надо объяснить ребятам наглядно отличие спор от семян. Чернов ужасный прохвост. У нас с 21-го объявлено соцсоревнование. Все-таки до чего прекрасна жизнь, и как я счастлива!..» Не в силах дольше бороться со сном, Варя совала тетрадь под подушку.

Летуны приезжали, чтобы сорвать спецодежду. Приезжали также крестьяне из ближних колхозов — «подработать на коровку». Приезжали и комсомольцы, товарищи Васьки Смолина: они строили гигант. Одни приезжали изголодавшись, другие уверовав. Третью привозили — раскулаченных и арестантов, подмосковных огородников, рассеянных счетоводов, басмачей и церковников.

На пустом месте рос завод, а вокруг завода рос город, как некогда росли города вокруг чтимых народом соборов.

Из других стран приезжали специалисты. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, вшам и морозам. Жили они отдельно от русских, у них были свои дома, свои столовки и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили.

Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они ходили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они бодро хлопали по плечу русских инженеров и улыбались

комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцевали друг с другом.

Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшеничную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.

Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».

Итальянцы ставили турбины. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за русскими девушками, соблазняя их и пылкостью чувств, и мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.

Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос.

В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые.

Однажды рухнули леса. Инженер Фролов и двадцать строителей обсуждали сроки работы. Настил не выдержал. Люди упали в ветошку и задохлись. Их торжественно похоронили. Каждый день с запада неслись длинные поезда. Люди высаживались возле маленькой будки, которая называлась «станцией». Ветер кидал летом пыль, зимой снег, и, болезненно щурясь, люди шли через пустыри туда, где шумела стройка.

Так 4 апреля зажглись огни первой домны. Небо стало оранжевым, а воздух наполнился скрежетом и смрадом. По проводам понеслась короткая «молния»: «Москва, Кремль. Выдали первую плавку чугуна в 64 тонны. Чугун бесперебойно принят разливочной

машиной. Чугун прекрасного качества, 4 процента кремния. Все агрегаты и самая домна работают совершенно нормально».

В тот день, когда начальник строительства послал «молнию» о пуске первой домны, на площадке было шумно: люди праздновали победу. В клубе итээров, всклокоченные от счастья, специалисты говорили речи и пили ячменный кофе с печеньем «Пушкин». В землянке Сидорчука, которую шутя называли «рестораном Порт-Артур», стоял дым коромыслом: Сидорчук тайно торговал водкой. Кто лез к сонливой жене Сидорчука, кто, перепив, тут же блевал. В красном уголке комсомольского барака Васька Смолин читал доклад: «Первый форт взят». После доклада состоялись коллективные игры. Манька визжала: «Не тронь! Я щекотливая!..» Смолин вышел с Верой на улицу. Ночь была холодная, и Вера вздрогнула. Васька сказал: «Так, Вера, делается история...» Вера в ответ тихо погладила его руку. В столовой для иностранцев косой Смитс пил пиво и кричал, что он выиграл у Хайнца пари: он говорил, что домну пустят в срок. Словом, в тот день все волновались.

Колька Ржанов улыбался. На его лице нельзя было ничего различить, кроме одной огромной улыбки. Впрочем, улыбались в тот день двести двадцать тысяч строителей. Улыбались моргановские краны и пестрые платочки киргизок. Улыбалось апрельское небо — оно сулило шумные ливни, зелень, всю горячую неразбериху сибирского лета. В тот день можно было и не заметить Ржанова, спутать его с Федоровым или с Чеборевским. Улыбка съедала и щеки и глаза. Но у Кольки Ржанова было свое лицо. Несмотря на его молодость, у него была и своя жизнь.

Отец Кольки работал в Свердловске (тогда говорили — Екатеринбург) на Верхне-Исетском заводе. Колька помнит, что отец любил пить пиво. Когда приходили товарищи, отец подолгу с ними спорил. Мать, раздосадованная, говорила: «Опять они наследили...» Отца расстреляли белые. Глотая слезы, мать шептала: «Тише, Колька, услышат...» Возле пруда Колька увидел офицера. Офицер смеялся и ел конфеты. Колька тотчас же подумал, что этот усатый человек убил его отца. Он уже умел ругаться, как взрослые. Он подошел к офицеру и громко крикнул: «Ирод!» Офицер не побил Кольку. Он и не

рассердился. Смеясь по-прежнему, он дал мальчику карамель. Колька зажал конфету в кулак и бросился бежать. Потом он остановился.

Растерянно поглядел он на карамель. Бумажка была красивая. Он знал, что конфету следует бросить, но он поддался искушению: он засунул ее в рот. Он долго сосал. Его лицо выдавало не счастье, но смятение. Ночью он испугал мать внезапным плачем. Мать думала, что ему жаль отца, и тихо она проговорила: «Может быть, и умереть легче, чем так жить...» Но Колька не думал об отце. Он ненавидел себя. Он бил себя маленькими розовыми кулаками. В ту же ночь он узнал, что жизнь не легка. Ему было тогда семь лет.

Он рос быстро и неровно, то гнулся в сторону, то поникал. Его мать была верующая, и в углу висела икона. Колька был пионером. Икону он снял. Он попробовал объяснить матери, что все это неправда. Христос воскрес только потому, что народы весной сеют, а у кита крохотная плотка и кит никак не мог проглотить Иону. Он говорил наставительно и долго. Мать заплакала. Тогда Колька растерялся. Он не любил слез. Он сказал: «Можешь повесить свою икону. А насчет кита — это факт».

Он учился в заводском училище. Из уроков он любил военизацию и родной язык. Он маршировал, стрелял и жадно повторял принципы стратегии. Он знал, что нет большей радости, нежели побеждать. На уроках родного языка он пропускал мимо ушей скучный синтаксис. Зато, как замороженный, он слушал стихи Пушкина. Он даже выучил наизусть две первые песни «Руслана». Его записали на черную доску за нарушение дисциплины. Он признал: «Правильно!» Когда был субботник по учету скота, он работал больше всех. Он видел, что счастье в труде, но у него было горячее сердце, и труд казался ему скучным. На уроках алгебры он читал романы Джека Лондона. В мастерских он затевал игры. Потом он кончил училище, и его послали в цех ширпотреба. Он вынимал из-под пресса кастрюли, и он тосковал.

Как-то в заводском клубе показывали картину «Вечный грех». Это была старая американская картина. К ней приделали русские надписи, и надписи поясняли, что бессердечный хозяин решил для забавы погубить одинокую конторщицу. Колька жадно глядел на красавицу с голыми плечами, на молодого шалопая, который пил ликер, на гонку автомобилей. Нельзя было угадать: догонит ли отец

Джона или не догонит? Они мчались так быстро, что болели глаза и голова шла кругом.

После этого вечера Коля зачастил в клуб нарпита. Там танцевали польку и вальс. Коля танцевал с девушками и пристыженно улыбался. Ему казалось, что он танцует хуже всех и что девушки над ним смеются. В душе он был растерян. Он часто спрашивал себя: должен ли комсомолец танцевать? Он не знал, как ему жить. Кругом люди работали день и ночь. Они не умели веселиться. Чтобы найти полузапретное веселье, нужна была сноровка. У Кольки появился учитель — некто Сотов. Этот Сотов числился комсомольцем, но он только и делал, что гулял с девушками или резался в карты.

Сотов спросил Кольку: «Ты куда ходишь с девчатами?» Колька густо покраснел. Он хотел было соврать: «В рощу». Но он не умел врать. Он признался Сотову, что он еще не знал в жизни женщин. Сотов долго смеялся. Из его огромного рта вылетали брызги, а зеленые глаза весело туманились.

Несколько дней спустя Сотов сказал Коле: «Приходи сегодня к Павлику». Потом он помолчал и многозначительно добавил: «будет весело». Колька понял и взволновался. Долго пытался он щеткой пригладить чуб, но чуб упорствовал.

У Павлика была настоящая пьянка. Выпив три стопки, Колька охмелел. Он, однако, продолжал и видеть и понимать. Сотов прижимал к себе Аньку из упаковочной. Колька подсел поближе — ему хотелось послушать, о чем говорят влюбленные. Сотов, который был груб и насмешлив, с Аней говорил непривычным голосом. Он говорил о своих чувствах, о том, что у Ани «глаза, полные сердечности», о том, что любовь теперь свободна, «не как в романах Толстого». Говоря это, он смотрел за тем, чтобы Аня пила, и, поднося ей рюмку, каждый раз приговаривал: «За самое большое одну малюсенькую...» Аня, пьянея, бессмысленно хохотала. Когда она на минуту отошла от Сотова, тот, не забывая своей роли опекуна, деловито сказал Кольке: «Ты, Колька, не зевай. Вот Маруська не у дел. Подпой, а потом — в рощу. Будет отбиваться — ничего: это они всегда так, а потом сами рады...»

Колька послушно выполнил все предписанное. Он дал Марусе большую стопку. Когда та сказала, что у нее кружится голова, он вежливо предложил выйти на свежий воздух — проветриться. Маруся

ему не нравилась: у нее были коровьи глаза, и она преглупо улыбалась. Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, он услышал запах духов. От этого запаха его начало мутить. Он подумал — вроде как клопами... Почему-то он сказал: «Комсомолка не должна душиться». Маруся перепуганно улыбнулась и ответила: «Это не духи, это одеколон, и плохой...»

В роще Колька вспомнил: надо бы поговорить о чувствах, вот как Сотов... Но слов у него не было; а когда он понял, что слова надо придумывать, ему стало скучно, как в школе на уроках немецкого. Неожиданно, не только для нее, но и для себя, он повалил девушку на мокрую траву, Маруся закричала: «Пусти! Я не хочу!» Колька виновато съезжился. Он сказал: «Это я пошутил. А теперь пора и по домам. Сыро здесь — ты простудишься...»

Потом, припоминая эту ночь, он неизменно морщился, как от приступа зубной боли. Он стал избегать Сотова. Он больше не ходил на пьянки. Он забросил и танцульки. Он понял, что жизнь, которая на экране ему показалась веселой и стремительной, так же скучна, как алгебраические формулы или как станки мастерской.

Он работал теперь исправно. По вечерам он ходил на собрания. Он много читал. Но в душе он был холоден ко всему: и к числу выпускаемых кастрюль, и к борьбе с оппортунистами, и к стихам Безыменского. Его глаза, цвета светлой резеды, глядели на мир печально и отчужденно. Они ни на чем не задерживались. Это были глаза слепого.

Шаров сказал ему: «Знаешь, я записался на ускоренные. Заниматься придется по ночам. Зато через четыре года буду инженером». Колька удивленно посмотрел на Шарова. Он не понимал этой воли. Зачем напрягаться, хитрить, зачем пробиваться вперед, отталкивая других, как будто жизнь — это набитый до отказа трамвай... Колька молчал, пока Шаров с восторгом рассказывал ему о своем будущем. Тогда Шаров, желая, чтобы его счастье разделили все, сказал: «Почему бы и тебе не налечь? Подготовиться можно за лето...» Колька ответил равнодушно: «Не всем быть инженерами. Нужны и рабочие». В его голосе не было ни зависти, ни обиды. Но вечером он отбросил роман Шолохова, судорожно зевнул и подумал: «Везет же такому Шарову! А я?.. Нет, мне уже поздно начинать...» Колька решил, что он — неудачник, и это его несколько успокоило.

Умерла мать. Умерла она в больнице. Перед смертью она захотела причаститься. Одна из сиделок согласилась сходить за священником. Поп пришел в пиджаке, робко поглядывая на служителей. По утрам он сидел в санитарном тресте и регистрировал исходящие. Но перед умирающей он вспомнил свой сан и величественно помахал грязными жилистыми руками. Сиделки отвернулись. Мать Кольки блаженно улыбалась. Эту улыбку и застал Колька. Он знал, что мать с двенадцати лет работала на прядильной. Двое детей ее умерли, мужа убили, а Колька вырос чужой и неласковый. Она не видала в жизни ни отдыха, ни участия. Но она верила в своего бога, и она была счастлива. Колька пренебрежительно морщился, но в душе он завидовал матери, как он завидовал и Шарову.

Ему было девятнадцать лет, но он думал, что это — старость. После смерти матери он жил в общежитии. Как-то он не вышел па работу: поранил палец. Он оказался вдвоем с уборщицей Нюшей. Нехотя читал он статью в «Известиях» о черной металлургии. Нюша подошла к нему и, пахнув на него щами, засмеялась. Она была веселая, ее так и звали «Нюшка-хохотушка». У Кольки помутнело в глазах, как будто он залпом выпил стакан водки. Он приподнялся и пробубнил: «Вот что...»

Потом он ничего не мог припомнить, кроме запаха щей и этого смеха на «о». Он выбежал на улицу. Была оттепель. Пахло гнилью, весной и лекарствами. Черные пятна на снегу казались болячками. Колька глубоко дышал. От сырого тумана кололо в груди. Он растерянно глядел на небо, на дома. Возле него висела афиша — поверх старой газеты было написано чернилами: «Боевик! Пламя любви». С ненавистью поглядел Колька на расплывшиеся буквы. Снова закололо в груди. Отстегнув ворот, он положил руку на грудь, но тотчас же ее отдернул: ему было ненавистно собственное тело. Он долго бегал по улицам. Торчали остовы домов. Старый город был наполовину снесен, новый еще только строили. Между железными скелетами гнил снег. Люди радовались весне, и они ругались, попадая в глубокие лужи. Колька бежал по талому снегу, ничего не замечая, полный глубокого, непонятного ему страха. Он думал, что его жизнь закончилась, и в этом тяжелом разложении зимы он видел нечто себе родственное.

Он еще выходил каждое утро на работу, но его преследовала одна мысль: уехать! Может быть, распростившись с этими родными ему местами, он освободится от сердечной пустоты. Долгачев, глядя на Кольку, говорил: «Парень-то наш заскучал».

Весна шла быстрая и расточительная. В одну ночь она смыла ливнем снег, который еще прятался от солнца. Она взломала лед на пруду. Она начала швырять на грустный город, в котором не было ни реки, ни тенистых садов, ни бульваров, то какие-то желтые цветочки, запестревшие среди щебня, то душистый вздор черемухи, то беспричинные улыбки. И эти улыбки развязно вмешивались в порядок дня очередных заседаний.

В шумное яркое утро Колька Ржанов понес на вокзал маленький сундучок. В сундучке лежали три рубашки, старые сапоги и пестрый галстук, купленный еще в те времена, когда Колька шлялся по танцулькам. Он ехал на стройку.

Всю дорогу он молчал. В окно глядеть было скучно: с утра до ночи тянулась все та же степь. Кругом люди без умолку говорили. Говорили они только о стройке: какие там харчи, правда ли, что дают по два кило сахара, не холодно ли зимой в бараках. Какой-то вертлявый человечек каждому повторял с глубоким восторгом: «Ровно на шестой день выдадут спецовку, честное мое слово!» В углу дремала бледная женщина. Она ехала к мужу. Выходя на минуту из забытья, она неизменно спрашивала соседей: «Вы мне скажите, а не страшно в Сибири? Я ведь по сложению слабая...» Колька трясся в такт колесам и сосредоточенно молчал. Он не знал, зачем он едет, он не знал, что с ним будет на новом месте, да сказать правду, он и не волновался. Его светлые глаза хранили все ту же отрешенность.

Но когда локомотив, облегченно вздохнув, остановился среди поля, когда из грязных прокуренных вагонов, которые казались людям уютными, как родной дом, выкатились на землю сундуки, корзины и узлы, когда обдал приезжих острый беспокойный ветер, Колька болезненно вздрогнул.

Вместе с Колькой Ржановым на стройку приехали и другие. В тот день приехало двести сорок новых строителей. Позади у них были разная жизнь и разное горе.

Егор Шуляев приехал прямо из колхоза. Он говорил: «В деревне теперь не житье. То — «сдавай картошку», то — «красный обоз», то — «коллективный хлев строим». Нет человеку спокойствия! Прошлой осенью у нас раскулачили тридцать восемь дворов. А какой же это кулак Клумнев, когда у него только и было добра, что две коровы? Здесь никому до тебя нет дела. Отработал, получил пропуск в столовую, похлебал щей и гуляй». Егор Шуляев привез с собой двести целковых. На стройку он приехал с женой. Оба стали на работу, как землекопы. Вечером они пошли подыскивать себе кров. В деревне говорили, будто за две сотенных можно купить теплую землянку.

Инженера Карпова прислали из Москвы. С тоской он думал о жене, о друзьях, о премьерах в Художественном театре, о залитой огнями Тверской. Он, однако, храбрился. «Конечно, работа здесь интересная. Можно сказать, внимание всего мира сосредоточено... Это вам, Сергей Николаевич, не проекты разматывать, это настоящее дело!..» Ему казалось, что он у себя в Столешниковом и что он спорит с Сергеем Николаевичем. Но он сидел один в столовке итээров. Он пил жидкий чай и нервно постукивал ложечкой о стакан. Кругом него люди спеша засовывали в рот картофельное пюре. Никому не было дела до Карпова. Допив чай, Карпов пошел на работу — он был специалистом по монтажу рольгангов.

Три сестры Кургановых прятались одна за другую: они никогда не видали столько людей. Они жили в деревне Игнатовка и продавали молоко. Когда началась коллективизация, коров отобрали. Потом пришло письмо Сталина о «головокружении». Коров развели по дворам. Две коровы Кургановых без присмотра околели. Девушки попробовали работать в колхозе, но с непривычки им было тяжело. Они вырабатывали мало трудодней. Тогда они решили уехать на стройку. Услыхав пыхтение экскаватора, они в перепуге заметались. Младшая — Таня — со страха начала икать. Но Варвара, заглянув в

барак, восхищенно сказала: «Чай-то у них фамильный...» Двух Кургановых послали на кладку кирпича — подавальщицами. Таня была определена уборщицей в барак № 218.

Старый партизан Самушкин приехал на стройку, потому что его грызла тоска. Десять лет он рассказывал всем, как он гонял по Алтаю белых. «Только мы подходим, а они уже ставят на колокольню пулемет. Я говорил: «За кровь товарищей вы безусловно ответите». И действительно, трудно сосчитать, сколько церквей мы спалили. Попов, разумеется, на дерево...» Самушкин рассказывал об этом односельчанам и случайным попутчикам, сотрудникам ОНО в Бийске и бабам на базаре. Вначале слушатели охали, поддакивали, волновались. Но мало-помалу гражданская война становилась историей. Самушкина перебивали: «Да ты об этом уже говорил!..» Он сидел в ОНО и писал бумаги: «Сельсовет Михайловского, несмотря на директивы центра, отказывается отпустить для школы дрова...» Как-то вузовец, услышав в десятый раз рассказ о пулеметах на колокольне, насмешливо спросил Самушкина: «Может, ты и при Бородине сражался?..» Самушкину стало в жизни неуютно: не было ни опасности, ни побед. Тогда он ушел со службы, сославшись на болезнь: старая рана, ревматизм. На самом деле он решил посмотреть, что такое стройка. Он попал сразу в какую-то канцелярию. Молоденькая девушка, даже не глядя на него, закричала: «Что же вы стоите? Надо сейчас же позвонить Шильману — на мартене только что сняли шестьдесят землекопов...» И, не переспрашивая, Самушкин кинулся к телефону.

Гришке Чуеву в Москве пришлось туго. Он продавал на Сухаревке сахар, который получал от заведующего распределителем Булкина. Этого Булкина недавно накрыли. Гришка понял, что пора менять местожительство. Четырнадцать лет революции он прожил кочуя. Он торговал контрабандным сукном в Батуме. В Ростове он работал на госмельнице, отпуская любителям крупчатку «по себестоимости». Потом его занесло на Днепрострой. Там он сводил инспекторов с машинистками. В Харькове он подыскивал комнаты. Теперь он приехал в Кузнецк. Опытным взглядом он оглядел бараки: здесь много людей, значит, здесь найдется дело и для Гришки! Он решил покупать у американцев крепкие напитки. Вечером он уже

доказывал Дорану, что два червонца за коньяк «Конкордия» красная цена.

Писателю Грибину надо было написать новый роман. Критики его донимали. Они утверждали, что Грибин уклоняется от современных тем. Грибин взял в журнале аванс под роман о стройке и заказал место в международном вагоне. Он стоял возле управления заводом и рассматривал проходящих. Рядом с ним какой-то клепальщик перематывал портянки. Грибин, морщась, вспомнил, что жена забыла вложить в саквояж одеколон. Он подумал о жене, о своем кабинете с портретом Пушкина, о далеком уюте, и он загрустил. Но надо было работать. Он вынул из кармана записную книжку и записал: «Большая постройка. Зовут «кауперы». Грандиозное впечатление. Вставить в главу, где ударник влюбляется». Утомившись, он зевнул и поплелся в столовую для иностранцев.

Шорец Мукаш приехал из улуса Сары-Сед. В улусе было четыре имама. Мукаш был охотником. Пушнину он отвозил русским и «Интеграл». За хорошую выдру ему давали до восьмидесяти рублей. В улус Сары-Сед приехал русский. Этот русский сказал, что стройка находится в стране шорцев и, следовательно, шорцы должны вместе с русскими строить гигант. Подумав, шорцы послали Мукаша — Мукаш был младший. Мукаш не понимал, что именно строят русские: дом, крепость или город. Он привез с собой трубку и божка. Трубка была из березового дерева с медной крышкой. Ее сделал дядя Мукаша хромой Ато, который считался лучшим стрелком. Кто сделал бога, Мукаш не знал. Бог висел над люлькой, вместе с крохотным луком. У бога были короткие руки и большая круглая голова. Бог охранял Мукаша от пули и от мух. Мукашу сказали, что он должен ехать в Тельбесс на копи. Там добывают руду, и там работает бригада шорцев. Ему сказали также, что он у себя дома, что эта страна — Шория и что большевики строят в Шории гигант. Мукаш ничего не ответил. Он запел. Русские не знали, о чем его песня — он пел на своем языке.

Елена Александровна Гарт приехала на стройку как переводчица. Она знала английский и немецкий. Она работала в тяжпроме, но Маня Королева ей написала, что на стройке работать куда интересней. Правда, в Кузнецке нет театров. Но иностранцы скучают, и вечера они проводят с переводчицами. В распределителе для инспекторов можно

достать все: шелк, береты, даже дамские туфли. Вдруг какой-нибудь американец влюбится в Елену... Мечтая, Елена зажмурилась. Тогда инженер Гармин в нетерпении крикнул: «Переведите — блюмсы сечением триста на триста отсюда направляются к шпеллерам...» От страха Елена похолодела.

Все эти люди приехали на стройку вместе с Колькой Ржановым; эти и другие, много других. Их записали в книгу. Никто не спросил, как они жили раньше и какая страсть привела их сюда. Их сосчитали, чтобы не ошибиться при выдаче хлеба. Людей распределили по цехам. Кольку Ржанова послали в доменный.

В тоске Колька оглядел барак. Люди лежали на койках не разувшись. Воздух был густой, как масло, — от махорки и от человеческих испарений. В углу без умолку кричал грудной младенец. Колька попробовал было читать, но лампочка была тусклая, и у него быстро заболели глаза. Тогда он прошел в красный уголок. Два котельщика играли в шашки. Они чесались и однообразно приговаривали: «А я через нее сигану...» На стене висел старый номер стенгазеты. Колька прочел: «Галкин предается азартным играм, а на просьбы прекратить дебош отвечает бурным матом минут на двадцать. Когда же мы сразим огнем пролетарской самокритики это безобразие, унаследованное царизмом?»

Колька подумал: зачем он сюда приехал? В Свердловске было чище и спокойней. По вечерам он мог читать. Скучно? Но скучно повсюду... Разве можно жить в таком хлеву... Колька прочел все в той же стенгазете: «Мы строим гигант!» Он недоверчиво усмехнулся: он видел вокруг себя усталых и несчастных людей.

Дня три спустя Колька пошел в клуб. Там он встретился с Васькой Смолиным. Смолин начал ему рассказывать про ударную бригаду комсомольцев. Колька улыбался. Нельзя было понять, радуется он словам Смолина или насмехается. Потом, все так же улыбаясь, он сказал: «А вот я видал в распределителе — конфеты только для ударников. Как же это: с одной стороны — энтузиазм, а с другой — кило карамели?..» Смолин не смутился. «Премии или чествования это ерунда. Вся штука в том, что мы строим. Это как микроб. По-моему, доктора могут найти такую болезнь: «кузнецкая лихорадка». Ты на себе это почувствуешь. В жар и холод кидает. Люди не едят, не спят. Помыться и то нет времени». Колька больше не

улыбался. Задумчиво постучал он папиросой о коробку и ответил: «Может быть. Я такого еще не видал».

Колька попал в бригаду Тихонова. Рабочие из других бригад смеялись над тихоновцами: «Они кауперы к сороковому году закончат...» Их звали «тихоходами». Кольку это злило. Он вспоминал школьные годы. Его группу дразнили «кувыркалы» за то, что при состязании в беге они сплеховали. Мальчишки из пятой группы даже сочинили песенку: «кувыркала фыркала». Колька тогда не вытерпел: он отлупил обидчиков.

Слыша, как рабочие смеются над «тихоходами», он досадливо пожимал плечами. Он плотал обиду, как плотают слезы. Он говорил с инженером Соловьевым. Тот объяснил, как надо прикреплять листы. Тогда подошел Богданов. Это был краснощекий веселый парень. Улыбаясь, Богданов сказал Соловьеву: «Вы, Иван Николаевич, на них не полагайтесь. Эти тихоходы уже месяц как валандаются, и все без толку». Колька даже сгорбился от обиды. Он хотел обругать Богданова, но сдержался. Он отошел к товарищам и вдруг каким-то очень тонким, не своим голосом сказал: «Что ж это такое, ребята?.. Чем мы хуже других?..» Он сказал это и покраснел от стыда. Ему казалось, что рабочие в ответ засмеются: «Конфетки захотелось?..» Но рабочие молчали. Только Фадеев проворчал: «Кормить не кормят, а тут еще рекорды ставь».

Отступить было поздно. С минуту постояв в нерешительности, Колька полез прикреплять лист к колесу. Он работал до изнеможения. Ночью он долго не мог уснуть. В ушах гудело, и, забываясь, он конвульсивно вздрагивал, как будто кто-то его будил.

Так началась борьба. Колька не думал ни о гиганте, ни о стране, ни о революции. Он думал о цифрах: обогнать! Он шел на все хитрости. Он соблазнял Фадеева: «Премировать будут сапогами». Он льстил молоденькому Крючкову: «Ты у нас первый». Он подзадоривал Тихонова: «Тебя выдвинут». Для себя он не хотел ни сапог, ни похвал, ни курсов. Он хотел одного: перегнать обидчиков.

В третью декаду бригада Тихонова выполнила задание на сто девять процентов. Впереди шли только богдановцы.

Увидав цифры на доске, Колька вспыхнул. Он вспомнил полотно экрана, мигание и гонку двух автомобилей.

В Свердловске у Кольки были товарищи, которые увлекались спортом. Телемисов играл в футбол. Он только и говорил о том, что они обязательно побьют челябинцев. Колька тогда над ним подтрунивал. Теперь он жил той же страстью. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «Сегодня, может быть, и перегоним...»

В июле Тихонов слег. Бригадиром выбрали Кольку. Фадеев подсунул ему бутылку — спрыснуть. Колька не хотел спорить с Фадеевым — он отхлебнул. Он даже не почувствовал едкости спирта: он был пьян другим. Ночью он проснулся. В тревоге он подумал: «Неужто я пьян?» Он встал. Кружилась голова. Он разбудил Крючкова и жалобно спросил: «Скажи, Мишка, я пьян, что ли?..» Крючков со сна выругался. Колька, застыдившись, вышел из барака. С утра он был на работе.

Перегнать богдановцев было не просто. Но Колька достиг своего: в сентябре его бригада стала первой.

Тогда неожиданно для себя он загрустил. Казалось, он должен быть счастлив. Он может теперь спокойно плядеть на краснорожего Богданова. На собрании актива Кольку поздравляли. Соловьев с гордостью сказал: «Это наши — ржановцы». Что же дальше?.. В душе Кольки обозначилась давняя пустота. Глаза были готовы вновь отстраниться от жизни. Несколько дней он проходил молчаливый и скучный.

Соловьев его спросил: «Когда же мы закончим восьмой каупер?» Тогда Колька как-то сразу очнулся. Он понял, что его жизнь теперь неразрывно связана с жизнью этих больших и грубых чудовищ. Когда писатель Грибин, обходя цеха, сказал, что мартеновские трубы «куда изящней», Колька обиделся: для него кауперы были самыми нужными и самыми прекрасными.

Он забыл теперь обо всем: о самолюбии, о цифрах, о красной доске, о богдановцах, которые снова ухитрились перегнать Колькину бригаду. Он работал только ради кауперов. Он видел, как они растут, и с волнением беременной женщины, с ее причудами и страхом следил за их таинственным ростом. Кауперы для него были не кирпичами и железом, не печами для нагревания воздуха, не сложным сооружением, которое позволит людям плавить чугун. Они жили своей отдельной жизнью. В «Порт-Артуре» землекопы пили водку и буянили. Старая киргизка искала вшей на голове дочери. Строители

ругались: «За ноябрь еще не выдали сахара». Кругом шла обычная жизнь. Но над этой жизнью жили кауперы.

В январе стояли лютые морозы. Термометр показывал минус пятьдесят. Даже старые сибиряки приуныли. Прежде чем выйти из теплого, вонючего барака на улицу, люди сосредоточенно замолкали: их брала оторопь. Работа, однако, не затихала. Газета каждое утро повторяла: «Стране нужен чугун» — и каждое утро люди шли на стройку — они торопились. Были в этом отвага, задор и жестокость — сердца людей наполнились той же неистовой стужей. Когда рабочий касался железа, он кричал от боли: промерзшее железо жгло, как будто его накалили. Люди строили не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Их подгонял голод и колонки цифр. Они валились без сил. Но они продолжали строить, и революция снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева, сибирских партизан и Конармии: теперь она жгла их так, как жжет пальцы металл на пятидесятиградусном морозе.

В один из самых жестоких дней Коля стоял возле каупера. Он увидел, что канат на мачте застрял: нельзя подымать листы. Тогда, не задумываясь, Колька полез наверх. Наверху было еще холоднее. Колька с трудом дышал. Большие круги света поплыли перед его глазами. Ему показалось, что он падает. Но он не испугался: в ту минуту для него не было смерти. Потеряв на миг равновесие, он успел схватиться за канат. Перед ним была вся стройка: кауперы, тонкие трубы мартена, бесконечно длинный блюминг, экскаваторы, краны, лебедки, мосты. Все это дрожало в холодном, как бы искусственном свете. Воздуха не было. Были трубы и машины. Над стройкой висел крохотный человек. Он должен был выпрямить канат. Он это и сделал.

Он оставался наверху свыше часа. Когда он спустился вниз, он больше ничего не понимал. Люди толпились вокруг. Кто-то крикнул: «Качать!» Его несколько раз подкинули вверх. Он молчал. Партизан Самушкин, стараясь скрыть волнение, выругался, а потом крепко сжал руку Кольки. Соловьев проворчал: «Да ты, брат, того — герой». Колька не улыбался. Он глядел наверх — теперь все в порядке!

Так работал Колька Ржанов. Так работали и другие. Их называли «ударниками». Одни из них надрывались, чтобы поручить леденцы к чаю или отрез на штаны. Других подгоняло честолюбие: они не хотели остаться позади. Третьи работали так, как обычно играют в

железку: это был свой, строительный азарт. Четвертые мечтали выйти в люди: стать обер-мастером, попасть на курсы в Свердловск, променять кирку или кувалду на портфель красного директора. Пятые боготворили завод. Машины для них были живыми. Они звали домну «Домной Ивановной». Они звали мартеновскую печь «дядей Мартыном». Шестые верили, что стоит достроить этот завод, как людям сразу станет легче: будут рельсы, а по рельсам понесутся сахар, чай, сукно и сапоги. Ударников было много — чистых и нечистых. Но все они работали скорее, нежели могли. Они работали скорее, нежели могут работать люди.

На кладке огнеупорного кирпича французские специалисты говорили: «Человек может положить в день полтонны». Каменщик Щеголев выслушал переводчицу и ничего не сказал. Его бригада вышла на работу в шесть утра. Щеголевцы работали до ночи. Они не курили, чтобы не потерять ни минуты. Когда они сдали работу, на человека вышло по полторы тонны.

В январе месяце строили ряжевую плотину. Запальщики взрывали лед. Рабочие стояли в ледяной воде. Беляев простоял в воде одиннадцать часов. Термометр показывал минус сорок восемь.

Бригада Гладышева торжественно обещала закончить клепку кауперов в двадцать дней. Рабочие не ходили в столовку. Они жевали хлеб и работали. Они простаивали на работе по восемнадцати часов без передышки. Они закончили клепку в четырнадцать дней.

У строителей были лихорадочные глаза от бессонных ночей. Они сдирали с рук лохмотья отмороженной кожи. Даже в июле землекопы нападали на промерзшую землю. Люди теряли голос, слух и силы.

По привычке в душной темноте бараков строители еще обнимали женщин. Женщины беременели, рожали и кормили грудью. Но среди грохота экскаваторов, кранов и лебедок не было слышно ни поцелуев, ни воплей рожениц, ни детского смеха. Так строился завод.

Жизнь Кольки Ржанова едва начиналась. Он почувствовал на себе доверчивые взгляды товарищей, и впервые он поверил в себя. Его походка стала живой и точной, зрачки как бы сгустились, голос погрубел. Прежде ему казалось, что он ничего не может: ни работать, ни учиться, ни любить. Теперь он ощущал, как живет и растет его тело. Иногда, работая, он вскрикивал «ого», только затем, чтобы услышать свой голос. Когда он выходил из темного барака, радовался

не только он, радовались его глаза, зрачки сужались, весело они облетали мир — абрис труб, нестерпимую белизну снега, крохотных, как жучки, людей и желтое зимнее солнце. Он понял, что он силен, что ему ничего не стоит поднять тяжелую полосу железа, что его ноги ловко обхватывают канат, что он может карабкаться, прыгать и при этом улыбаться.

Он теперь чувствовал в себе глубокое веселье. Он перестал чуждаться товарищей. В те скудные часы досуга, которые оставались после дня работы, он шутил и смеялся. Его забавы были несложны. Он пел с другими глупые частушки: «Сашка в красном уголке с Машей обнимается. На строительстве прорыв его не касается»... Он пел, не думая о том, что он поет, и он смеялся.

Как-то после доклада в комсомольском бараке были игры. Колька поймал Варю Архипову. Они оказались возле стены. Варя тяжело дышала — она запыхалась. Не думая ни о чем, Колька крепко поцеловал ее в губы. Варя не отняла своих губ; губы у нее были розовые и горячие. Кто-то сзади крикнул: «Ай да Колька!..» Тогда Варя побежала снова в круг. Больше ничего и не было между ними, кроме этого случайного и в то же время необходимого для обоих поцелуя. Только на следующее утро, работая, он вдруг набрал в рукавицу снега и прижался к снегу губами. Снег был сухой и обжигал. Колька задумчиво усмехнулся. Больше он никогда не вспоминал о поцелуе возле белой стены.

Как-то Колька проходил возле мостового крана. Он знал, что этот кран отличался огромной грузоподъемностью. Он глядел на него, как глядят на собор или на скелет мамонта. Ему хотелось понять ход колес и рычагов. Он жадно выслушал объяснения инженера. Ему показалось, что он понял. Но несколько дней спустя, когда он вздумал объяснить Крючкову, как работает кран, он сразу запутался. Он загрустил: до чего это трудно! Вот его выбрали бригадиром. Но разве он понимает, как движутся эти сложные машины? Он готов был пасть духом.

Вечером он увидел у Смолина книгу — там были рисунки различных кранов. Колька просидел над этой книгой две ночи, и наконец-то он понял. Он даже улыбнулся — как это просто! Он начал присматриваться к другим машинам. В нем проснулось огромное любопытство.

В доменном цеху работал немец Грюн. Этот Грюн до войны жил в России. Вернувшись в свой Эльберфельд, он только и рассказывал, что о русских диковинах: «Россия куда богаче Германии, да и русские не варвары — они скоро нас переплюнут». Когда он оказался без работы, он поехал в Сибирь на стройку. Беседуя с русскими, он неизменно расхваливал Германию: «Там люди умеют работать». У него были две родины, и его душа двоилась. Он обижался на молодых рабочих: они скалили зубы, когда немец начинал ворчать. Он никому не мог прочесть длинную нотацию, а без этого он не умел жить. Он весь просиял, когда Колька робко спросил его о работе на немецких заводах. Он обстоятельно рассказал Ржанову о различных способах коксования угля и об использовании колошникового газа. Колька решил, что нет ничего увлекательнее химии. Он подосадовал на себя, что в училище он не налег на химию. Он раздобыл учебник и решил каждый день проходить одну главу.

Грюн пошел с Колькой на электрическую станцию. Учебник химии долго лежал с закладкой на тридцать четвертой странице: Колька увлекся электричеством.

Он понял, как мало знает. Он сразу хотел узнать все. Это было чувство острое и мучительное, как голод. Он спрашивал Грюна: как по-немецки мост? А уголь? Какие в Германии прокатные станки? Ну, могут они прокатать болванку в пять тонн? Как одеваются немецкие рабочие — вроде наших или по-другому? А у вас много театров? Правда, что среди немецких рабочих много фашистов? Почему Грюн эсдек — это ведь значит — предатель? Почему же он работает на нашу пятилетку? В газете было, что ученые нашли в Берлине синтетический глицерин — это правда? Зачем за границей учат латынь — кому это нужно? А почему рецепты пишут по-латыни?.. Он спрашивал сбивчиво и несвязно — он торопился узнать.

Его любопытство не довольствовалось этими беседами. Каждый вечер он уносил из библиотеки новую книгу. Он спал теперь не больше четырех-пяти часов — по вечерам он читал. Он кидался от одного к другому: от Петра Великого к анатомическому атласу и от путешествий Нансена к политэкономии. Он разыскал в клубе товарищей, которые могли бы ему объяснить, каково положение японского крестьянина, как работают муфеля на беловском заводе, что такое фресковая живопись и о чем писал Сен-Симон. С жаром он

говорил о полетах в стратосферу и о цветном кино. Он видел перед собой тысячи дверей, и он метался, не зная, куда раньше всего кинуться. Он не хотел стать химиком или инженером. Он просто жил, и он хотел понять эту жизнь. Он думал, что можно узнать все.

Он продолжал с прежним упорством работать на стройке. Но мир его вырос. В этом огромном мире кауперы казались маленькими кустиками. Он понял, что нужно много кауперов и много домен, много заводов, машин, рук и лет, что путь к счастью долог. Но длина этого пути его не смущала. Он даже радовался ей. Он не понимал, как можно перестать строить. Он только-только открыл занимательную книгу, и он радовался, что в этой книге много страниц и что ее нелегко дочитать до конца. Теперь он искал уединения. Но он не чувствовал себя одиноким. Он видел товарищей: как он, они сидели по углам бараков с растрепанными, зачитанными книжками. Та же лихорадка трясла и других. Это не была редкая болезнь. Это была эпидемия.

Из деревень приходили новички. Перепуганно они косились на американские машины. Когда инженер говорил: «Нельзя дергать за рычаг», они недоверчиво ухмылялись: инженер казался им врагом.

Потом люди шли в плавку, как руда. Воздуходувки нагоняли каленный воздух, и металл отделялся от шлака. Одни продолжали жить, как они жили раньше. Они уныло работали — клали кирпич или копали землю. Они подолгу скручивали сигарки. Они препирались друг с другом. Они старались выиграть на этом пять или десять минут. Они жаловались: «щи в столовке жидкие», «сил нет — клопы заели», «нельзя ходить по этакой грязище без сапог», «ударники — истинная чума, из-за них и мучаемся»... Иногда эти люди казались Кольке преступниками. Он думал, что их надо судить, отобрать у них хлебные карточки, послать их на принудительные работы. Иногда в смущении он сам себя спрашивал: может быть, это обыкновенные люди? Может быть, и впрямь нельзя требовать от людей, чтобы они так страдали ради будущего?.. Это были минуты упадка и усталости. Тогда Колька глядел на мир глазами виноватыми и несчастными. Он походил на загнанную лошадь. Он старался отделаться усмешкой: он называл это «ликвидаторскими настроениями». Но усмешка не помогала. Помогала молодость. Помогали также другие люди: не все жаловались и не все ругались.

Когда плавят руду, шлак, который легче чугуна, плавает поверху — его выплескивают. На стройке росли не только кауперы, росли и люди. Курносая Шура зубрила азбуку. Стыдясь, она спрашивала Кольку, правда ли, что самолет летает без пузырей. Васька Смолин готовился в вуз, и ночи напролет он просиживал за тригонометрией.

Колька знал, что главный инженер строительства Бардин умен и знаменит. В «Известиях» о нем была большая статья с портретом. Смолин рассказал Кольке, что американцы, которые над всем подсмеиваются, о Бардине говорят почтительно. Этот инженер, на вид скромный и застенчивый, для Кольки был человеком, который знает все. Но вот Кралец из управления рассказал Кольке, что Бардин получает кипы иностранных журналов. По ночам он читает. Он следит за всеми изобретениями в области металлургии — он боится отстать. Колька понял, что и главный инженер продолжает учиться. Это его испугало и обрадовало. Он вспомнил, как он впервые взобрался на верхушку каупера — кружилась голова, мир сверху казался игрушечным. Колька взволнованно дышал: перед ним открывалось самое большое.

Как-то в комсомольском клубе был литературный вечер. Из Новосибирска приехал актер Лаврушин. Он читал стихи Некрасова и Маяковского, а потом рассказы Зощенко. Колька со всеми аплодировал, когда Лаврушин кричал: «левой, левой», и он до упаду смеялся над «Аристократкой». С тех пор как он приехал на стройку, он не читал больше ни романов, ни стихов. Он думал, что это — забава и что на забаву не стоит тратить времени. Как-то, еще в Свердловске, он пошел в театр, но пьеса ему не понравилась, и он клевал носом. Теперь все его занимало: гримасы актера, рифмы, смешные словечки.

После Лаврушина два комсомольца читали собственные стихи. Один из них клялся, что Кузнецк не уступит Магнитогорску. Другой был лириком, он восклицал: «Твои физкультурные губы!» Обоим много аплодировали.

Час был поздний, но комсомольцы не расходились. Они упрашивали Лаврушина почитать еще. Шура крикнула: «Что-нибудь покрасивей», — и покраснела от смущения. Лаврушин достал из портфеля книжку и начал читать. Кольке показалось, что он уже читал это. Может быть, в школе?.. Сначала было очень смешно. Потом

Колька услышал слова странные и необычные. Он знал эти слова. Он даже часто слышал их: «дорога, душа, пыль, грусть». Но никто перед ним не повторял этих слов в столь неожиданном и прекрасном очертании. Казалось, что это написано на чужом языке. От волнения захватывало дух. Колька не видел больше ни товарищей, ни Лаврушина, который то закатывал вверх глаза, то, багровея весь, ударял кулаком по столу. Колька слушал.

Все шумно заплодировали. Колька не мог шевельнуться. Он хотел спросить, что же с ним приключилось, откуда берется такая сила, какой человек мог написать эту книгу? Но он еле слышно пробормотал: «Что это?» Чапылов, который сидел рядом с Колькой, ответил: «Не знаю». Потом Чапылов подошел к Лаврушину, заглянул в книжку и вернулся с обстоятельным ответом: «Сочинения Н. В. Гоголя». Колька не слушал его. Рассеянный, он прошел в свой барак. Он лег, но не мог уснуть. Он продолжал слышать странные слова. Они заполняли мир, и Колька растерянно прислушивался к их гуду. Он понял, что кроме вещей, есть слова и что эти слова живут отдельной жизнью. Мир, который и прежде казался ему необъятным, снова вырос.

В ту ночь он не спал. Он много думал. Мысли его были путаны. Он вдруг догадался, почему в роще он не мог ничего сказать большеглазой Марусе. Кроме знания, существовало другое: звуки, беспричинная боль и огромная непередаваемая радость.

Когда начало светать, он вышел на улицу. До работы оставался час. В воздухе было нечто смутное и беспокойное. Все мчало, капало, гудело. Была оттепель. Значит, скоро год, как он здесь... Весна, с ее двоением, с дыханием, полным слез, цветочного сока и карболки, с ее зудом, гулом и глубокой немотой, теперь не показалась Кольке мучительной. Она шла на него, как счастье. Когда в голубоватом тумане показались кауперы, Колька подумал: домна будет пущена к сроку! Так строят завод. Так строят и человека.

Революция одних людей родила, других убила. Колька Ржанов рос и радовался: он только начинал жить. Курносая Шурка из Криводановки ходила, как именинница: она сразу получила все — и азбуку, и городские туфельки, и кино, и собрания. На собраниях, вместе с другими, она решала, как быть и что делать. Васька Смолин поступил в институт черной металлургии. Их было много — Колек, Васек и Шурок. Неуклюже и весело они вступали в жизнь.

В Свердловске Колька часто встречал нищего, который приговаривал: «Гражданин, подайте отверженному!» Это был Иван Гаврилович Благодравов, бывший профессор Духовной академии. Он был стар, немьт и нечесан. Когда ему удавалось набрать несколько рублей, он жадно тянул из горлышка горькую. Его тощие ноги дрожали. Он спал в подвале развалившегося дома. Он был болен и мочился под себя. Никто за ним не смотрел. Когда-то он любил открытки с видами Крыма и «Осеннюю песню» Чайковского. Он забыл об этом. Его воспоминания были несвязны и назойливы: он видел то пол детской, натертый воском, то стерлядку на длинном блюде, то пухлые руки покойного ректора. Он еще дышал и двигался, но он был мертв.

Сын предводителя дворянства Станевич молодость провел в Оксфорде, он изучал английское право и высшую школу верховой езды. Теперь он промышлял извозом. Он кряхтел, сквернословил и старался ни о чем не думать.

Любимица Екатеринбургга Ася Муратова, которая лучше всех пела «Поцелуем дай забвенье», в «Деловом клубе» мыла сальные котлы. Она уносила с собой пшеничную кашу в платочке.

Так умирали те, которые не могли больше жить.

На стройке работали комсомольцы. Они знали, что они делают: они строили гигант. Рядом с ними работали раскулаченные. Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им

сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые тощие груди.

Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпереселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: «Нишкни!»

На осиновших рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков, тот, что перед смертью причастил мать Коли Ржанова. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он начал проповедовать «близость сроков». Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Его послали в концлагерь сроком на три года. Он грузил в шахте уголь. Рядом с ним работал Шурка Турок. Шурка прежде торговал кокаином. Извеков говорил Шурке: «Нечестивцы будут брошены в озеро, кипящее огнем и серой». Он говорил это, но он больше ни во что не верил. Он только припоминал тексты писания. Шурка в ответ гадко ругался. Зловеще посвечивал уголь.

В Топольниках в однодневном доме отдыха молодые казачки играли с комсомольцами. Они весело повизгивали. Петька Гронцев стоял над микроскопом: он глядел на каплю воды. В воде неведомые существа трепетали и росли. Капля воды была огромным миром, и Петька Гронцев задыхался от непомерной радости узнавания. Ирина Травина, работница механического цеха, читала товарищам стихи Маяковского. Ирина недавно вступила в «бригаду Маяковского» — работники этой бригады читали на вечерах стихи любимого поэта. Волнуясь, Ирина декламировала: «Наш бог — бег, сердце наш барабан». Она не понимала смысла этих слов, но они ее веселили, как весенний ветер. Колька Ржанов стоял на берегу Томи. Он глядел на ледоход. Огромные льдины, скрипя и торопясь, надвигались одна на другую. Казалось, не река это движется, но мир, и Колька, раскрыв широко глаза, не слыша ни шуток товарищей, ни суматохи — из прибрежных домиков выносили добро, — глядел на реку — река шла.

Одних людей революция сделала несчастными, других счастливыми: на то она была революцией.

Судьбу людей разделили и города. Когда-то города рождались, отстраивались, копили добро и не спеша старились. Революция прошла над городами. Тогда одни из них выросли, как в сказке. Другие смутились, примолкли и стали рассыпаться, как будто они были сделаны из снега или из песка.

Был уездный городок Ново-Николаевск. Люди в нем жили тихо и нехотя. Пристав Глашков пил зубровку, а директор прогимназии Клосовский признавал только померанцевую — собственной настойки. На главной улице чесались свиньи. Дома были низенькие и все деревянные. Сапожники в праздники буянили. Чиновники играли в преферанс. Ученики прогимназии читали Леонида Андреева и рисовали на заборах похабные картинки. Это был город, как тысячи других. Потом настала революция. Город брали белые и красные. Потом революция победила. Город переименовали: он стал Новосибирском. Он переименовал не только имя: он начал другую жизнь.

Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди. Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки называли «Нахаловками». Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром. Из Москвы приехал товарищ Зак. На нем были модный френч и сапоги из шевровой кожи. Он носил немецкий портфель с двойными ремешками. Появились в городе форды. Сотрудницы ОНО и «Лесотреста» ходили теперь с ярко-малиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Киршона. Приехал из Харькова Кронберг и начал по знакомству поставлять заграничный коверкот. В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся «ресторан повышенного типа» с водкой и с музыкой. Из Иркутска прибыли братья Фомичевы — знаменитые по всей Сибири взломщики.

Старые дома сносили. Улиц больше не было, и весь город превратился в стройку. Он был припудрен известкой. Он пах олифой, нефтью и смолой. Автомобили прыгали по ухабам, вязли в грязи и, тяжело дыша, вырывались на окраины. На окраинах было ветрено и пыльно. На окраинах люди рыли землю, и редактор «Советской Сибири» острит: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы».

Город мечтал о новой Америке. Начали строить большие дома: это был Новый Свет — каким его показывают на экране. Жители

говорили о своем городе: «Это сибирский Чикаго» и, желая даже в шутке соблюсти стиль, они поспешно добавляли: «Сибчикаго». Дома были сделаны по последнему слову моды. Они казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами.

Гордостью города была новая гостиница. Ее звали «Динамо». В номерах расставили громкоговорители и самый лучший из номеров назвали «наркомовским». В гостиницу как-то приехал настоящий нарком из Москвы. Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь в Сибчикаго начиналась с большого: с громкоговорителей. В вестибюле гостиницы сидели чистильщики сапог. Ветхие ботинки, привезенные из Старого Света, начинали блестеть, как новорожденные. Но у дверей гостиницы была непролазная грязь. Калоши оставались в грязи, и люди их привязывали бечевками. При гостинице имелся большой зал. Там собирались съезды и совещания. Делегаты из глухих сел Алтая слушали доклады об апатитах и о лицемерии Лиги наций. Имелся при гостинице и ресторан. На двери висел грязный листочек, карандашом было выведено: «Сиводни вужен». Заведующий не был тверд в правописании, зато он умел достать на ужин рыбу — нельму или муксуна, и он был полон энтузиазма.

В город приезжали тунгусы, остяки, ойраты. Они требовали дробы, керосина, учебников. Дул холодный ветер. Товарищ Ишамов бодро говорил: «В полосе вечной мерзлоты скоро зацветут яблони!» Раскосые люди просиживали часами на заседаниях. Они молчали. Потом они начинали говорить. Они говорили о величии коммунизма и о том, что в их поселки надо скорее послать врачей.

Возле города строили большой завод, чтобы изготавливать комбайны. Вокруг завода колосилась пшеница. Город распределял, наставлял и правил. Не переводя дыханья, днем и ночью город повторял: «Слушали — постановили». Даже сны его были протоколами. В городе было не менее тысячи машинисток. В городе были обком и облисполком. Город все рос и рос. По переписи в нем значилось двести пятьдесят тысяч жителей.

Приезжали мечтатели из Иркутска, из Барнаула, из Тобольска: они искали удачи. Из Москвы приезжали лекторы, певцы и жокеи. Появились гербы иностранных консульств. Еще больше разрослись

разные «Нахаловки» и «Порт-Артуры». Люди слетались из окрестных деревень на яркий свет управлений, трестов и кино.

Такова была судьба одного города.

У другого города позади была долгая жизнь. Томичане издавна гордились своей родиной. В те времена, когда люди любили не Америку, но классический стиль и велеречие, они шутя называли Томск «сибирскими Афинами». В этом городе декабрист Батеньков строил замысловатые дома с бельведерами. Польские ссыльные читали стихи Мицкевича и Словацкого. Когда в Томске венчался бунтарь Бакунин, посаженным отцом был губернатор, а посаженной матерью местная мещанка Бардакова. В Томске проживал старец Федор Кузьмич — бродяга, наказанный плетью. Народная молва превратила царя в бродягу, как не раз она превращала бродяг в царей. В томском монастыре содержалась невеста Петра II, Катя Долгорукова, девица семнадцати лет от роду, постриженная по приказу императрицы Анны Иоанновны. Имелись в Томске свои масоны. Они образовали ложу «Восточное светило». Томичане мечтали о справедливости и о просвещении. Их арестовывали и посылали на рудники. Просветитель Сибири, краевед, историк и писатель Потанин был приговорен к пяти годам каторги. Серафим Шашков поместил в «Томских губернских ведомостях» статью: он говорил, что в Томске надлежит создать университет. Серафима Шашкова обвинили в государственной измене. Он был присужден к двенадцати годам каторжных работ.

Университет все же был создан. В нем читали профессора с европейским именем. При университете имелась обширная библиотека. Она получила в дар книги графа Строганова. В библиотеке хранились французские книги, которых не было даже во Франции. Ученые приезжали из Парижа в Томск, чтобы ознакомиться с сочинениями Жан-Поля Марата, который до революции писал труды об электричестве. Томские студенты устраивали тайные кружки. Они читали Маркса и Михайловского. В городе было несколько тюрем: для каторжан, для пересыльных, для подследственных. В тюрьме сидели студенты и рабочие из депо. Осенью 1905 года черносотенцы подожгли дом томской железной дороги: там шел митинг. Люди выскакивали из горящего здания. Их били дубинами и нагайками.

Напротив пожарища, в кафедральном соборе епископ служил благодарственный молебен.

До постройки сибирской магистрали через Томск проходил тракт. По первопутку люди возили в Москву китайский чай и шелка. Сибирь посылала золото, масло, пушнину. Москва слала чиновников и конвойных: между конвойными звенели кандалами каторжники. У каторжников была выбрита половина головы.

Томские купцы богатели на золоте. Федот Попов открыл прииски на реке Закроне близ Томска. Его брат Степан оборудовал первый в России свинцовоплавильный завод. Сын Степана, получив наследство, умилился и пожертвовал в томский собор крест, украшенный ста двадцатью шестью бриллиантами и ста десятью яхонтами. Купец Горохов построил дом с садом. Один сад обошелся ему в триста тысяч рублей. В саду были статуи, бельведеры, беседки: «Храм любви» и «Убежище для уединения». Горохов намывал в год золота на два миллиона рублей.

Губернатор Лерхе требовал, чтобы ему приводили ежедневно девушек. Особенно он любил гимназисток. Начальник тюрьмы был знаменит тем, что, глядя, как порют на кобылке какого-нибудь Ивана Непомнящего, он повторял: «Богородица, дево, радуйся!» Были в Томске и знаменитые грабители. Они катались в кошევках и крючьями стаскивали с прохожих шубы. В нижней части города жили татары, они были лошадиниками, и Томск славился лихачами.

В театре играли «Детей Ванюшина» и «Синюю птицу». Жены профессоров увлекались стихами Бальмонта. Они повторяли: «Будем как солнце». В садах цвела персидская сирень. Летом томичане перебирались на другой берег Томи — там, среди кедровника, были расположены дачи.

Имелись в Томске депо, спичечная фабрика, литейный завод, мыловарня, несколько типографий. В казармах, где жили рабочие, большевики подолгу спорили с меньшевиками.

Потом началась революция. Вырос Новосибирск. Покряхтев, Томск сдался.

В голодные и холодные годы люди разбирали заборы и дома на топливо. Новых домов не построили. Построили только новый цирк. Дома гнили и падали, старые кондовые дома с резными воротами и затейливыми ставнями. Вместо тротуаров были деревянные настилки.

Они истлели. Когда человек ступил на доску, доска подпрыгивала. Это было забавно, но томичане предпочитали ходить по мостовой. В домике Федора Кузьмича догадливые люди устроили отхожее место: люди любят по естественной надобности ходить не туда, куда полагается. В верхнем городе сломали заборы: там предполагали устроить общественный сад. Но сада так и не устроили — остался пустырь. На кладбище, где были похоронены Потанин и другие сибирские мечтатели, года два сряду резвились беспризорники. Они посбивали все памятники. Лошади лихачей, отощав без овса, стали походить на допотопных чудовищ. Люди понаходчивей и пободрей уехали из Томска в Новосибирск, в Кузнецк или в Москву. Остались растяпы, чудаки и лишенцы. Лишенцы, прикрыв плотно ставни, зажигали лампадки перед иконами. В собор свезли картошку, но картошка сгнила. В церкви Вознесенья тощий попик аккуратно служил панихиды по «убиенным».

Жил в Томске купец Макушин. Он был известен как поборник просвещения и благотворитель. Он построил технологический институт. После революции его выбрали почетным председателем «Общества ликвидации безграмотности». Он работал в томском наробразе. Потом он умер. Он завещал похоронить его не на кладбище, но во дворе построенного им института, а на могиле, вместо креста, поставить памятник: кусок рельса, лампочка и надпись — «Путь к знанию». Завещание было в точности выполнено. Лампочку, однако, вскоре стянули: все в городе знали, каков путь к знанию, но лампочек в городе не было. Рельс еще стоял на месте, но некто Шегец уже выдвинул проект использования старых рельсов для ширпотреба: из рельсов, по его словам, можно было изготавливать превосходные утюги.

В Томске имелось несколько фотографов. Над их заведениями значилось: «Друг детей» — часто выручку фотографы отдавали на содержание детских колоний: этим они откупались от суровости времени. В театре зимой было холодно, но, когда ставили «Коварство и любовь», зрители согревались аплодисментами и чувствами. В театральном буфете можно было получить чай без сахара, славянскую минеральную воду и красивые коробки для конфет.

Судьбу различных городов легко было распознать на вокзале: достаточно было поглядеть, какой хлеб едят местные жители. Там, где

люди строили гиганты, хлеб был светло-серый и нежный. В Томске хлеб был черный, мокрый и тяжелый: пятилетка обошла Томск, и Томск умирал.

Томичане, не зная, чем им гордиться, с нежностью поглядывали на новый цирк. Изредка приезжали в Томск столичные эквилибристы и наездники. Они попадали сюда после гастролей в Свердловске и в Омске. Однажды приехал укротитель львов, старый немец из Бреславля. Весь день он бегал из одного учреждения в другое: он искал корма для львов. По договору львы должны были получать каждые три дня лошадь. Наконец укротитель раздобыл какую-то клячу. На бойне, однако, лошадь отказались убить: она еще годилась для работы. Во время представления старый лев, обычно кроткий, как пудель, кинулся на укротителя. Лев был голоден, и он не понимал, что Томск это не Новосибирск. Он начал грызть руку укротителя. Его загнали в клетку холостыми выстрелами.

Профессора университета между лекциями становились в очередь возле распределителей: они ждали, когда привезут хлеб. На базаре мальчишки продавали грязный сахар по кускам, и старые бабки глядели на этот сахар глазами, полными умиления.

Так жил город, который должен был умереть. Его не могли спасти ни шумная история, ни строгановская библиотека, ни рвение томичан, которые проектировали постройку завода дорожных машин. Томск был в стороне и от магистрали и от жизни. Он был осужден.

Но революция была своенравна и богата на выдумки. Она спускала в ту же шахту раскулаченного и комсомольца. Она золотила купола Архангельского собора, и она уничтожала соборы Углича. Она признавала только два цвета: розовый и черный, и эти два цвета она клала рядом.

В Томске жил раввин Шварцберг из Минска. Его привезли сюда с женой и с маленьким сыном. Жена шила платья, а раввин с утра до ночи проклинал мир. Он проклинал жену, сына и себя. Он проклинал Минск и Томск. Он проклинал революцию и жизнь. Он ел черный мокрый хлеб, и он выл от боли. У него была язва желудка, и он чувствовал, что он скоро умрет. Его жена работала и плакала. Ее слезы лились безостановочно, как дождь в осенние дни. Она старалась не залить слезами платья, но слезы лились и лились. «Да будет проклят день, когда он увидел свет»,— говорил раввин Шварцберг, глядя на

маленького Иосика. Иосик не понимал отцовских проклятий, он улыбался. Накануне праздника Рош-гашана жена раввина весь день бегала по городу: она искала свечу. Она достала свечу и зажгла ее. Тогда Иосик спросил: «Почему свеча, когда сегодня горит электричество?» Иосик знал, что электричество в Томске часто гаснет, но в тот вечер станция работала, и он не мог понять, почему мать зажгла свечу. Мать ответила: «Завтра праздник». Иосик обрадовался: «Значит, завтра все будут ходить с флагами?» Старый раввин не слышал этого, он молился своему злему и ненавистному богу. Мать сказала Иосику: «Нет, Иосик, завтра другой — еврейский праздник». Но Иосик не унимался: «А почему евреи не ходят с флагами?» Он не понимал скорби матери. Резвясь, он задул свечу. Он был весел, и он хотел вместе с другими ребятами ходить по городу и махать флагом. Ему было пять лет, и он доверял миру.

Томск мог умереть, но в Томске был университет. В Томск приехали десятки тысяч студентов. Они не знали истории города. Им были безразличны и причуды купца Горохова, и страдания Потанина, и деревянная резьба на воротах старых усадеб. Они приехали, чтобы изучать физику, химию или медицину. Они читали, как Евангелие, «Основную минералогию», «Расстройство пищеварения» или «Болезни злаков». Они ели тот же мокрый и тяжелый хлеб, но он им казался вкусным, как пряник: у них были крепкие зубы, здоровые внутренности и голод молодых зверей. Они заполнили Томск грохотом и гоготом. Они забирались в дома, где доживали свой век несчастные лишенцы. Они делились с лишенцами паечным хлебом и сахаром, и лишенцы их пускали в свои каморки, полные пыли, моли и плесени. Они могли спать на козлах, на нарах, на полу. Они спали тем сном, о котором говорят, что он непробуден. Но рано утром они вскакивали и бежали к рукомойнику с ледяной водой. На ходу они повторяли химические формулы или названья черепных костей. Их было сорок тысяч. Среди них были буряты, остяки, тунгусы и якуты. Они знали, что через несколько лет они будут управлять страной, лечить и обучать, строить заводы, налаживать совхозы, буравить горы, чертить планы мостов и, забираясь в самую глушь необъятной страны, весело тормошить сонных людей, как тормошит их яркий день, своими лучами взламывая ставни. Так зажил Томск второй жизнью.

Васька Смолин приехал в Томск, чтобы учиться: он мечтал стать специалистом по постройке доменных печей. Илья Саблин записался на физическое отделение: он хотел разыскивать новые залежи цинка и меди. Коренков предполагал по окончании медицинского факультета уехать на Крайний Север и там бороться с цингой. Ажданов изучал различные породы корнеплодов. Они не занимались ни философией, ни поэзией. Они изучали точные науки, и они в точности знали, зачем они их изучают.

Они не знали, что с ними станет через несколько лет. Жизнь всей страны менялась из года в год, это была жизнь без быта. Но все они знали, что в этой текучей и переменчивой жизни им обеспечено верное место. Оттого их смех был весел, а сны спокойны.

Были, однако, и среди вузовцев отщепенцы. Они не умели искренне смеяться. Невольно они чуждались своих товарищей. Они не были ни смелей, ни одаренней других, но они пытались идти не туда, куда шли все. Их легко было распознать по беглой усмешке, по глазам, одновременно и презрительным и растерянным, по едкости скудных реплик, по немоте, которая их поражала, как заболевание.

Таким был и Володя Сафонов. Профессор Байченко сказал Сафонову: «Вы типичный изгой». Володя заглянул в словарь. Там значилось: «Изгой — исключенный из счета неграмотный попович, князь без владенья, проторговавшийся гость, банкрот». Володя усмехнулся — профессор прав. Сафонова надлежит исключить из счета. Только по недосмотру он еще состоит в жизни. Он, например, не верит, что домна прекрасней Венеры. Он даже не уверен, что домна нужнее, нежели этот кусок пожелтевшего мрамора. Он — неграмотный попович. Он сдал, как и все, диамат. Но если просмотреть его мысли так, как просматривают школьную работу, придется подчеркнуть красным карандашом любой день. Все его существо — ошибка. Он не объясняет скуки доктора Фауста особенностями периода первоначального накопления. Когда на дворе весна и в старых садах Томска цветет сирень, он не ссылается на Маркса. Он знает, что весна была и до революции. Следовательно, он

ничего не знает. Он туп и неграмотен. Он даже сомневается в том, что он — попович: у него подозрительное происхождение, его отец читал Мирбо и Короленко.

Сафонов — князь без владенья. Князь теперь не титул. Это, скорее, клеймо. Мотыльки не помнят ни тяжелого копошения гусеницы, ни того, как замирал кокон, — мотыльки весело порхают. А у князя избыток памяти. Он помнит за себя и за других. Он хил, щеделушен и, говоря откровенно, ничтожен. Трудно перечислить его наследственные болезни. Он готовится к параличу, и, однако, он сиятелен. Сафонов — князь не по родословной, он князь по несчастью.

Какие же у него владения? Койка в общежитии? Книжка Пастернака? Дневник? Разумеется, его владенья необозримы. Он недавно беседовал с Блезом Паскалем во дворе парижского Порт-Рояля. Он может оседлать коня и отправиться с поручиком Лермонтовым в самый дальний аул. Ему ничего не стоит подарить любимой Альгамбру или Кассиопею. Но эти владенья не признаны законом. Перед людьми он нищ. У него нет комсомольского билета. У него нет даже заваливающейся надежды.

Вернее всего, он — проторговавшийся гость. Не пора ли признаться, что они банкроты? Они торговали верой, сердечным жаром, передовыми идеями. Они торговали и проторговались. Мечтая о справедливости, они не забывали о сложных рифмах. Невинности они не соблюли. Что касается капитала, то он был достаточно условен. Этот капитал ликвидировали заодно с капитализмом. Говорят, будто могила Кюхли в Тобольске разворочена. От Достоевского остались только переводы на немецкий да каторжный халат. Последний, разумеется, сдан в музей революции. Змею «Медного всадника» остается сдать в зоопарк. Что же добавить? Обезумевшего старика на станции Астапово? Стриженных курсисток? Декадентов? Земских врачей?

Блок во что бы то ни стало хотел услышать «музыку революции». Услышав ее, он умолк. Он умер. Другие еще живут. Когда-то банкротов сажали в долговую тюрьму. Теперь одних вывели в расход. Другие сбежали в Париж: они лечат больную совесть на французских водах. Третьи? Третьи еще валяются: это мусор на стройке. Они даже ухитряются размножаться. Они размножаются не любовью, как

прочие млекопитающие, но при помощи спор, как папоротники или мухоморы.

Почему Володя Сафонов должен повторять монологи давно истлевших персонажей? Он не Онегин, не Печорин и не Болконский. Ему двадцать два года. Он не помнит былой жизни, и он о ней не жалеет. Он учится на математическом отделении. Он мог бы весело гоготать, как его товарищи. Что же ему мешает? Какая спора проросла в нем? Чем объяснить его мучительную иронию — историческим материализмом или переселением душ?

Он знает, что он не один. В Томске можно сыскать еще десяток-другой столь же печальных чудаков. В Москве их, наверно, несколько тысяч. Профессор Байченко называет их «изгоями», Васька Смолин — «классовыми врагами», Ирина — «обреченными». Они все правы: и профессор, и Смолин, и Ирина.

Так думал Володя, валяясь на койке в общежитии «Смычка». На соседних койках лежали его товарищи. Одни готовились к зачету, другие читали, третьи, отдыхая, курили и глядели в окно. В окно был виден кусок синего неба. По небу неслись озабоченные облака.

Кто знает, что так всполошило Володю? Разговор с профессором Байченко? Ирина, которую он встретил утром на улице Фрунзе? Или, может быть, бег облаков, их хаотичность и поспешность, передававшая всю тоску весеннего дня? Володе захотелось услышать живой голос. Тоскливо он оглядел комнату. Вот Петька Рожков, вот Шварц, вот Гришка, вот Коробков. Он знал всех. Он знал, как они учатся, какой у кого голос, кто любит ходить в кино, кто играет в футбол. Он знал, в каких девушек они влюблены. Но с тревогой он подумал, что он их не знает. Вокруг него были незнакомцы.

Он решил поговорить с Рожковым. Он не знал, с чего начать. Он сказал: «Вот, Петька, и весна...» Это вышло неожиданно для него самого. Он поморщился: до чего глупо! Рожков на минуту оторвался от книги. Перед его глазами пронеслись облака. Потянувшись, он сказал: «Не будь этого зачета, я поехал бы в Городок...» И он снова взялся за физику.

Володя подошел к Коробкову. Тот читал «Войну и мир». Володя спросил: «Нравится?» Коробков подобрал под койкой окурков, закурил и, недоверчиво глядя на Володю, сказал: «По-моему, ерунда».

Гришка ничего не делал. Он только сладко позевывал. Володя сел на его койку. Он не выдержал, и Гришке он сказал напрямик: «Поговорить хочется. Что называется — по душам».

Гришка был веселый кудластый мальчик. Он любил петь частушки и дразнить девушек. Как-то Маня Шесткова, за которой Гришка приударял, подошла к нему в садике перед университетом. Маня думала, что Гришка ей скажет что-нибудь ласковое. Но Гришка загорланил: «Не гляди, красавица, на меня в упор! Я тебе не Гарри Пиль, не багдадский вор». Потом все долго смеялись над Маней.

Услышав признание Володи, Гришка растерялся. Он начал несвязно бубнить: «Ты что это придумал? Здрате — пожалста! Как в романах, честное слово! «По душам»! Мы с тобой, кажется, не девахи...» Он долго еще огрызался. Володька попросту ошалел! Это от весны! Ему бы с девчатами погулять!.. Гришка шутил, но глаза у него были беспокойные. Махнув рукой, Володя вернулся к себе на койку.

Ему казалось, что он возвращается в осажденную крепость; вылазка не удалась. Он осужден на вечное одиночество. Нельзя разговаривать с колесами крана. Они способны потеть, как потеют люди. Но у них нет чувств: они передвигаются согласно плану.

Глаза Володи на одну минуту столкнулись с глазами Гришки, и Гришка первый отвернулся. Володя увидел, что Гришка встревожен, но он не попытался возобновить беседу. Томление Гришки показалось ему томлением глухонемого, который смутно чувствует, что есть на свете нечто для него недоступное.

Тогда Гришка запел. Пел он частушку: «Коммунисты юные, головы чугунные». Другие товарищи подхватили: они любили петь хором. Володя зарылся в подушку. Потом он вытащил из сундучка тетрадку и начал лихорадочно писать. Рожков спросил его: «Ты что это сочиняешь?» Володя покраснел и, покрывая собой тетрадку, как насадка выводок, пробормотал: «Это работа по механике». Рожков оставил его в покое. Рожков забыл сейчас и о своем зачете, и о больших пушистых облаках: он пел. Ему нравилось, что его голос попадает в общий гул, и этот гул растет. Хорошо идти в ногу со всеми: тогда не чувствуешь усталости! Хорошо и петь хором: это громкая песня! Хорошо знать, что ты не один, что у всех те же мускулы, то же дыханье, та же воля. «Ну, ребята, еще разок!..»

Володя писал: «Вновь убеждаюсь в том, что они не способны разговаривать. Они могут говорить о практике, о зачетах, о столовке. Девчата, кроме того, говорят о платьях, парни о том, что хорошо бы устроить пьянку. На собрании заранее известно, кто что скажет. Надо только заучить несколько формул и несколько цифр. Но говорить так, как говорят люди, то есть ошибаясь, косноязычно, с жаром, говорить о своем, личном они не умеют. Я где-то читал, что обезьяны из породы шимпанзе иногда пытаются подражать человеческой речи, но у них ничего не выходит, от ярости они ломают ветки. Гришка глядел на меня, как затравленный зверь. Но ведь они — строители новой жизни, апостолы, призванные вещать, диалектики, неспособные ошибаться. Они, а не я. Я только изгой. Затравлен я, а не они. Откуда же это беспокойство?.. Потом Гришка запел, и все тотчас же подхватили. Я заметил, что, когда они не могут друг с другом разговаривать, они начинают петь. Очевидно, пенье избавляет от необходимости думать. Я недавно прочел книгу одного военспеца. Кажется, автор — Свечников — бывший генерал. Он вспоминает, как во время империалистической войны он приказывал солдатам, которые шли в бой, петь. Он говорит, что солдат, который поет, ни о чем не думает. Наши ребята в точности следуют этому совету. Они берут с боя дифференциалы или химические формулы. Когда они строят плотины или мосты — это как на фронте, и они стараются ни о чем не думать. Но очевидно, думать присуще человеку. Тогда они начинают петь: они хотят отогнать искушение. Говорить друг с другом они не могут, хотя бы потому, что им не о чем говорить: все известно заранее. Притом у них нет слов. Слова рождаются в муке. Они идут изнутри. Ребенок видит улыбку матери, солнечный луч на стенке, большую кудластую тень. Тогда он произносит первое слово. В изумлении он прислушивается к нему. Он озадачен и внезапной музыкой, и глубоким значением. Он понимает, что стоит сказать «мама», и мать покажется. Он заклинает. Он исповедуется в сокровенных чувствах. Слова заставляют его думать. Каждое слово вводит его в мир. Но стоит ли ему расти? Дикарь обходится тремя сотнями слов. Сколько слов нужно Петьке Рожкову? Иногда мне хочется завывать, завывать, как воют звери, от тоски, от одиночества, от сознания, что никогда не выскажу того, о чем я все время думаю. Может быть, услышав этот звериный вой, они на минуту смутятся».

Вечером того же беспокойного весеннего дня Гришка сидел на берегу Томи с Варей Шустовой. Он говорил: «Раньше я тоже думал, что любовь это предрассудки. А теперь я вижу: это вот здесь сидит. Шутками от этого не отделаешься. Вот ты мне нужна, ты, Варя, а не Катя и не Шура. Я и сам не знаю почему, но только это — правда. Вчера ночью проснулся, вспомнил, как ты улыбаешься, и сердце будто с петли сорвалось. Я при тебе другим человеком становлюсь. Мне хочется найти особенные слова. Я не так с тобой говорю, как со всеми. Кажется, умею, я стихи писал бы. Мне, например, хочется тебе показать, как я могу работать. Я ведь не лентяй. Я сейчас весь мир готов перевернуть. Вот попаду на стройку — увидишь. День и ночь буду работать. Ты меня, Варюша, приподымаешь...»

У Гришки были глаза серые и нежные. Он не шутил и не смеялся. Даже его чуб, пристыженный, лег на сторону. Вечер был светлый и прохладный. На другом берегу огоньки то вспыхивали, то гасли: там работали колхозники. Токовали бекасы. Их крик был похож на нежное бляенье. Они не боялись ни огней, ни грохота трактора. Казалось, они все забыли, кроме звуков и полноты жизни. Варя поцеловала Гришку в щеку. Поцелуй был неловкий: Варя никогда еще не целовала мужчины. Тогда Гришка вскочил и завертелся. Чуб его снова привстал. Он крикнул: «Давай бросать камни в воду — кто дальше! Да ты не по-бабьему, ты снизу...»

Васька Смолин был в театре. Давали оперу «Евгений Онегин». Выйдя из театра, Смолин растерянно поглядел на толпу, на базарную площадь с забитыми ларьками, на ржавую вывеску кооператива. Ему казалось, что его разбудили. Он жил другой жизнью. Он страдал, как Ленский. Потом он усмеялся вместе с Онегиным. Он поздно понял, в чем счастье: он так рвался к этой Татьяне!..

Васька Смолин остановился — что за галиматъя? Какое ему дело до этих людей? Это люди не его класса. Это чужие и к тому же мертвые люди. Но вот они ожили. Они звучат. У каждого свой звук. Голова Васьки заполнена звучанием. И Васька сказал Иваницкому, который шагал рядом: «Большое дело искусство! Без него нам никогда не разобраться — что и как. Головой понимаешь, но это надо прочувствовать. Конечно, мы строим новую жизнь. Но мы должны взять у них самое лучшее. Красота-то какая! Я не знаю, как ты, а я — будто меня осчастливили. Может быть, я преувеличиваю, все равно! Я

теперь на собраниях буду отстаивать, чтобы ребята налегли на искусство. Эх, Егорка, сколько у нас еще впереди! Подумаешь — и голова идет кругом».

Коробков и общежитии спорил с Шварцем о Толстом. Шварц говорил, что Толстой устарел. Коробков горячился: «Что же ты думаешь, теперь нет такой Наташи? Сколько угодно! Даже среди наших вузовок! Надо уметь различать чувства и обстановку. Возьми Машкову. Вот тебе, с одной стороны, активная комсомолка, а с другой — материнство. Будь у нас Толстой, он так ее описал бы, что — не оторваться. Когда Петька спутался с Кошелевой, она хотела аборт сделать. Отказали — четвертый месяц. Сколько она намучилась: «Не хочу я ребенка! Куда мне одной», — ну и так далее. Говорила, что сейчас же его отдаст. А вот я зашел к ней вчера насчет проведения кампании — сидит, кормит. Меня и то проняло. Ничего здесь нет плохого! Мы, кажется, комсомольцы, а не монахи. Какого черта нам отмахиваться от жизни? Я Толстого ценю не за идеи. Идеи — это особая статья. А Толстой — он для меня как учебник. Не химии. Жить я у него учусь. Чувствовать. Понимать чужую жизнь. Я теперь, может быть, и с девахой буду по-другому разговаривать. Я вот Володке Сафонову ничего не ответил. Задается он: дескать, все знает. А я могу те же книжки прочесть. И чувствовать могу. Как он. Только бы времени хватило, а жить мы и сами научимся».

Петька Рожков сидел в библиотеке и читал стихи Пушкина. Он хотел было почитать историю Покровского. Но неожиданно для себя он взял Пушкина. У него был тяжелый день. Таня сказала ему напрямик, что в Козулино она поедет не с ним, а с Чистяковым. Петька впервые узнал, что такое ревность. Морщась, он припоминал лицо Чистякова, зеленые глаза, веснушки, бесшабашную улыбку. Такому Чистякову на все наплевать. Может быть, этим он и понравился Тане?.. Что же, Петька проживет и без любви! Теперь время горячее: зачеты. А потом на практику — в Кузнецк. Так он уговаривал себя, но сердце не сдавалось. Весь день он проходил как в чаду. Он старался работать. Вечером ребята пошли в кино. Он не пошел: он хотел жить сурово и трудно. Он хотел победить свое чувство в открытом бою.

Перед ним оказалась книжка стихов. В десятый раз он перечитывал: «Для берегов отчизны дальней...». Он думал при этом о

Тане. Он понимал, что все это — вздор. Таня ушла от него не ради какой-то «отчизны», но ради быстроглазого Чистякова. Стихи, однако, передавали его грусть. Он никогда не смог бы сказать об этом так хорошо. Он вновь и вновь повторял полюбившееся ему стихотворение. Мало-помалу музыка стихов вытеснила из сердца обиду. Выходя из библиотеки, он улыбался, рассеянный и счастливый. Он был так счастлив, как будто он сам сочинил эти необычайные стихи.

Володя Сафонов не был с товарищами. Он не знал ни их восторгов, ни их сомнений. Он не слышал, как в напряженной тишине пыльных улочек рождались мысль и слово. Он был один, со своей отверженностью и со своей немотой.

Желая уйти от себя, он пошел в кино. Он ждал, что мельканье и зыбкость, манишки, улыбки, горы, автомобили, что вся эта бестолочь если не утешит, то хотя бы оглушит его, подготовит его к тому тяжелому, глухому сну, который один помогал ему справляться с жизнью. Но на этот раз даже пестрядь экрана не могла отвлечь его от унылых, назойливых мыслей.

Показывали заграничную картину. В ресторане люди танцевали фокстрот. Володя не раз читал об этом, но увидел это он впервые. Люди прижимались друг к другу и подолгу тряслись. Так на экране мелькали кошмары Володи. Перед ним были не люди, но колеса, шестеренки, приводные ремни. Это показалось ему низким и оскорбительным. Зачем они это делают? Наверное, чтобы не думать. Значит, и там мысль людям не под силу. Они тоже пытаются жить так, как живут машины или заводные игрушки. Они не поют хором. Они танцуют фокстрот.

С гримасой отвращения Володя вышел из кино. Холодный ветер, дохотивший с реки, показался ему враждебным. Он ежился. Жить становилось все труднее.

Вернувшись в общежитие, он снова вытащил тетрадь: это был единственный друг, с которым он еще мог разговаривать. Он начал писать: «Паскаль назвал человека «мыслящим тростником». Одно из двух: или он был визионером, или человечество с тех пор выродилось. Во всяком случае, из тростников делают дудки. На дудке можно сыграть все: интернационал, камаринского мужика, фокстрот и реквием. Это дело вкуса. Но лучше всего прижать дудку к губам и не дышать. „Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...“»

На соседней койке лежал Петька Рожков. Его губы едва заметно двигались: он все еще повторял прекрасные стихи. Он повторял их про себя, и Володя не мог догадаться, о чем думает его сосед, отходя ко сну.

Между ними были один метр и вся жизнь.

Отец Володи Сафонова был врачом в Тамбове. Лечил он главным образом бедняков. Люди с достатком к нему не обращались: у него была плохая слава. Он как-то публично признался, что, благодаря неправильному диагнозу, погубил вдову Шерке. Он часто говорил пациентам, что от их болезней медицина не знает средств, и больным это не нравилось.

Он сказал счетоводу Соловьеву, который жаловался на кашель: «Лекарства вам не помогут. Вам, голубчик, надо в Крым. Будь у меня деньги, я вам дал бы. А у меня у самого шиш. Вот и судите, как мне вас лечить?» Соловьев недоверчиво посмотрел на Сафонова. Он пошел к другому врачу, и тот выписал ему длиннуший рецепт.

Жене прокурора Власьева доктор Сафонов сказал: «Ваш супруг — сифилитик. Родить от такого ребенка — это, сударыня, преступление». В Охотничьем клубе прокурор Власьев ударил доктора Сафонова по лицу. Доктор подобрал с пола разбитые очки и печально улыбнулся. Он сказал своему молодому коллеге, доктору Гринбергу: «Себе я могу поставить диагноз: у меня гипертрофия того предполагаемого органа, который обычно зовут „совестью“».

Революцию доктор Сафонов встретил с улыбкой неуклюжей и виноватой. Эта улыбка проясняла его отекавшее печальное лицо, когда он в больнице глядел на красное тельце новорожденного или когда, ранней весной, выходя из дому, он щурился от солнца и пробовал ногой в огромном ботинке пробить слабеющий лед на лужах. Сафонов не знал, что ему думать об этой революции, но безотчетно он ей радовался.

Он легко сносил и лишения, и грубость сиделок, и тесноту. В его квартиру вселили братьев Крапницких. Крапницкие шумели, играли на гармошке, выпивали, а встречаясь с Сафоновым, ухмылялись: «Товарищ доктор, вы бы нам выписали спирта, а то у нас бессонница!»

Сафонов проходил мимо мелких бед и ничтожных обид. Он строго сказал доктору Яншину: «Напрасно вы все переносите с

больной головы на здоровую. Если они невежественны, в этом виноваты мы». И он работал не покладая рук.

Но порой сказывалась его давняя и, видимо, неизлечимая болезнь. Он вмешивался в то, что его не касалось. Так было, например, когда арестовали преподавателя реального училища Фомина. Сафонов размахивал руками и кричал: «Вы поймите, товарищ Васильев, нельзя человека сажать в тюрьму за то, что он пятнадцать лет тому назад состоял в этой, черт бы их всех побрал, кадетской партии! Может быть, это тогда героизмом было. А теперь мальчишка его револьвером пугает. Да я его великолепно знаю. Он ничего не понимает, кроме своей зоологии. Ему седьмой десяток пошел. Это, товарищ Васильев, уже не революция, это безобразие!..»

Вначале на выходки Сафонова никто не обращал внимания. Он слыл чудачком. Но время было тяжелое. Со всех сторон наседали белые. В городе не было хлеба. Обыватели шушукались: «Скоро им крышка!» По ночам раздавались выстрелы. Люди перестали доказывать, они начали расстреливать.

Как-то в больницу пришли два человека. Они потребовали, чтобы им указали, где здесь находится Михайлов. Сафонов, всплыв, закричал, что больница не митинг, что у Михайлова паратиф и что в палату он никого не пустит. Тогда люди нахмурились. Они сказали Сафонову: «Вы, гражданин, собирайтесь». Он просидел пять недель. Потом его выпустили. Он стал прихварывать. Он дышал с трудом: казалось, нет больше горючего. Он умер весной двадцатого года. Володе тогда было одиннадцать лет.

Отца Володя любил отнюдь не сыновьей любовью. Он его жалел. Он говорил отцу: «Ты как медведь на цепи». Он считал, что отец живет невпопад. Он не понимал, почему отец так волнуется за судьбу больных. Володя с ранних лет понял, что больные умирают. Смерть ему казалась простой и естественной, как конец считалки: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять». Но когда он вошел в мертвецкую при больнице и увидел отца, он вскрикнул: отец был необычно суров. Потом Володя увидел волосатые руки отца, пальцы, желтые от табачного дыма, и расплакался.

От отца осталась меховая шапка, которую отдали Володе, и несколько слов, глубоко засевших в голове мальчика. Он часто

вспоминал, как отец говорил: «Эх, Володька, тот же блин, да подмазан!..»

Володю взяла тетка. Ее муж, ветеринар Соколов, вскоре после Октября ухитрился пролезть в партию. Он даже прочел публичную лекцию «О классовом подходе к борьбе с эпизоотией». Дома ветеринар распоясывался и, хитро щурясь, бормотал: «С волками жить, по-волчьи выть — это и есть правильная установка».

Тетка не любила Володю: он был чересчур вежлив и замкнут. Он еще ходил в коротких штанишках, но держал себя как квартирант. Тетка шипела: «В папашу», — она не любила и своего покойного брата. О докторе родные говорили, что это был вздорный человек, он ни с кем не мог ужиться: ни с губернатором, ни с большевиками. Не будь Соколовых, мальчонок пошел бы в беспризорные!..

У Соколовых был сын Миша, ровесник Володи. Мальчики учились в той же группе. Миша был краснощеким веселым мальчуганом. Он играл в городки, во время демонстраций носил знамя пионерского отряда, продавал значки Доброхима и выменивал перья на яблоки.

Володя тоже был пионером. Он никогда не задумывался, почему он пионер. Ребята должны быть пионерами. Это было для него очевидным, как правила орфографии: надо писать «в течение» через «е» — так все пишут. Он выступал на собраниях и писал статьи для стенгазеты. Когда пионеров мобилизовали для работы в совхозе, он работал с таким усердием, что не выдержал и слег. Он делал это искренне, но нерадостно: сомнения уже начинали его томить. Он склонен был подмечать нелепое и смешное. Он трунил над стенгазетой: «Скатываем из „Правды“». Он не верил в искренность товарищей: «Аля для базы написала поэму об английских горняках. А что она пишет подругам в альбомчики? „Розу алую срывала, слезы капали на грудь...“» Он возмущался непорядками в совхозе: «На свинарне большущий плакат, а внутри такая грязь, что свиньи и те сдохли».

Но именно эти сомнения и заставляли его работать с двойным усердием: он как бы чувствовал, что его место в жизни зыбко, и он старался его сохранить. Пионеры были для него раскрытым окном — в окно дул ветер.

Окно вскоре закрылось. Володке было четырнадцать лет, когда он вышел из пионерской организации. На один день в вежливом и молчаливом мальнике проснулась беспокойная душа доктора Сафонова.

На собрании Миша Соколов предложил исключить из организации Сашку Власьева за то, что Сашка скрыл от товарищей свое происхождение: он — сын царского прокурора. Миша говорил, как настоящий оратор. Он стучал по столу и кричал: «Кто знает, сколько революционеров повесил его отец!..» Сашка сидел в углу и молча грыз ногти.

Володя не любил Сашку. Он никогда не слышал о пощечине в Охотничьем клубе, но он считал Сашку «подлизой». Кроме того, у Сашки на голове была противная парша. Володя сидел в классе позади Сашки и, глядя на голову, покрытую струпьями, морщился: он был очень брезглив. Но теперь он неожиданно взбеленился. Всегда бледный, даже зеленоватый, он покраснел. Он поднял руку: он просил слова. Он произнес речь горячую и сбивчивую. «По-моему, никто не может отвечать за родителей. Чем Сашка виноват, если его отец был прокурором? Что Сашка соврал, это нехорошо. Но в этом виноват не он. У меня есть своя теория. Я хочу сказать об этом. Если человек врет, то не для своего удовольствия. Только сильные врут для своего удовольствия. А если человек врет, значит, его заставляют врать. Говорят, что таковы обстоятельства. Но я не верю в обстоятельства. Это плуный фатализм. Это придумано, чтобы успокоить себя. Человека заставляют врать другие люди. Значит, он побоялся, что мы его не поймем. Если его исключить, он пойдет к врагам, а мы должны его успокоить. Я, товарищи, решительно выступаю против подобной меры».

Речь Володи не произвела никакого впечатления. Шрамченко крикнул: «Довольно болтать! Мишка, ставь на голосование!» Против голосовал только Володя. Сашка был исключен из организации. Начали обсуждать вопрос о первомайском спектакле. Тогда Володя снова встал и сказал: «Ввиду принципиальных разногласий, я выхожу из организации. Я хочу вам еще сказать, что вы не пионеры, а трусы». Он быстро выбежал на улицу.

Дома дядюшка, которому Миша успел рассказать о выходке Володи, злобно сказал: «Ты еще за охранников начни вступаться».

Володя поглядел на него и спокойно ответил: «Я, дядя, не знаю, может быть, и вы в этой охранке состояли. Папа мне говорил, что вы — черносотенец». Ветеринар побагровел от злости, но он ничего не ответил. Он только шепнул жене: «Змею растим. Такой побежит и донесет».

Володя всю ночь метался. Он не заметил, как упала на пол подушка. Он был в жестоком полусне. Он задыхался от лжи и лицемерия, от подлости дядюшки, от трусости товарищей. Он начинал понимать, что правда смешна и неуместна. Среди черной духоты этой долгой ночи он учился молчанию и одиночеству. Он встал наутро с синяками вокруг глаз и с новой, невеселой улыбкой.

Он остался один. Вокруг него шла жизнь: люди верили, спорили, притворялись и гибли. Захолустный город казался ему полным скрытых шумов и борьбы. Так уничтожают друг друга огромные осьминоги где-то глубоко под водой. Он слышал глухое сердцебиенье города. Он видел, как набухают его жилы и как показывается пот возле створок рта. Одни хотели стать первыми, другие спасали свою шкуру. Это были годы нэпа, и жизнь была лихорадочной, полной аффекта. Прикидывались и люди, и вывески лавок, и газетные статьи, и дома. Старые купеческие домишки почему-то заново покрасили. Они стали нежно-розовыми и голубыми. Никто из обитателей этих домов не знал, где закончит он день: в кабаке или в остроге. Но никогда еще люди не были так падки на жизнь, как в те годы, прозванные «передышкой». Володя томился: его мудрость еще не могла справиться с возрастом. Он хотел кинуться в жизнь, как в веселую свалку.

Тогда он организовал литературный кружок при школе. Он читал доклады: о Есенине, о формализме, о «Шоколаде». Он мог теперь говорить обо всех сокровенных обидах. Он клеймил ханжество и малодушие. Он вносил в жизнь поправки: он требовал «революции быта». Он призывал на помощь Маяковского и молодость.

Об одном из его докладов была заметка в местной газете. Его тщеславие было ребяческим: он долго носил при себе вырезку из газеты. Но важнее газетного отчета было сознание, и кружке он — первый. Ни Башкирцев, ни Вайскопф не могли с ним тягаться. Когда они выступали с докладами, Володя легко их разбивал. Он говорил о

Башкирцеве: «Тургеневская сентиментальность». Вайскопфа он выслушивал с усмешкой: «Вульгаризация марксизма».

Члены кружка не любили Володю: он был заносчив и неуступчив. Он слишком много читал и слишком ловко спорил. Рядом с ним другие казались глупыми и невежественными. Володя не замечал этой неприязни. Он готов был принять молчание за восторг. Он не умел разбираться в человеческих чувствах, и беда застала его врасплох.

Казалось, ничто не могло сблизить Башкирцева с Вайскопфом. Башкирцев, сын бывшего инспектора гимназии, был вял и беспечен. В каждой тамбовской девушке он видел Дженни или Асю. Он писал тайком стихи, и, влюбляясь, он всякий раз думал, что это его первая и последняя любовь. Вайскопф приехал в Тамбов недавно: его отца прислали сюда для партийной работы. Это был тощий прыщеватый мальчик, признававший в жизни только химию и революцию. Он презирал стихи. Он говорил: «Настоящая литература — это социальные полотна». С Башкирцевым его сблизила общая нелюбовь к Володе, Башкирцев не мог простить Сафонову унижения: Володя в присутствии Глаши Дурилиной пренебрежительно сказал о нем: «Так можно тренькать на балалайке, а стихи так не пишут». Глаша обидно смеялась. Поэтому, когда Вайскопф сказал, что Сафонов «вредный элемент», Башкирцев тотчас же поддержал его.

На очередном собрании кружка Володя объявил: «Сегодня и сделаю доклад о „Конармии“». Вайскопф его прервал: «Прошу слова к порядку дня. Я считаю, что работа кружка ведется в корне неправильно. В течение трех месяцев мы выслушали семь докладов Сафонова и всего четыре доклада других товарищей. Это — во-первых. Во-вторых, темы, которые выбирает Сафонов, помечены враждебным нам подходом. Он, например, ни разу не говорил о настоящих пролетарских поэтах. Все свое внимание он сосредоточил на представителях буржуазной литературы. Поэтому я предлагаю произвести перевыборы, и от имени группы товарищей я вношу список кандидатов: Башкирцев, Коровин, Чижевский, Вайскопф».

Володя сложил листки, которые он приготовил для доклада. Он был спокоен и даже улыбался. Он спросил Башкирцева: «Ты, значит, тоже думаешь, что у меня буржуазный подход?» Башкирцев смутился, но все же ответил: «Да, я согласен с Вайскопфом». Тогда Володя

сказал: «Я сам хотел просить, чтобы меня освободили от моих обязанностей — у меня теперь слишком много работы». Он высидел до конца собрания. Он голосовал за предложенный Вайскопфом список. Больше на собрания кружка он не приходил.

Он пережил второе свое поражение легче и спокойней. У него был опыт. Кроме того, он знал теперь утешение: книги. Он читал запоем. Кончая книгу, он тотчас же принимался за новую. Он забывал не только об уроках, но и о еде. Ночи напролет он проводил с книгой, и голубоватый рассвет сливался в его сознании с позорным или прекрасным эпилогом длинного повествования. Мир настоящий понемногу бледнел и редел. Он напоминал о себе только назойливыми подробностями: надо сделать задачи, отлетела пуговица, если не сходить в кооператив за сахаром, тетка будет браниться... Он жил тысячами чужих жизней, и каждая из них казалась ему необычайной и увлекательной.

Так прошли школьные годы, и так настал день, когда Володя столкнулся с настоящей жизнью, упрямой и грубой; ее нельзя было перелистать, как книжку, — она была рядом и требовала дел.

Миша Соколов больше не бегал по пыльным улицам. Он увлекался радио: он даже смастерил приемник. Он работал в комсомоле. Его выбрали делегатом на конференцию. Его будущее не смущало ни его, ни близких. Ветеринара при одной из чисток выставили из партии. Он был уже стар и хлопотал о пенсии. Он не унывал: «теперь за Мишкой черед — Мишка меня вывезет...»

Володя задумался, что же с ним будет? Он не хотел слышать о службе: это была пыль канцелярий, исходящие, рубашки дел и скука, серая, как вата между двойными рамами. Думая о службе, Володя неизменно вспоминал заведующего ОНО, которого он называл Товарищ Кувшинное Рыло.

Володя хотел учиться. Он любил историю и стихи. Но изучать он хотел математику. Он не верил ни рифмам, ни подвигам. Тысячи книг оставили в нем ощущение неудовлетворенной жажды. Он пил залпом, но во рту было по-прежнему сухо. Он полюбил математику за ее отчужденность, за ту иллюзию абсолютной истины, которая другим открывалась в газетном листе или в живых людях. Он видел перед собой аудиторию университета, цифры и одинокое служение суровой, но пламенной науке.

Попасть в вуз было, однако, не столь просто: вся страна рвалась в эти старенькие, тесные аудитории, как на пышные пиршества. У Володи не было никаких прав на знание, он мог представить только справку о том, что доктор Сафонов сидел в тюрьме за контрреволюцию.

Миша сказал Володе со всей вескостью человека, который знает государственный аппарат ничуть не хуже смастеренного им радиоприемника: «Два года у станка. Когда поработаешь на заводе — сразу все двери раскроются».

Володя не удивился и не опечалился. Он отнесся к этому просто, как к воинской повинности. С легким сердцем он покидал родной город. Только разлука с Верой Сахаровой его несколько огорчала. Вера когда-то приходила в литературный кружок на его доклады. Они подружились. Она верила в то, что Володя — необычайный человек. Вероятно, она была в него влюблена. Но она никогда ему не говорила об этом. Это была высокая некрасивая девушка с добрыми туманными глазами. Узнав о том, что Володя решил уехать на завод, она всю ночь проплакала.

Последний вечер они провели вместе. Они сидели в садике, полном теплой сырости, желтых листьев и зарниц: в тот год была жаркая осень. Вера говорила: «Володя, ты не должен подчиниться!.. Таких, как ты, немного. Ты можешь стать великим ученым. Нельзя потерять два года зря. Поезжай в Москву. В Москве ты чего-нибудь да добьешься. Я могу продать мамино серебро. Если б ты знал, как я страдаю от невозможности тебе помочь!» Володя ей отвечал: «Не стоит. Ничего страшного не предвидится. Два года — пустяки. Я еще молод. Потом — к чему ломаться — я не герой. Когда мне было четырнадцать лет, я пробовал бунтовать. А теперь мне восемнадцать, и я научился хитрить. Я обхожу препятствия. Значит, я поступаю, как все. Значит, из меня ничего не выйдет. Но только ты, Вера, не убивайся!..» Он говорил долго, и все же он чувствовал, что не может утешить Веру. В темноте он видел, как ее глаза полнятся слезами. Тогда он замолк. Они несколько раз поцеловались. Эти поцелуи были длинные и грустные: они что-то должны были выразить, может быть, боль разлуки, может быть, страх перед жизнью. Они сидели, прижавшись друг к другу. Потом теплый ветер кинул в лицо охапку мокрых листьев. Открылось окно, и мать Веры закричала: «Веруся,

где же ты? Ветер какой! Сейчас гроза начнется». Тогда они молча расстались.

Прокочевав несколько недель, Володя осел в Челябинске. Он стал шлифовальщиком. Он работал исправно, но без увлечения. С товарищами он был обходителен, никого не задевал и ни на что не жаловался. Когда у него бывали деньги, он угощал товарищей пивом. Они смеялись или пели, а он молча улыбался. О нем говорили: «Хороший парень. Только любит играть в молчанку». Никто не знал, о чем он думает, стоя у станка или забираясь вечером в свою тесную комнату.

Вторая, подпольная жизнь Сафонова продолжалась. Ее не могли заглушить ни шум машины, ни шутки товарищей. Он читал. Когда же усталые глаза закрывались, среди горячей ночной тишины он думал. Его мысли были воспаленными, как у человека больного горячкой. Эта горячка длилась годы.

Как-то товарищ Володи Чадров спросил его: «Почему ты, Володька, не в комсомоле?» Чадров знал, что Володя мечтает о вузе, и эта мечта была понятна Чадрову: он сам записался на ускоренные курсы. Все в жизни Володи казалось ему понятным, все, кроме одного, — Володя не был комсомольцем.

Володя ответил не сразу. Он глядел в сторону. Видимо, он подбирал слова. Он давно научился молчать, но ему трудно было лицемерить. Он ответил Чадрову: «Видишь ли, прежде всего я со многим не согласен...» Чадров рассмеялся: «Брось дурака валять! Ты вот думаешь, что без общественной нагрузки скорее выбьешься. А по моему, времени для всего хватит. Конечно, можно и беспартийному работать, даже на передовых постах...»

Володя не возражал: он решил, что уместней всего промолчать. Но, придя домой, он не смог взяться за книгу. Он жалобно глядел на лампочку, на обои, на портрет усатого вояки, вероятно, родственника квартирной хозяйки. Сколько он дал бы за живого собеседника. Он не мог разговаривать с обоями или с усами!..

На столе лежала тетрадка: Володя занимался немецким. Здесь же, под спяжениями он начал быстро писать — перо едва поспевало за мыслями: «Чадров мне не поверил. Они не могут допустить, что существуют люди, которые думают иначе, нежели они. Чадров считает, что я — беспартийный потому, что это мне выгодно. Он не

упрекнул меня за это. Он даже улыбнулся. Так, наверное, улыбались священники грешникам. Они принимают грех. Зато они никак не могут принять ереси. До чего утомительна история человечества! В каком-то романе имеется герой, который не может объясниться в любви, потому что до него те же слова произносили миллионы. Причем каждый из миллионов думал, что эти слова произносятся им впервые. Этот герой, конечно, сумасшедший. Нормальных людей повторность не пугает. Отец говорил: «Тот же блин, да подмазан». Впрочем, к чему хитрить? Есть две правды. Одна — временная. Она у них. Другая — вечная, и другой нет ни у кого. Она не во времени и не в пространстве. О ее существовании можно только догадываться по совокупности отрицаний. Что касается меня, то у меня ничего нет, кроме пошлых сравнений и кукиша в кармане».

Он в ярости отшвырнул тетрадку. Но час спустя он перечел написанное. Он перечел и удивился: никогда раньше он не думал о других людях, как о чем-то цельном и отличном. Теперь он написал: «они» — «они принимают грехи», «у них правда». Значит, он — это он, а против него люди. Володе стало страшно. Как в детстве, он натянул на голову одеяло и вобрал в себя ноги: он боялся жизни.

Его мечта исполнилась раньше, нежели он предполагал. Он был принят в Томский университет. От Тайги он ехал с другими вузовцами. Там он впервые увидал Петьку Рожкова. Рожков несколько лет тому назад пас в деревне баранов. Быстро прошел он путь от букваря к вузу, и жизнь казалась ему быстрой: она неслась, как курьерский. Володе жизнь казалась нерасторопной и плупой. Зачем-то он работал на заводе. Зачем-то поезд без конца стоит на несчастных полустанках. Зачем-то он будет завтра ходить на лекции и хлебать щи. Он вез дневник и пубокую скуку. Петька Рожков весело спросил: «Где вылезать? На Томске первом или втором?» Володя виновато улыбнулся: «Вот уж, право, не знаю...»

В стране было много неизведанных богатств: руды, меди, угля, золота, марганца, нефти и платины. Много древнего невежества таилось в ее глубинах.

Кузнецкий завод люди строили в сердце Азии. Земля промерзла на три метра. Ломы ее не брали, строители шли с клиньями. Часовая стрелка двигалась слишком быстро. На заснеженных полустанках цепенели обессиленные паровозы. Вокруг были болота и тайга. Людям приходилось бороться с природой.

Людям приходилось также бороться с людьми. Это была жестокая борьба. Человек оставался человеком: он зажигался на час или на два, но он не хотел гореть тем высоким и ровным пламенем, которым горят доменные печи.

В метельные ночи, казалось, можно было слышать, как стонет страна. Новый мир требовал мук и крови. Так строили Магнитогорск и Караганду, Коунрад и Анжерку, Бобрики и Хибиногорск. Так строили и Кузнецк. Среди строителей были герои. Среди строителей были полудикие кочевники и суеверные бабы. Среди строителей были воры и рвачи. Но больше всего среди строителей было обыкновенных людей. Они были способны на стойкость и мужество. Но они еще дорожили своей жизнью, теплой и кудластой, как овчина.

Их отцы знали только тупой подъяремный труд и то горькое вино, в котором они топили муку. На силу они отвечали хитрой уверткой. Они прикидывались юродивыми и полоумными. Они крестились на иконы, но уважали расстриг, плутов, беглых каторжников и великодушных разбойников.

Они говорили друг о друге: «орловцы голову раскроют», «Елец всем ворах отец», «с вятчанамн ночевали — онучи пропали», «хлыновцы краденую корову в сапоги обули», «Валдайские горы, любанские воры», «ржевцы отца на кобеля променяли», «шуйский плут хоть кого впряжет в хомут», «нижегородец — либо вор, либо мот, либо пьяница», «костромичи на руку нечисты», «казанской сиротой прикидывается», «в Сибири человека убить, что кринку молока испить».

Они говорили друг о друге: «ухорезы», «головотяпы», «ротозеи», «слепороды», «сажееды», «гробокрады».

Они говорили о жизни: «как ни мечи, а лучше на печи», «работа не медведь — в лес не убежит», «на мир не наработаешься», «что ни двор, то вор», «правдой жить — живым не быть», «доброму вору все впору», «кок да в мешок», «что плохо положено, то брошено», «пускай будет по-старому, как мать поставила».

Крали министры и карманники, форточники и губернаторы. Инженеры, строившие железные дороги, брали взятки с купцов. Околоточные требовали осетрового балыка и почтения. Прокуроры были картежниками и хабарниками. Штабс-капитаны выбивали по десяти зубов у вестовых. Солдат пороли розгами. Погромщикам выдавали наградные: красненькую или часы из накладного золота. Сановники купали в шампанском шансонеток и ползали на брюхе перед образами святой Параскевы или святого Пантелеймона. Во дворце сидел бородатый мужик и, щекоча солевой бородой придворных, бормотал молитвы — он камлал, как камлает шаман в шорском улусе. Студентов изгоняли нагайками в манеж. Жандармы насиловали курсисток. Нижние чины становились во фронт. Они лихо рывкали: «Рады стараться!» В одну ночь богатели подрядчики и интенданты. Сторожа обыскивали работниц и залезали под юбку. Слепли в деревнях сифилитики, и сочились кровью десны цинготных. Так жила страна.

Потом настала революция. Горели усадьбы. Мужики резали племенной скот. По Украине носились десятки «батьков» с головорезами. Они жгли и грабили. На Кавказе англичане выдавали пулеметы и золото беспардонным ребятам. Горели нефтяные вышки, и на дорогах стонали умирающие. В Туркестан ворвались басмачи. В Сибири разбоем промышляли семеновцы. В стране был голод.

Прошли годы. Страна начала строиться. В Кузнецк приехал Колька Ржанов. Вместе с товарищами он строил кауперы. Но на стройке было много людей. Люди помнили дедовы наказания, и люди хотели жить.

В селе Горбуново сдохли все овцы. Это были овцы колхоза «Красная Сибирь». К овцам был приставлен колхозник Болдырев. Болдырев не поехал за ветеринаром. Он почесал затылок и сплюнул: «пушай их»... Он считал, что овцы принадлежат колхозу,

следовательно, они ничьи. Он не хотел ради ничьих овец ехать в город. Он хитро ухмылялся: ему казалось, что он перехитрил всех.

Колхозник Клюев ехал в Кузнецк: он вез молоко для яслей. В семи километрах от Кузнецка телега сломалась. Клюев бросил телегу и поплелся назад. Он сказал Ваньке Хмарову: «Надо бы за телегой съездить. Теперь ты поезжай. А мне надо картошку копать». Хмаров ответил: «Ты сломал, ты и вытаскивай. А мне недосуг». Хмаров пошел в избу и лег спать. Клюев не поехал за телегой. Он и не пошел копать картошку. Он сидел возле избы на лавочке и скучал. Он глядел, как кобели бегают за сукой, и кидал в собак камнями.

На деррике работал некто Добромыслов. Он приехал из Ленинграда. Ему дали двух комсомольцев, Медведева и Федорова, чтобы он научил их работать на деррике. Добромыслов купил в старом Кузнецке водку. Он сказал комсомольцам, что работа потерпит, а человеку надо и порадоваться. Комсомольцы вначале отнекивались, но Добромыслов умел спаивать. Комсомольцы напились вдрызг и пробастовали три дня. Это было в самое горячее время.

В бараках по вечерам степенные землекопы вели задушевные беседы. Они говорили о том, что Матюшин здорово надул всех: «Получил спецовку и смотал удочки». Они говорили также о рыжем Иванове, который стащил четыре одеяла. Они говорили об этом эпически, как о подвигах богатырей. Потом они пели воровские песни: «Шел с дамой шикарный пижон...» Это были не воры, но обыкновенные крестьяне из Славгородского района.

В доменном цеху собирали кожухи. Строители установили мачту. Они ее закрепили. Ночью злоумышленники разобрали мачту. Мачта упала и придавила двух строителей.

В коксовом цеху строители домкратом вытаскивали сваи. Тогда они увидели, что в машину насыпан песок. Они потеряли рабочий день. Ночью они тревожно думали — кто среди них враг?

Строитель Петров, приехавший недавно из колхоза, попробовал повернуть рычаг. Рычаг не поддавался. Петрова взяла злость. Он решил переупрямить машину. В деревне, сердчая, он хлестал мерина. Он налег на рычаг, и рычаг поддался. Но машина была испорчена. В цеху работал спецпереселенец Воронков. Подозрение пало на него. Воронков сначала божился, что он ни в чем неповинен. Потом он примолк. Петров злобно глядел на Воронкова: Петров твердо верил,

что машину испортил Воронков. Он сказал ему: «гадина», и он вытер рукавом мокрый лоб.

Секретарь ячейки Лукьянов праздновал свадьбу: он женился в шестой раз. Он буянил в бараке и бил посуду. Зайцев строго спросил его: «Как ты, член партии, столь безнадежно разложился?» Лукьянов ничего не ответил, он лег на койку и захрапел. Его исключили из партии. Зайцев предложил выбрать в секретари товарища Горохова: «Хоть он малограмотен и знания получил по тощему пайку, но он умеет работать». Лукьянов тем временем шумел в землянке Сидорчука: «Вот возьму и застрелюсь! Тогда-то они увидят, что Ваня Лукьянов был честный боец».

В бараке № 29 был объявлен культпоход: барак решили вычистить, выбелить и подвергнуть дезинфекции. Работница Шакирова села на койку и закричала: «Только через мой труп перейдете!..»

Клепальщик Паршин подбил ребят: они не вышли на работу. Они кричали: «Даешь спецуру!» Партизан Егоров сказал: «Товарищ Паршин, стране нужна сталь! Неужели мы истекали кровью на всех фронтах, чтобы теперь бузить из-за какой-то спецовки?» Паршин не смутился. Он помолчал, а потом, не глядя на Егорова, он крикнул осипшим голосом: «Даешь спецуру!» Три дня спустя он получил спецовку и тотчас же уехал в Караганду.

Люди, которые строили Кузнецкий завод, не были слепыми: они видали темноту, равнодушие и косность. Но они знали, что стране нужна сталь. Они знали, что здесь будут построены четыре коксовых батареи, четыре доменных печи и пятнадцать печей мартена. Они знали, что Кузнецкий завод будет выпускать ежегодно миллион четыреста тысяч тонн стали.

Шор следил за пуском деревянной галереи на Томи. Работали всю зиму. Ковш замерзал. Тогда люди обмазывали паклю мазутом и зажигали паклю, чтобы отогреть ковш. Галерею на ночь подымали.

Шор жил в Верхней колонии, далеко от реки. Как-то он проснулся под утро. Он проснулся от непонятного рева: была пурга и барак перепуганно скрипел. Шор в ужасе подумал: что же будет с галереей? Он поглядел на часы: без четверти пять. Значит, на реке — никого. Вокруг электрического фонаря в бешенстве носились белые стаи. Шор быстро оделся. В темноте он побежал к Томи. Метель

сбивала его с ног. Спускаясь вниз, он упал, и сугроб на минуту пролотил его. Но он тотчас же выбрался из-под снега. Он растерянно шарил руками вокруг — он искал шапку. Но, боясь потерять время, он побежал к реке без шапки. У него была одна мысль: вдруг галерея опустилась?.. Он не чувствовал, как мороз жжет его уши. Он бежал. Он добежал до реки. Здесь для метели был простор, и метель здесь была страшна. Но галерея стояла на месте. Шор улыбнулся. Он побрел в ближний барак. Горело лицо и мысли путались. Кто-то тер ему уши снегом. Он чувствовал необычайную слабость. Он едва проговорил: «Скажите, чтобы прислали лошадь».

Приехав домой, он лег. Он не мог дышать. Сердце замирало. Левое плечо томительно ныло. Шор знал, что он болен. В Москве доктор Шведов строго сказал Шору: «Сердце никуда не годится. Так, голубчик, вы долго не протянете. Поезжайте сейчас же в Кисловодск!» Шор поехал не в Кисловодск, но в Кузнецк. Как он мог думать о каких-то сердечных клапанах? Его голова была полна мысли о чугуне.

Он расстегнул ворот рубашки и подумал: сегодня проваляюсь! Но в девять затрещал телефон. Шор привскочил: неужто с галереей?.. Звонил Гордин: с клепкой неладно — все время останавливается компрессор. Шор ответил: «Сейчас приеду». Он робко пощупал свою грудь. Он как бы просил беспокойное сердце повременить с развязкой. На ходу он хлебнул какое-то горькое лекарство.

Полчаса спустя он шутил с клепальщиками: «Мороз-то настоящий ударник!» Он вспомнил, как он бежал к реке, и вдруг закричал: «Что за безобразия! Сейчас же ступайте отогреться! Так можно и замерзнуть, черт бы вас всех побрал!» Он всегда чертыхался, когда хотел сказать людям что-нибудь ласковое.

Он пошел в управление. Разумеется, он никому не рассказал о своей ночной тревоге. Но кучер Василий доложил Чернышеву, и Чернышев строго спросил Шора: «Что же это, Григорий Маркович? Вы бы себя поберегли». Шор растерянно улыбнулся. Он бормотал: «Ничего особенного. Очень просто — могла и опуститься. А тогда как прикажете — начинать сызнава? И при чем тут «беречь себя»? Это даже полезно. Это, что называется, моцион».

Вряд ли Чернышев смог бы объяснить, почему Шор работал с таким ожесточением. Он часто забывал поесть. Он уходил на работу, не помывшись. Когда приехали американцы, Геринг отвел его в

сторону и шепнул: «Григорий Маркович, вам нужно того — побриться». Шор подозрительно дотронулся до своей щеки, которая поросла неровной щетиной, и закивал головой: «Обязательно, обязательно! Они еще, чего доброго, подумают, что мы дикари».

Он работал над кауперами или над мартенами так, как в старину люди любили девушек или молились богу. На советы взять отпуск он отвечал раздосадованно: «Ну и глупо! Вам самому надо полечиться — у вас цвет лица нехороший. А я здоров как бык. Потом, если все начнут отдыхать, кто же будет строить? Партия это не Иван Иванович, с партией нельзя шутить».

Трудно было молодым понять то, как Шор выговаривал это слово: «партия». Для Чернышева партия была государственным аппаратом. Она делилась на области и районы. В ней были умницы и дураки. Она отпускала средства на строительство, и она определяла сроки пуска домен. Он говорил «партия», как «управление заводом». Партия для него была огромным управлением многими заводами и многими шахтами.

Геринг вступил в партию два года тому назад: он понял, что без партбилета трудно и работать, и жить. Он не задумывался над принципами. Он любил свое дело. Он легко связывал эстакады с пунктами программы, а резолюции съезда с тоннами чугуна.

Колька Ржанов был членом комсомола потому, что он был рабочим. Это было просто и очевидно: если рабочий умеет плядеть и думать — он в партии. Вне партии либо враги, либо шкурники.

Для молодых партия была чем-то абсолютным и общим, воздухом, которым они дышали, хлебом, который они ели, чугуном, который они отливали. Для Шора партия была понятием настолько близким, что порой, говоря о своей работе, он краснел, как человек, который рассказывает о подробностях своей интимной жизни.

Когда Шор вступил в партию, партия казалась ему крохотным кружком. Они собирались на квартире у Фишберга: товарищ Егор, товарищ Варя, товарищ Смирнов. У них были пальцы, запятнанные чернилами: они наливали в противень желатин и тискали бледные листочки. Мысли были ясные, но буквы туманились, как будущее. Это было двадцать четыре года тому назад. Теперь партия казалась Шору огромной, как мир. Она строила комбинаты, распахивала степь, гнала

нефть по трубам и зажигала огни мартенов. Она пестовала полтора миллиона. Путь партии был длинен. Этот путь был жизнью Шора.

Его жизнь была величественна и ничтожна. Он сидел в тюрьме по делу о смоленской организации РСДРП. Его товарищем по камере был некто Чайков — эсер. Днем Шор неизменно доказывал Чайкову, что крестьянство — не класс: «В деревне можно опереться только на беднейшие элементы». По вечерам, когда тюрьма замирала, когда с воли доходили сырая весна и детские крики, Чайков читал вслух стихи: «Я звал тебя, но ты не опянулась, я слезы лил, но ты не снизошла». Шор слушал молча. Потом Шор ворчал: «Вздор! Декадентство! Распад! Как вам может нравиться этакая ерунда? Ну-ка, прочтите еще разок — я вам докажу, что это — ерунда». Чайков снова читал стихи. Шор ничего не доказывал. Он вбирал в себя грусть слов. Она сливалась с синевой вечера и с голосами ребят. Когда сторож зажигал лампу, Шор прятал свои глаза: они были полны умиления.

Он убежал из тюрьмы. Он очутился в Париже. Неприязненно он косился на роскошные магазины, на огни кафе: он вспоминал явки, собранья, рабочие казармы с их запахом махорки и пота — он тосковал. Он клеивал в картон тонкие листочки — так партийная газета проходила в Россию. Он ходил с лесенкой и с ведрами: он мыл стекла — это был его заработок. Потом он грыз жареную картошку, протирали платком очки и садился за книги. Он читал Бебеля, Каутского, Лафарга и Плеханова. Один раз случайно ему попалась под руку книга Мопассана. Он прочел ее, не отрываясь. С удивлением он почувствовал, что его горло сжимается: ему хотелось плакать. Он ненавидел людей, которые оскорбили Пышку. Потом он обругал себя: можно ли тратить на это время? Он взялся за Энгельса. Ему было некогда жить.

Иногда вечером он заходил к Наташе Ляминой. Он недоверчиво осматривал комнату. На столе был букетик фиалок. Наташа не умела жить. Шор строго спрашивал: «Вы обедали?» Наташа молчала. Тогда Шор уходил. Он возвращался с большим свертком. Он угрюмо приговаривал: «Вот колбаса, кажется, не собачья, настоящая...» Наташа спрашивала: «А вы?» Шор сердился: «Я фиалок не покупаю. Я уже обедал. В ресторане. Четыре блюда и вино. Вот как!» Он говорил неправду: на деньги, которые ему уплатили за мытье стекла,

он купил две марки и еду для Наташи. Но он не дотрагивался до колбасы — он боялся, что колбасы мало.

Один раз он даже принес букетик фиалок. Он принес его в кармане: он стыдился нести цветы в руке. Это был тяжелый для него вечер: Наташа заговорила о чувствах. Тогда Шор начал доказывать, что всему свое время. «А работа?..» Он говорил и сердито кашлял. Он чувствовал, что с каждым словом он слабеет, что когда он глядит на Наташу, его горло сжимается — как тогда, когда он читал рассказы Мопассана. Наташа молчала. Шор помял и без того мятую шляпу и пошел к себе.

Революция застала его в Туруханске. Он вскочил на какой-то ящик и загрохотал: «Не время радоваться!» Он поехал в Петербург. Он говорил в цирках и в казармах, на грузовиках и на цоколях императорских памятников. Он был с солдатами возле Зимнего дворца. Потом его отправили на фронт.

Возле Чернигова они поймали белого. Допрашивал его Шор. Это был высокий ушастый мальчишка. Сначала он отвечал стойко: он за Россию, против предателей. Но потом он не выдержал. На вопрос Шора, давно ли он у деникинцев, он ответил невпопад: «Мне восемнадцать лет. Я в первой гимназии, в седьмом классе. У меня в Киеве мать и две сестры: Ольга, а младшая Надя». Тогда Шор вскочил и зарычал: «Ах ты сволочь. Туда же лезет. Застрелить тебя мало! Снимай-ка шинель. Все снимай, сукин сын! Вот тебе штаны и рубаха! Хватит с тебя и этого! Воин! И сейчас же проваливай к черту! К этой самой матери! Чтоб я тебя больше не видел! А попадешься, — застрелю, как собаку. Понял?»

Его послали в Лондон: продавать лес. Он встретился с крупным английским инженером. Англичанин спросил Шора: «Как вы работаете в столь мизерных условиях? Я читал, что в России редко у кого из специалистов ванна, не говоря уж об автомобиле. Может быть, вы мне скажете, сколько у вас зарабатывает такой специалист, как вы?» Шор поглядел на англичанина, и в глазах Шора показалось глубокое веселье. Он ответил: «Это называется — партмаксимум. Ерунда! Меньше, чем этот швейцар. Может быть, как дипломат, я должен говорить иначе. Но по-моему, правда куда лучше. У меня, например, нет машины. Иногда я жду трамвая полчаса и, не дождавшись, иду пешком. Мыться приходится в бане: два часа

потеряны. Наша страна еще очень бедная. Вы меня спрашиваете, сколько я получаю. Я мог бы вам ответить: столько-то — в рублях. Перевести на фунты трудней. Но и не в этом дело. Я получаю радость. А сколько, по-вашему, стоит настоящая радость — ну, хотя бы в фунтах?...» Англичанин вежливо улыбнулся.

Когда Шор вернулся в Москву, все только и говорили, что о коллективизации. Шор тоже высказался. Кто-то из товарищей, не дослушав, махнул рукой: «Это, брат, недооценка наших сил». Шор увидал, что генеральная линия не такова, и он не стал спорить. Он считал, что спорить можно с людьми, но не с партией.

Он поехал на хлебозаготовки. Крестьяне ночью накрыли его мешком и избили. Он провалялся с месяц в пензенской больнице. Он говорил врачу: «Они не понимают, в чем их выгода. Но они скоро это поймут. Я видал в одном колхозе бабу — умница! Всем заправляет. Пчельник устроила. Она мне жаловалась: «Церковь у нас не прикрыли. Звонят. Не могу я этого слышать — душу они из меня звоном вытряхивают»... Я слушал эту бабу, как Пушкина. Скажите, доктор, долго я еще буду валяться? Вы должны меня выписать — я не умею отдыхать».

Шор вышел из больницы, прихрамывая. В Москве он попал на заседание, посвященное Урал-Сибирскому комбинату. Он запросился в Кузнецк. Он говорил: «Большое дело!» Он никому не говорил о том, что это дело увлекает его своей трудностью. Он знал, что такое Сибирь. Он знал также, что такое люди.

Такова была эта жизнь, похожая на справку из партархива. Но за жесткой, как бы металлической, жизнью был еще сутулый человек, близорукий и добродушный, который то и дело поправлял плохо повязанный галстук, который с восторгом нюхал резеду в стационарном садике и спрашивал девочку: «Девочка, это что за цветок, то есть как он называется», — который кричал, что Горбунов «лентяй и разиня», а потом шел в ЦК и упрашивал, чтобы Горбунову дали отпуск, так как он «совсем зашился». Если вместо стройной жизни у Шора были только разрозненные улыбки, шутки или невыплаканные слезы, в этом повинно время. Шор не успел обзавестись биографией, как другие не успевают обзавестись квартирой.

Когда он приехал в Кузнецк, он ничего не смыслил в металлургии. В такой-то раз он брался за новое дело. Он осилил когда-то политическую экономию и шифры. Потом он узнал международную политику и тюремную азбуку — он перестукивался с соседями. Он научился стрелять из винтовки и говорить прибаутками. Он стал разбираться в стратегии. Он различал, какой лес годен для верфей. Он очутился в деревне. Он не мог отличить пшеницы от овса. Месяц спустя крестьяне говорили: «С очкастым держи ухо остро — это дошлый...»

Он приехал на стройку. Он должен был сразу понять, что такое бломсы, фурмы, деррики, грейферы и скруберы. Он взялся за работу. Он забыл о диалектике, о лесе, о стратегии. Ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что строил заводы. Он знал теперь в точности, сколько кирпича могут выложить рабочие, когда закончат клепку, как вычерпывать грунт для галереи и как ставить болты.

В комнате Шора висела небольшая акварель — он привез ее из Москвы. Кто знает, почему он таскал с собой двадцать лет подряд эту картину. Отрываясь на минуту от работы, он глядел на акварель: это был Париж, крыши домов, трубы, а над ними немного неба, едва голубоватого. Небо было положено художником с болезненной осторожностью, оно ничего не весило, глаза скорее догадывались о нем, нежели его видели. Глядя на акварель, Шор улыбался. Он не мечтал о городе, в котором когда-то прожил несколько лет. Он с трудом мог себе представить, что этот город еще существует: для Шора существовал только завод. Но, глядя на крыши и на легкое небо, Шор улыбался.

Кроме этой картины, ничто не выдавало прошлой жизни Шора. Когда к нему заходили товарищи по делу, он открывал шкаф и подолгу в нем рылся: он искал коробку с конфетами. Он угощал инженеров карамелью и ласково посмеивался. В шкафу все лежало вместе: белье, доклады, лекарства и, где-то среди носков, старая пожелтевшая фотография. На фотографии вихрастый юноша в косоворотке улыбался. Рядом с ним стояла девушка в большой шляпе — такие шляпы носили до войны. От шляпы легла густая тень, и лица девушки не было видно. Шор никому не показывал карточки, да и сам никогда на нее не смотрел. Он только время от времени, хмурясь, проверял, лежит ли она под книгами или под бельем.

Инженер Шалов спросил Шора: «Вы читали «Гидроцентральный»? Это, знаете, удивительно!» Шор покраснел от смущения: «Как-то времени не хватает. А в общем — распушенность. Спасибо, что надоумили. Теперь я обязательно прочту».

Он действительно взял книгу и начал читать. Но вдруг он вспомнил, что в шамотном цеху рабочие ворчат из-за сапог, и кинулся к телефону: «Нельзя ли раздобыть сапоги? Это безобразие!» Он так и не прочел романа.

Когда Колька Ржанов взлез на каупер, чтобы выправить канат, Шор пришел в цех. Все решили, что он пришел поздравить Кольку. Но Шор зарычал: «Что это за головоупячество? Ты мог замерзнуть или того — сорваться. Что у нас, много таких рабочих? Надо, черт возьми, беречь себя!» Он говорил и улыбался. Он видел глаза Кольки, полные смущения и радости. У Шора никогда не было детей. Когда он приходил к семейным товарищам, он ползал с ребятами по полу и смешно хрюкал. Теперь он глядел на Кольку, как на своего сына. Он был горд и умилен. Потом он побежал в управление и забыл о Кольке.

Колька не забыл о Шоре. Он говорил: «Ну и старик!» Шору было сорок восемь лет, но Кольке он казался очень старым. Когда Кольку охватывали сомнения, когда он видел вокруг себя корысть или малодушие, он вспоминал «старика». Тогда работа спорилась, и Колька снова веселел.

В то самое утро, когда Шор, обезумев, побежал к реке поглядеть, не упала ли галерея, рабочие Колькиной бригады обсуждали — выходить ли на работу? Фадеев говорил Кольке: «Андрюшка был в управлении. Говорит: на градуснике ничего не видать. Нет больше градусов — спрятались. Значит, пятьдесят или того холодней. А по контракту мы обязаны работать до сорока пяти. Умирать, милый, никому не хочется». Колька спокойно ответил Фадееву: «Нам не о градусах надо думать, но о сроках. Вторая декада февраля, а домну обещали пустить к апрелю. Вы, ребята, как знаете. Можете здесь валяться. Я и один пойду». Он опустил наушники шапки и, не глядя на товарищей, пошел к выходу. Тогда Васька Морозов сказал: «Что ж это, ребята? Неужто одному ему мерзнуть?» Он вышел вместе с Колькой. Вслед за ними пошли и остальные.

Это был тревожный день: кто-то подпустил лебедку. Листы упали. Рабочие мрачно глядели друг на друга: в их бригаду затесался

враг. Они жили дружно, вместе работали, пели песни, старались обогнать богдановцев, иногда выпивали и балагурили. Но вот кто-то подпустил лебедку, и сразу они оказались друг другу чужими. Они приехали сюда с разных концов страны. Фадеев думал, что виноват Андрюшка: эти сибиряки хитрые, говорит «бывает, бывает», а сам нож точит. Тихонов был сибиряком, и он считал, что лебедку подпустил Панкратов: кулаки убежали из России, а здесь вредительствуют.

Они подымали листы молча, среди метели и вражды. Молча вернулись в барак. Андрюшка попробовал запеть, но никто не подхватил, и голос его затонул в душной полутьме барака.

Колька думал: кто же?.. Он перебирал в мыслях всех товарищей: этот, этот, этот?.. Перебрав всех, он решил, что лебедку подпустил чужой. Когда они уходили в обеденный перерыв, он прибрался. Мало ли на площадке вредителей?

Колька подумал вслух: «Нет, это не наш». Фадеев в ответ проворчал: «Зачем так далеко искать?..» Колька строго сказал ему: «Если думаешь на кого — скажи. А зря болтать нечего. Только людей мучаешь, да и себя». Фадеев никого не назвал. Колька продолжал: «Нет, ребята, это не наш. Надо охрану ставить, вот что». Мало-помалу все успокоились. На следующее утро они работали, как всегда, дружно и бойко.

Происшествие с лебедкой имело, однако, неожиданные последствия: Маркутов решил проверить, кто работает на кауперах. Тогда-то и выяснилось, что Васька Морозов подчистил свои документы. Он говорил, что он батрак. На самом деле он был сыном кулака Николая Морозова.

Когда Фадеев узнал о прошлом Морозова, он затрясся от злобы: «Так я и думал! Лебедку это он подпустил. Все ходил и допрашивал: как да что? Вредитель несчастный!» Васька сидел на койке, опустив низко голову. Он молчал. Потом он не выдержал и крикнул: «Не я это сделал! Меня там и не было. Я со всеми в столовку ходил. Вот тебе мое слово комсомольца, что не я». Фадеев засмеялся: «Хорош комсомолец! Ты вредитель. Вот кто ты. Змея ты, а не товарищ!» Фадеев теперь не смеялся. Его лицо было искривлено злобой, а глаза под лохматыми бровями горели, как угли. Он подошел вплотную к Ваське и сказал: «Трус поганый! Уходи отсюда, чтобы чего не вышло. Я человек горячий. Я тебя прикончить могу».

Васька медленно встал. Он ни о чем не думал. Он вышел на мороз и остановился возле отхожего места. Была ясная ночь. Звезды были крупные, как в сказке. Прошла в уборную старуха Сидорова. Она злобно провыла: «Ты что, паренек, заглядываешь?..» Потом из барака вышел Тихонов — его вызвали в ячейку. Васька стоял, не двигаясь.

Когда Фадеев ругал Ваську, Колька молчал. Но потом он задумался: неужели это Васька подпустил лебедку! Он вспомнил, как Васька улыбался, когда они обогнали богдановцев, как он первый пошел за Колькой, когда ребята бузили. Нет, лебедку подпустил не он!.. Колька весь просветлел: он понял, что он связан с товарищами и что эта связь глубока. Он оделся и пошел за Васькой.

Он помнил о том, что Васька подделал документы. Он подошел к Ваське и сурово сказал: «Ты чего здесь стоишь?» Васька не откликнулся. Тогда Колька потряс его за плечо: «Ну?..» Не глядя на него, Васька сказал: «Лучше бы мне в бараке остаться! Вот Фадеев грозился, что убьет. А зачем мне такому жить?» Колька прикрикнул: «Нечего языком трепать. Ты мне прямо скажи — почему ты это сделал?»

Тогда Васька вышел из себя. Он смолчал Фадееву. Но вот и Колька с ними. Васька гордился тем, что он работает в бригаде Ржанова. Он говорил: «Погодите — Колька красным директором станет». Он считал, что Колька умней всех рабочих. Ради Кольки он готов был пойти в огонь и в воду. И теперь Колька — заодно с Фадеевым. Васька закричал: «Если ты на меня думаешь, я и разговаривать с тобой не желаю. Ты мне тогда не товарищ. Я над этими кауперами, как ты, работал. Я, кажется, жизнь отдам за них. А ты говоришь мне, что я вредитель. Как же мне после этого жить? Уйди от меня, Колька! Не верю я больше в товарищей. Все только и ждут, чтобы съесть человека живьем».

Колька в душе радовался этим злобным словам: они укрепляли его веру. Он снова подумал: нет, это не Васька! Он сдержался, чтобы не улыбнуться. Он строго сказал: «Я тебя не о лебедке спрашиваю. Я тебя о документах спрашиваю. Почему ты обманул партию?»

Васька недоверчиво поглядел на Ржанова: «Ты мне сначала ответь — ты веришь, что это не я подпустил лебедку? Если веришь, я

тебе все расскажу. А нет — уходи! Лучше мне тогда молча погибнуть, чем с тобой разговаривать».

Они прошли в барак. Койка Морозова находилась в углу. Рядом спал старик Зарубов. Васька говорил тихо, и никто, кроме Кольки, не слышал его слов.

«Мы сами тульские. Здесь, в Сибири у крестьян по пяти лошадей было, и не раскулачивали — говорят: «средняки». А у отца было две лошади и корова. Только деревня наша бедная. Он, значит, и оказался в кулаках. Я не спорю, он в душе был настоящий кулак. Я сначала этого не понимал — мальчишкой был. А потом и я возмутился. Приходит к нему Жданова. Ее муж в Красной Армии служил. Она говорит: «Иван Никитович, разреши ты к тебе хлеб ссыпать». Отец сейчас же прикидывает: «Вот тебе муженек подарки привез. Мне бы ситчика на рубашки». Жданова — в слезы: «Нет у меня ситца». Но отца слезами не разжалобишь. Он говорит: «Тогда и ссыпай куда хочешь». Вот он где, настоящий кулак! Но я только спрашиваю: откуда он мог другого набраться? Разве это его вина?»

Колька прервал Морозова: «Мы с тобой не попы. Незачем в душу залезать. Так ты скажешь, что и царь не виноват — он, дескать, родился царем, только то и знал, что стрелять в народ. Мы не рассуждать должны, а бороться. Ты, Васька, это оставь. Ты мне скажи про себя: почему ты подделал документы?»

«Я отца и не защищаю. Я тебе сразу сказал, что это настоящий кулак. Его четыре месяца в тюрьме продержали. Потом отправили на Магнитку. Он теперь, наверно, на стройке работает. Землю копает. Конечно, жаль мне его, но я сам понимаю — ничего другого и не придумаешь. Если он плачет, то и Жданова плакала. Я только хотел сказать, что это его судьба. Если кто-нибудь здесь подпускает лебедку, он сознает, что он делает. Это безусловный враг. А мужики жили, как жилось. Взяли помещичью землю и обрадовались. Потом отец купил мерина, и сразу душа у него перекосилась. Начал он людей мучить. Очень много зла в человеке! Ты меня спрашиваешь — почему я подчистил документы. Я тебе прямо скажу: со страха. Можешь меня презирать. Скажи, как Фадеев, что я трус. Только не такой уж я трус. Помнишь, когда на каупер лезли, и ты сказал «держись»? Андрюшка говорил: «боязно». А я — ничего. Скажут мне завтра — «защищай революцию от японца», — я не испугаюсь. Но одно дело умирать со

всеми. А здесь сиди и жди, пока тебе не скажут: «Ах ты кулацкое отродье!..» Вот я и струхнул. Я на стройку приехал без мыслей. Шкуру спасал. А потом присмотрелся, и как-то все во мне проснулось. Я только тут и понял, зачем мы это строим, за что мучаемся. А ночью лежу, думаю: вдруг узнают?.. Я боялся, что меня из комсомола вычистят. Куда я тогда денусь? Я, Колька, одну семью потерял. А теперь меня из второй гонят. Да еще такое на меня возвели, как насчет этой лебедки. Я вчера себя чувствовал героем труда, а сегодня на мне клеймо. Сегодня я жалкий вредитель. Как же мне после этого жить?..»

Васька долго говорил. По многу раз он повторял те же жалобы и упреки. Колька дал ему наговориться. Он понимал, что Васька не может молчать, что его страшит одиночество. Когда же Васька, измученный, наконец-то умолк, Колька потрепал его по плечу и сказал: «Ложись спать. Завтра что-нибудь да придумаем. А теперь мне надо в горком, на заседанье».

Колька пошел к Маркутову: он хотел отстоять Морозова. Он говорил: «За Морозова я отвечаю. Поговори с ним — никогда ты не скажешь, что это сын кулака. Он на стройке переродился. Не бузит. Только спросишь: «Кто за это возьмется», — сейчас же — Васька. Я тебя, Маркутов, не понимаю. Конечно, кулаков надо держать на цепи. Но Морозов не кулак. Он настоящий комсомолец».

Маркутов постучал карандашом по столу, и карандаш сломался. Тогда он стал подписывать бумаги пером. Перо было ржавое, оно скрипело и плевалось: листы были покрыты лиловыми брызгами. Маркутов не глядел на Кольку. Он подписывал бумаги и говорил: «Ты, Ржанов, молодчина! Только ты еще здорово молод. Не разбираешься в людях. Откуда ты знаешь, что это не Морозов подпустил лебедку? Кто у нас вредительствует? Именно такие. За спецпереселенцами смотрят. Они ничего не могут поделать. А вот — просачиваются. Как этот Морозов. В комсомол, в партию. Им доверяют, а они вредительствуют. Если Морозов один раз обманул, почему ты думаешь, что он и теперь не обманывает?»

Колька глядел на серые листы, покрытые лиловыми брызгами, и он злился. Он понимал, что Маркутов говорит резонно и что возразить ему трудно. Однако по-прежнему он твердо верил, что лебедку подпустил не Морозов. Он так и сказал Маркутову: «Я

Морозову верю». Маркутов усмехнулся: «Верят верующие, а коммунисты рассуждают».

Маркутов не верил людям. В своей жизни он видал много лжи и обмана. Он был подкидышем и детство провел в омском приюте. Заведующая говорила ребятам: «Разнюнились, нюнечки?» Голос у нее был нежный, как будто она все время пела. Потом она схватывала ухо мальчика и начинала его мять, крутить и дергать.

При Колчаке Маркутов был партизаном. У него был друг Красицкий. Этот Красицкий выдал Маркутова белым. Маркутова били в разведке. Отбили ему легкие — с тех пор он кашлял и покрывался болезненным потом. Он жалел об одном: когда пришли красные, не он расстрелял Красицкого.

Он работал в деревне по раскулачиванию. В Михайловском кулаки убили учительницу. Они говорили, что учительница пишет в газете, сколько у кого коров. Они раздели труп, отрезали груди, а голову вымазали калом. Потом они взвалили все на слабоумного Антипку. Маркутов нашел труп в овражке.

Он работал упорно и угрюмо. Он доверял только ЦК партии и хорошо выверенным машинам. Он видел, как вокруг него люди крали, отлынивали от работы, портили машины и пьянствовали. Он думал, что завод нужно строить с людьми, но против людей.

Маркутов сердито сказал: «Савченко до тебя приходил. Сволочи, в хлеб запекают гвозди! Не понимаю — вредительство это или разгильдяйство? А рабочие ворчат: „Хлеб пожевать и то страшно“... Маркутов нажал в сердцах на перо. Перо не выдержало. Он прижег огромную кляксу папиросой и замолк. Потом он снова начал ругаться: «Для жалости теперь не время. Это как на фронте. Только тогда мы знали: здесь свои, здесь белые. А теперь все перепуталось. Надо глядеть в оба. Не возись ты с этой дрянью. Он на словах коммунист, а сам только норовит, что поджечь или сломать. Я это племя знаю!»

Колька попробовал возразить: «Я его вовсе и не жалею. Я с тобой о деле говорю, а не о плупостях. Нет в нем никакого кулацкого духа. Парень перестроился. Мы кирпичи и то бережем. Как же людьми швыряться?» Прервал Кольку телефонный звонок. Маркутов схватил трубку. «Да. Я самый. Это какой же Окунев? Из Свердловска? Машинку? В ГПУ звонил? Я сейчас приду». Бросив трубку, Маркутов

сказал Кольке: «Вот полюбуйся! Приехал будто бы инженер. Конечно, документы сам сделал. Стянул восемьсот целковых и машинку».

Колька поглядел на Маркутова. Он увидел, что глаза у Маркутова серые и грустные. Они вышли вместе и тотчас же распрощались. Колька подумал: Ваське — крышка!

Колька растерялся от незнакомого ему чувства. Прежде он был уверен, что легко объяснить любую вещь: ход машин, резолюции съезда, поступки людей. Каждая книга ему открывала новую правду. Когда книга была написана врагом, Колька читал ее, насторожившись, и он понимал, в чем ее ложь. Но вот он говорил с Маркутовым. Маркутов партиец. Он знает куда больше Кольки. Почему же он не понял, что Колька прав?

Колька старался говорить толково, но выходило, что прав Маркутов. А здесь еще этот телефон помешал... Нет, телефон ни при чем. Дело ясно: подчистил Морозов документы? Подчистил. Правда, это было давно. С тех пор он изменился. Но об этом знает Колька. Маркутов об этом не знает. А Колька знает и не может доказать.

Колька дышал сосредоточенно и часто. Был сильный мороз. Воздух казался твердым. Колька остановился. У костра грелись строители. Они перетаптывались на месте. Снег был как камень. Колька подумал: ну и холодище! Он чувствовал себя одиноким. Он повернул к бараку, но сейчас же снова приостановился: Васька-то, наверное, не спит!.. Ну хорошо, пусть накажут за документы! Но ведь с лебедкой это не он. Неужели никто этого не поймет?..

Колька вспомнил о «старике». Шор все понимает. Он — старый большевик. Потом глаза у него добрые. Он и ругается — как будто шутит. Может быть, попробовать?

Так Колька очутился в комнате Шора. Испуганно поглядел он на акварель, на кипу чертежей. Шор не ругался и не шутил. Кольке показалось, что Шор его плохо слушает: он поглядывал по сторонам и шевелил губами, как будто он что-то жевал. Когда Колька кончил говорить, Шор буркнул: «Ты его завтра пришли. Я с ним потолкую. Только я боюсь, что Маркутов прав. Уж очень много этой шпаны развелось. Листы-то вы подняли? Я у вас три дня не был. А теперь ступай. Мне еще работать надо. Я вот на двенадцать разговор с Москвой заказал».

Возвращаясь в барак, Колька думал: нет, и «старик» не поверил. Но на душе у него было спокойно. Может быть, его утешило обещание Шора поговорить с Васькой, может быть, глаза «старика», серьезные и ласковые.

Шор позвонил в горком: «Что за история с этим... Как его?.. Да, Морозовым?..» Потом Шор говорил с Москвой. Было плохо слышно. Он кричал: «Транспорт!.. Понимаете? Транспорт! Ведь это не паровозы, это черт знает что!» Потом он сел за проекты подземного туннеля. Он лег только под утро. Засыпая, он вспомнил Кольку, и как тогда, возле каупера, его сердце наполнилось нежностью. Он подумал: хорошие у нас ребята! Теперь и умереть не страшно. А этот... Как его? Да, Морозов... Черт его знает! Может быть, Маркутов и перестарался. Конечно, если не мы — их, они — нас. Только этот еще молод. Он мог и вправду перемениться. Страшное это дело: отец, сын — как веревка! Может быть, отец такого Кольки тоже кулак?..

Шор вспомнил своего отца. Отец Шора был лавочником. Когда Шора арестовали, отец сказал матери: «Я прокляну его самым страшным проклятием!» Потом он побежал в тюрьму с колбасой, и колбасу выбрал самую большую: «чтобы хватило на всех мерзавцев». Шор засыпал, и мысли его путались. Он видел отца, Кольку, кулаков, которые напали на Шора, тюрьму. В тюрьме сидел Шор. Потом в тюрьме оказался кто-то другой. Шор едва успел подумать: как его?.. Кажется, Морозов... Потом он уснул.

Когда на следующее утро к нему пришел Морозов, он встретил его ревом: «Хорош! Эх ты, Батрак Батракович! Здесь тебе нечего делать. Здесь люди завод строят. А ты спец по другой масти. Тебе бы на Сухаревку — там для таких раздолье. Ну, чего ты рот разинул? Никто тебя здесь не держит. Можешь хоть сейчас убираться ко всем чертям».

Морозов стоял, не двигаясь. Шор громко высморкался и спросил: «Деньги на дорогу есть?» Морозов не ответил. Тогда Шор подошел к нему вплотную и снял очки. Его глаза стали сразу бессильными и добрыми. Он сказал: «Ну, чего тебе еще надо?» Тогда Васька, ободренный и голосом Шора, и его глазами, начал говорить. Он говорил долго и несвязно. Он клялся, что это не он подпустил лебедку. Он объяснял, что ему некуда ехать: он хочет работать на стройке. Он не вредитель, он честный комсомолец. Шор молчал. Васька тоже

замолк, а потом, глупо выпятив нижнюю губу, сказал: «Я без партии — как без дома».

Шор не вытерпел, он даже отбежал в угол. Слова Васьки его потрясли. Он понял, что этот парнишка говорит о партии так, как о ней думает сам Шор, что и для него партия не государство, не тактика, не строительство, но нечто бесконечно близкое, что разлука с ней — это разлука с жизнью. Чтобы скрыть свое волнение, Шор еще раз высморкался и проворчал: «Мальчишка!» Потом он позвонил Маркутову: «Морозова я возьму к себе, на галерею». Он прикрикнул: «Только у меня, брат, смотри! Я этих штук не люблю». — Потом он крепко сжал руку Васьки и, рассердившись на себя, вслух заметил: «Рукопожатья, что называется, отменены».

Когда Морозов рассказал Кольке о своей беседе с Шором, Колька просиял. Он радовался не только потому, что он спас товарища, он радовался и потому, что жизнь снова ему казалась ясной и глубокой. Он увидал, что, помимо книг и слов, существуют еще глаза и что глаза способны разговаривать. Его силы удвоились. Он как бы получил право на чувствования. Он сказал Ваське: «Я видал в управлении плакат: Кузнецк три года тому назад и Кузнецк теперь. Красота! Сначала — голое поле. Потом все эти кауперы, батареи, мартены. Вот если бы нарисовать такой плакат: Колька Ржанов три года тому назад и теперь. Я ведь тогда ничего не понимал. А думал, что все знаю. Мне жизнь казалась скучной-скучной. Я теперь на жизнь другими глазами пляжу. Хорошо быть настоящим человеком. Как старик. Он действительно все знает: и насчет галереи, и как туннель рыть. Я у него на столе такие чертежи видел, что кажется, всю жизнь учись, и то не разберешься. А ко всему еще, он человек. Я, Васька, думаю, что при коммунизме все такими будут». Он улыбнулся и уже шутя добавил: «Разве что помоложе и без очков».

Была северная весна, как всегда громкая и неожиданная. Шумели ливни и от яркого солнца люди хмурились. Тайга наполнилась новым шумом. Тетерева бормотали. Глухари охали. Еще в оврагах было много снега, но снег хирел, и над ним смеялись даже трясогузки.

В улусе Кады слепла старая шорка Мара. Ее сын пошел за шаманом. Шаман сначала не хотел идти: он боялся комсомольцев. Потом шаман все же пришел: он помнил, что у Мары имеется черный баран, и он хотел мяса. Он пришел отощавший, но величественный. Его одеянье звенело побрякушками: это были звери, птицы и рыбы. Шаман, камлая, посылал зверей, птиц и рыб, чтобы они распросили духов. Звери ломали лесную чащу, птицы неслись к небу, и глубоко ныряли медные рыбы. Духи потребовали черного барана. Сидя на корточках, шаман ел баранину. Он вытер сальные руки о священное одеянье. К вечеру Мара умерла. Тогда шаман сказал ее сыну: «Духи не смягчились. Весной жизнь как река: одни переходят через реку, другие остаются. Мара была очень стара. Ты не должен доносить на меня в комсомол! Я тоже очень стар. Я чувствую, что эта весна для меня последняя».

На стройке люди пели и ругались. Они пели потому, что им хотелось счастья, и они вязли в грязи. Земля как будто задумала пролотить людей. Проваливаясь в желтую глину, строители ругая ругали и товарищей, и стройку, и весну.

Землекопы нашли скелет мамонта. Он был древен, как мир. Увидев находку, Колька вспомнил, как Смолин говорил: «Мы строим гигант». Ему стало весело и страшно. В его голове прошлое смешивалось с будущим. Жизнь казалась ему непрерывной, и эта жизнь была полна чудес.

Землекопы нашли скелет мамонта. Рабочие возле Томи нашли цветы: первоцветы, одуванчики, куриную слепоту. Переселенец Яшка Крючков вспомнил заливные луга возле своей деревни, и он сердито отвернулся от цветов. Комсомолки в выходной пошли на реку. Они визжали, аукали, а Груша Тренева сплела всем веночки.

Зимой на стройке любовь была бессловесной и тяжелой. Ванька Мятлев как-то привел в барак смешливую Нюту. Нюта не смеялась. Она робко глядела на спящих людей. Сосед Ваньки, рыжий Камков, не спал. Он почесывал голый живот и сквернословил. Ванька боялся, что Нюта уйдет, и шепотом приговаривал: «Только на четверть часика!» Потом Ванька прикрыл их головы пиджаком. Они не могли запрятать свою любовь от людей, но они прятали свои глаза. Это было воспоминанием о стыде. Сильней стыда была страсть. Ванька сказал: «А теперь тебе пора домой!» Нюта закуталась в овчину и убежала.

На постройке ГРЭСа, возле чадных жаровен по ночам скрещивались руки, спецовки, юбки и сапоги. Люди любили жадно и молча. Вокруг них была жестокая зима. Они строили гигант. Они хлебали пустые щи. Они не знали ни нежности, ни покоя.

Весна была шумлива, и она сразу потребовала слов. Люди заверещали, как птицы. Весна раскрывала людям глаза. Люди шурились, но глядели. Парни уводили девушек за реку. Там щекотала щеки трава, и по ночам там кричали совы. Ванька Мятлев увидел грудь Нюты. Грудь у нее была крутая и смуглая. Ванька хотел пошутить, но осекся. Его лицо стало светлым и сосредоточенным. Он тихо сказал: «Ты, Нюта, красивая».

Вечерами строители обнимали женщин, и женщины становились тяжелыми.

Работа на стройке шла вовсю. Никогда еще люди так не торопились. Строитель Демьянов кричал в бреду: «Подавай кирпичи! Да, мать твою, скорей!..» У Демьянова было воспаление легких. Он умер на третий день.

В тот же день умер американский инженер Герл. Его тело отправили в Москву. Иностранцы провожали гроб. Они надели цилиндры и котелки. Они чинно ступали по грязи, и они глядели то на эту жестокую грязь, то на мальчишески синее небо с облаками, которые играли в перегонки. Иностранцы думали о том, что жизнь здесь не легка, что Герл был еще молод и любил играть в футбол, что смерть подкрадывается к человеку внезапно, как весна на севере. Они думали о высоком и постоянном, как и подобает думать на похоронах. Позади шли комсомольцы с красными флагами. Герл умер на боевом посту, и ему отдавали революционные почести. Комсомольцы пели

похоронный марш, но он выходил у них бравурным. Гроб положили в товарный вагон. На вагоне значилось: «Срочный возврат».

Из Москвы приехали корреспонденты газет и кинобригада. Все готовились к торжеству. Строители работали иступленно. В этой лихорадочности, помимо плана и сроков, помимо голода и веры, была еще воля весны, ее поспешность и размах, ее тоска, которая днем подготавливала огромную домну к пуску и которая ночью наполняла утробы женщин семенем.

Так впервые заскрежетала воздуходувка. Этот скрежет с непривычки был страшен, но строители улыбались: завод начал дышать. Услышав ужасные звуки, смутились старые казашки и шорки: они припоминали камланье шаманов. В крохотное оконце можно было увидеть нутро бога, но плядеть на него человек не мог: огонь слепил, как солнце. Чтобы следить за утробной жизнью домны, люди вставили в оконце синее стекло. Домна дышала с трудом, и, вдыхая доменный газ, люди задыхались. Из печи вытекали струи расплавленного металла. Это было величественно и просто. Ради этого люди страдали, как страдают женщины, обливаясь кровью и проклиная любовь.

Кузнецку весна принесла спешку, эпидемию, любовь за рекой, пуск первой домны, празднества и грохот. Весна заглянула и в старенький Томск. Она смыла несколько прогнивших домиков, и на фасадах правительственных зданий она развесила несколько вылинявших от непогоды флагов. Про запас у нее были ливни, солнце и смех сорока тысяч томских вузовцев. У вузовцев была горячая пора: они сдавали зачеты. В курсы химии или физики вмешивались непрошенные советчики: то запах черемухи, то зайчик на стене, то веселый смех: «Это Женька»...

Сады сразу расцвели, и Томск наполнился цветочными запахами, зеленой пылью, вздохами. Вздыхали и старые лишенцы, припоминая прошлое, и курносые стриженные вузовки — они чувствовали, что подходит любовь. Вечерами все смешивалось: «Я сегодня у Королькова перехватила зачет», «послезавтра поедем в Городок», «с звуком плохо, ничего не знаю», «ты почему гулял вчера с Аней?», «вот поеду на практику, пришлю тебе подарок», «ну, раз дай поцеловать, тоже недотрога», «милый ты мой, как я с тобой счастлива», «в столовке ни черта не дают, жрать совершенно нечего», «как у тебя с

ботаникой?»), «помнишь Есенина: „все пройдет, как с белых яблонь дым“?», «Шурка, давай с тобой поженимся», «ну куда ты, ну как же, ну, милый...» Весна не обошла Томск, и старый город, весь изношенный и злосчастный, сиял наново. Его глупая каланча с шарами встречала солнце, не смущаясь своего ничтожества, как будто и не каланча это, но кузнецкая домна.

Перед университетом устроили цветник и фонтан. Это было культурным достижением, и на открытие фонтана собрался народ. Милиция не позволяла лежать на траве. Тунгусы плядели на фонтан и одобрительно вздыхали. Старый профессор Ивашов сказал раздраженно: «В Европе такие фонтаны на каждом шагу, а здесь это мировое событие». Профессор был болен печенью. Он страдал от плохой пищи и от невежества вузовцев. Он презирал фонтан. Тунгусы ели с восторгом щи, и фонтан им казался затейливым, как сон.

На собрании взаимной чистки Петька Рожков произнес горячую речь: «Мы должны помнить о темпах! Стране нужны специалисты. Каждый день, потерянный нами, отразится на успехах второй пятилетки. Товарищи, вузы — это та же стройка, и перед нами примеры героев Кузнецка!..» Петька Рожков больше не думал ни о стихах Пушкина, ни о Тане. Он думал только об органической химии и о великом строительстве.

Рабфаковец Сенька Крамов сказал Ирине: «Я тебе открою мою тайну». Ирина печально вздохнула. Они сидели в роще, вокруг цвела шальная черемуха, и Ирина думала, что Сенька будет говорить о любви. Ирина не хотела слушать признаний: она сама знала, что такое любовь. Она не спала по ночам, и мысли у нее путались. С тех пор как она познакомилась с Володей Сафоновым, она жила растерянно и беспокойно. Но Сенька Крамов не хотел говорить о любви. Ирина ему сказала, что она любит стихи, и Сенька решил раскрыть ей свою тайну: «Я тоже пишу стихи. Но я не знаю, может быть, это ерунда. Я работал в Прокофьевске на шахтах. Туда прислали одного англичанина-специалиста. Я как-то услышал — этот англичанин говорил с переводчицей. И вот тогда мне захотелось так же писать стихи, то есть пронзительно и красиво. Ты не подумай, что по-английски. Нет, по-русски. Но не так, как все говорят. Иначе. Я искал неожиданного сочетания звуков. У нас был кружок рапповцев. Я прочел им. Дашков мне ответил, что это «буржуазный футуризм». Я

очень горевал, но стихов я не бросил. Я тебе как-нибудь почитаю. Когда вот такое кругом, меня распирает. Приду в общежитие и пишу, пишу. Кажется мне, что замечательно, а может быть, ерунда. Только нет сил, чтобы остановиться...»

Ирина с удивлением поглядела на Сеньку. Она его много раз видала. Они занимались вместе немецким. Но ей показалось, что она видит его впервые. У него были большие глаза, светло-синие, и чуть приоткрытый рот, как у ребенка. Она почувствовала к нему большую нежность, и она тихо сказала: «Ты настоящий поэт. Так только поэт может говорить. «Внезапное сочетание звуков» — это уже стихи». Они помолчали. Потом Сенька проводил Ирину до дому: она торопилась. Прощаясь, он крепко пожал ее руку и, не выпуская руки, заглянул в ее глаза. Тогда Ирина снова смутилась: Сенька в нее влюблен, он понял ее слова, как ответное признание. Вся покраснев, она сказала: «Я, Сенька, очень несчастна. Я люблю одного человека, а он меня не любит. Впрочем, и это вздор. Надо заниматься — завтра зачет».

Ирина спешила домой потому, что к ней обещал зайти Володя Сафонов. Они встречались теперь каждый вечер. Они никогда не говорили о любви. Они говорили о стихах, о весне, о жизни. Володя все знал, он казался Ирине большим и мудрым. Она робко его слушала. Иногда она прерывала его вскриком: «Вот хорошо!» Иногда она начинала смеяться, и смех ее был звонкий, веселый. Володя не умел смеяться. Когда Ирина смеялась, он пробовал улыбнуться, но улыбка у него выходила грустная. Казалось, он сейчас заплачет. Тогда Ирина неожиданно говорила: «У тебя на рубашке нет пуговицы. Ты, наверное, и нитку вдеть не умеешь... Дай я на тебе пришью».

Когда Володя бывал с ней, она ни о чем не думала. Ей было хорошо, и она отдавалась счастью. Но, оставаясь одна, она начинала терзаться. Она думала о том, что она глупа. Ирина как-то сказала: «Я не умею думать об отвлеченном». Брат Лелька потом ее дразнил: «Философ»! Конечно, она дура, и Володе с ней скучно! Зачем же он приходит к ней? Может быть, ему нравится ее лицо? Ирина недоверчиво гляделась в зеркало. Круглое лицо, скулы, маленький носик. Лелька ее звал «курнофейкой». Как она может понравиться Володе? Володя сказал: «Красота — вещь условная. Для нас это обычно — греческие каноны». Ирина видела в томском музее

гипсовую Диану. Ирина на нее никак не похожа. Позавчера Володя гулял с Варей Калининковой. Варя куда красивей ее!..

Так Ирина терзалась, когда она поджидала Володю. Но после разговора с Сенькой она чувствовала себя приподнятой. Слова Сеньки ее настроили на иной лад. Володя сразу заметил, что Ирина чем-то взволнована. Он спросил: «Ты что это рассеянная? Приключилось что-нибудь?» Ирина молчала. Тогда Володя почувствовал себя одиноким. Он сел на стул и, покачиваясь, начал говорить: «Надоело. Все надоело. Самокритика. Взаимная чистка. Тунгусы в роли спасителей цивилизации. Ну и так далее. Как видишь, я не из приятных собеседников. Данте, изображая ад, многого не предвидел. Например: обыкновенный взрослый человек среди торжествующих недорослей. Вариации: человек среди патефонов, человек среди попугаев и так далее. Ну, а вы что изволили делать? Самочистились? Или стояли в череду за хлебом?»

Ирина ответила: «По-моему, ты не прав. Почему ты надо всем смеешься? Конечно, ты умней других. Но все-таки ты не прав. Я сегодня разговаривала с Сенькой Крамовым. Ты его, кажется, не знаешь. Это рабфаковец. Шахтер из Кузбасса. Он, оказывается, стихи пишет. Я знаю, что ты снова будешь смеяться. Но он меня совсем растрогал». Ирина повторила Володе слова Сеньки.

Сафонов нахмурился, его рука с окурком долго шарила по столу — он думал. Потом он начал говорить. Он говорил медленно и мучительно, как будто он убеждал себя: «Еще одна иллюзия! Конечно, такой Сенька умнее рапповских критиков. Но почему я, Владимир Сафонов, обязан умиляться? Когда ребенок начинает говорить, все стоят и ждут: что это он скажет? Он, разумеется, говорит: «ма-ма». Обождите, но кто умиляется? Та же мама. Или папа. Или бабушка. А здесь должны умиляться все. После Платона, после Паскаля, после Ницше — не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил! Причем, ввиду столь торжественного события, обязаны тотчас же и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сеньки. Бернард Шоу от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сеньками. Разрешите задать еще один вопрос. Хорошо. Сенька говорит. Он на рабфаке. Он будет красным профессором. Он научится носить галстуки и цитировать Маркса по первоисточнику. Его сын будет выбирать галстуки, сообразуясь с

цветом пиджака, и цитировать не только Маркса, но даже Канта. Спрашивается, что будет делать его внук? Писать поэмы о галстуках? Опровергать Маркса с помощью Ницше? Нюхать кокаин от мировой тоски? Или, может быть, готовить новую революцию? То, что меня раздражает, Ирина, это не жестокость революции, но ее бессмысленность».

Ирина не сдавалась: «Ты не о том. Ты всегда стараешься обобщить. А это живой человек. Он говорил как настоящий поэт. Ты подходишь к нему с готовым мнением. Чем ты лучше критика, который ему говорил о „буржуазном футуризме“?»

Володя досадливо отмахнулся: «Я не об этом Сеньке говорю. Какое мне до него дело? Допустим, что он гениальный поэт. Тогда он через пять лет замолчит. Или сойдет с ума. Или повесится. Можешь почитать историю русской поэзии: она началась с двух трупов и двумя трупами кончилась. Скучно, Ирина, так скучно, что, кажется, встал бы и завыл, как собака!..»

Володя с отвращением поглядел на большой букет черемухи — весна его преследовала повсюду. С детских лет он боялся весны: она его выгоняла из норы. Сердце билось неровно, он судорожно зевал или задыхался, то его клонило ко сну, то он без толку слонялся по мокрым крикливым улицам. Весной он не мог читать: книга с первой же страницы казалась ему знакомой, как будто он ее читал прежде. Особенно смущали его весенние запахи. Он не мог удержаться от соблазна: он зарывался лицом в ворох сирени и тотчас же отбегал прочь. Он сам дивился, почему он не может, как все — понюхать, поискать «счастье», а потом сесть за книгу. Цветы для него были пыткой. Так было и с букетом черемухи, который Ирина притащила утром, думая им прикрасить полутемную грустную комнату. Он понюхал и мучительно отвернулся. Тогда он увидел перед собой глаза Ирины. Он понял, что на этот раз весна его перехитрила.

Он вдруг стал послушным и пустым. Он ни о чем не думал. Он только глядел на Ирину и радовался. Мир, который всегда казался ему страшным и враждебным, сузился, он вошел целиком в глаза Ирины, в глаза, полные такой печали и доброты, что Володя, глядя на них, улыбался. Кажется, впервые за долгие годы его улыбка не сбивалась на гримасу. Так мальчиком он улыбался отцу, когда отец сажал его на колени и говорил: «Ну, коза-егоза, скучно тебе с доктором

Сафоновым?..» Глаза Ирины стали очень большими. В них была воля, не самой Ирины, не Володи — чужая, и, подчиняясь этой чужой воле, Володя подходил все ближе и ближе. Он шел, как лунатик, выставив руки вперед. Крохотное расстояние между ним и Ириной казалось ему непреодолимым. Он испуганно остановился. Его руки неловко коснулись плеча Ирины. Она не отодвинулась. Он прижался губами к ее губам. Губы Ирины были горячие и слабые. Она вся как-то поникла. Он обнял ее, чтобы она не упала. Потом он вздрогнул, как будто кто-то его окликнул. Он бережно посадил Ирину на стул, а сам отошел к окну.

В голове его появились мысли неясные и жестокие. Они походили на первые мысли человека, которого разбудили непривычно рано. Сейчас она спросит: «Хорошо тебе?..» Так спросила Таня. Так и в романах спрашивают... Он снова почувствовал знакомую ему тоску, как от букета черемухи. Он робко ждал, что скажет Ирина. Но Ирина молчала. Он заставил себя оглянуться. Ирина плакала. Володя растерялся. Он подумал со всей неуклюжестью мужчины: может быть, ей воды дать?.. Потом он подошел к ней и, виновато дотронувшись до ее руки, набормотал: «Ну чего ты? Я ведь искренне. Да ты сама знаешь. А если тебе неприятно, я больше не буду. Только не плачь. Ну, перестань!»

Ирина сказала: «Ты не обращай внимания! Я сама себя не понимаю. Глупо — разревелась, как девчонка. Но ты не подумай, что это от горя. Я еще никогда не была так счастлива! Слышишь меня — никогда!» По ее лицу все еще бежали большие частые слезы. Но, говоря с Володей, она улыбалась. Володя ничего не мог понять. Он несколько раз пробежался по комнате. Ему было страшно: никогда прежде он не думал о том, что для него Ирина. Теперь, глядя на ее лицо, затуманенное и слезами и радостью, он вдруг догадался, что он приходил к Ирине совсем не потому, что она охотно выслушивала его рассказы. Ирина не Таня. Это не случайная связь. Кажется, никогда он не сможет от нее уйти!.. В его голове не было слов: он не пытался взвесить или определить. Он только чувствовал, что нечто очень важное неожиданно приключилось.

Он снова подошел к Ирине. Он начал ее целовать. Он целовал мокрые щеки, глаза, лоб. Потом он поцеловал ее в губы. Он откинул ее голову назад, и он целовал отрывисто, жадно, с каким-то веселым

отчаяньем. На минуту высвободившись, Ирина прошептала: «Замолчи! ну, замолчи, милый...» Володя ничего не говорил — она путала поцелуи со словами. Она была без сил.

Володя сразу выпрямился. Он стоял посередине комнаты, высокий и нескладный. Он вынул папиросу, но не закурил. Он подумал: «Вот и катастрофа!» Он попытался отделаться шуткой: «Знаешь, Анатолий Франс говорил, что...» Не досказав, он выбежал из комнаты. В палисаднике на него сразу обрушился душный запах сирени. Он прикрыл лицо горячими сухими ладонями.

Он долго бегал по улицам. Улицы назывались по-разному, громко и торжественно: Красноармейская, Пролетарская, Интернациональная. Все они походили одна на другую: те же деревянные домики, те же лавочки у ворот, та же теплая пыль. В домиках кряхтели лишенцы: они терли мазью поясницу и заправляли лампадки. В домиках вузовцы зубрили оптику или патологию. Они украдкой читали стихи и писали любовные цидулки. Гришка спрашивал Рожкова: «Единственная — через два н?...» Навстречу Володе кидались то флаги, то черемуха, то парочки. Влюбленные шли, как на экзамен. Но глаза их не умели прикидываться. В этих глазах был ворох нежных кличек и вздохов, задыхание поцелуев, запах примятой травы, несколько рифм и несколько торопливых слезинок — все, чем жив обыкновенный весенний вечер. Володя бежал по улицам, а за ним бежала весна. Он чувствовал, что его глаза полны того же смятения. По его глазам всякий может догадаться, что он сдался на милость счастью, что он не одинокий чужак, не советский Печорин, но попросту вузовец, который целуется и сдает зачеты, который должен работать, жениться и жить. Так вот почему он боялся цветов!..

Он остановился, измученный, и присел на лавочку. Он хотел привести в порядок не только глаза, но и мысли. Он хотел понять, что с ним. Он думал, что мысли будут сложными и путаными. Но первое, что пришло в голову, было простым и в то же время решительным: он любит Ирину. Разгадка испугала его своей точностью. Но потом он вспомнил глаза Ирины и улыбнулся.

Однако не зря он готовился к мучительным мыслям: они шли с небольшим запозданием. Они не касались ни его чувств, ни чувств Ирины. Он не гадал о том, любовь это или не любовь. На него накинута другая мысль. Они снова погнали его по улицам: вниз,

наверх, на горку, к реке. Старые татарки таинственно верещали. Овраг был заполнен огоньками, которые метались, как светлячки. Кто-то сказал: «Наденька, вот тебе слово, что не я!» Потом крестьянин в лаптях гнусаво провыл: «Гражданин, копеечку!» Потом звонили в церкви. Потом громкоговоритель зарычал: «По выполнению хлебозаготовок...» Володя все бежал и думал. Он думал не о любви, он думал о себе.

Когда наконец он осмелился свалиться на койку и вытащить из сундучка тетрадь, он уже знал все. Он сам прочел себе приговор, и, выслушав этот приговор, он прикусил губу, чтобы не расплакаться. Он старался сохранить спокойствие. Когда он раскрыл тетрадку, ему захотелось тотчас же выписать имя Ирины — тогда он услышит рядом ее тихое и нежное дыхание. Но он не поддался соблазну. Он писал, не отрываясь до поздней ночи.

«Сегодня, в итоге некоторых событий, выяснилось, что я осужден. Началось все с разговора о каком-то поэте-рабфаковце. Тема сама по себе незначительная. Но она послужила проверкой многого. Если Ирина после этого разговора не прогнала меня, но даже сказала о своем счастье, это доказывает, что любовь лежит в ином плане. Конечно, Ирина живет чувством. Я старше ее, и я обязан думать за нас обоих. Разговор о рабфаковце принимает первостепенное значение. То, что мне рассказала Ирина, действительно трогательно и даже глубоко. Я ей ответил чересчур резко. Возможно, что это от ревности: меня обидело, что такой рабфаковец мог ее взволновать чуть ли не до слез. Но дело не в тоне. От главного я не отрекаюсь: я глубоко безразличен к такой жизни. Что для меня этот Сенька? Нечто вроде Рожкова, который сейчас лежит рядом со мной. Разве я могу поручиться, что Рожков не пишет стихов? Отнюдь нет. Это вовсе не звери. Это люди. Но это люди иного класса, а следовательно, иного душевного возраста. В чем я их упрекаю? Только в том, что они младенцы. Официально им двадцать лет, и они «строители новой жизни». По моим соображениям, им от трех до семи лет, и они учатся грамоте. Это не мои сверстники, и мне с ними нечего делать.

Тетка говорила, что отец тоже не мог ни с кем ужиться. Он все время ругал губернатора, чиновников, купцов и пр. Но он жил среди подобных себе. Он был несколько честней их и поэтому возмущался несправедливостью. Он мог работать. Он мог не соглашаться и

спорить — ему было с кем спорить. Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни. Искренне я пишу только дневник.

Живи я сто лет тому назад, я был бы вполне на месте. Я тоже презирал бы людей. Но это были бы существа моей породы. Нельзя презирать пчел или дождь. Притом я не имею никаких прав на презрение. Будь у меня поэтический талант или хотя бы воля, достаточная, чтобы совершить какой-нибудь безрассудный поступок, я был бы вправе презирать всех этих Рожковых. Но, видно, я заурядный человек. По классовому инстинкту или по крови, или, наконец, по складу ума я привязался к культуре погибающей. Значит, для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой». Она не стоит разработки. Конечно, в иную эпоху человек мог любоваться горными вершинами, не думая, выйдет ли из этого ландшафта хороший чугун. Лермонтов на Кавказе отыскал не руду, но демона. Что же, для всего свое время! Владимир Сафонов осужден историей, как несвоевременный феномен. Ему остается ждать другого суда, менее эффектного. Во всяком случае, впереди у меня мрак. Отсюда прямой вывод: я не имею права губить Ирину.

Я говорю не о моральном праве. Какой-нибудь Рожков верит в пролетарскую мораль (причем эта мораль меняется в зависимости от последнего съезда). Профессор Шологин ходит в церковь из протеста: он считает, что революция поставила у власти хамов, что хамы отобрали у него дом и что поэтому он должен класть поклоны перед каким-то плюгавым попиком. Нечто вроде тунгусов! Я понимаю, что мораль христианства по-своему высока. Но для меня это такой же вздор, как телефонный справочник за 1916 год. Говорят, что профессор Шологин бережет этот справочник и читает его, как Евангелие. Однако по старым номерам никого не вызовешь: ни культуру, ни господа-бога, ни городского.

О какой же морали может идти речь? Отец не верил ни в бога, ни в Маркса. Но у него еще что-то получалось. Он говорил: «нехорошо». Следовательно, он подозревал, что именно хорошо. Это была интеллигентская мораль: смесь Льва Толстого и либеральных газет. Мне даже этого не досталось. Если у меня имеются

единомышленники, мы вправе претендовать на звание «беспризорных».

Когда я говорю, что не имею права губить Ирину, я не исхожу из каких-то абсолютных норм. Дело много проще. Мне неприятно об этом писать: я ведь начал дневник для борьбы с обязательным младенчеством, а вовсе не для сентиментальных излияний. Но все же следует признать, что речь идет о чувствах. Будь на месте Ирины Таня или еще кто-нибудь, я спокойно проделал бы все, а потом ушел бы. Ну было бы неприятно, и только. В конечном счете я не скопец и это, увы, не первое увлечение. Но сегодня я понял, что Ирина мне бесконечно дорога. Говоря откровенно, это единственное, к чему я привязался. Некоторые слова очищены долгим молчанием. После «Собачьих переулков» и «девах» Рожкова, я могу, не стыдясь, сказать, что я Ирину люблю. Именно любовь запрещает мне быть счастливым. Конечно, Ирина куда тоньше других девушек, которых я здесь встречал. Она любит Блока, а не Жарова, — это уже достаточно, чтобы почувствовать одиночество. Но все же Ирина веселая, живая девушка. Она прекрасно уживается со своими товарищами. Ее может растрогать какой-нибудь Сенька. Никто ей не скажет, что она «изгой». Она крепко стоит в жизни. Неужели я потащу ее туда, где я сам вижу только смерть, даже без красивого жеста? Если бы я был туберкулезным, я никогда не осмелился бы ее поцеловать. Но ведь моя болезнь еще страшней. От туберкулеза лечат, а от этого нет лекарств. Ирина мне доверяет. Я никогда не забуду, какими глазами она сегодня смотрела на меня. Она сама на грани — нельзя безнаказанно читать дневники Блока, а потом идти на взаимную чистку! Мне легко передать ей мою болезнь. Возможно, что в социальном плане я негодяй. Но в любви я постараюсь быть честным. Никогда я еще не писал так глупо! Это сбивается на дневник влюбленной девчонки. Недостает только поставить инициалы или нарисовать пронзенное сердце. Но от таких вещей никто не защищен.

Прощай, Ирина! Прощай, любимая!»

Володя провел три дня, ни с кем не разговаривая. Он сидел над учебниками или бродил один по окраинам. Он не вынимал из сундука тетрадки. Он решил пережить испытание сухо и молча.

На четвертый день случайно он встретил Ирину. Она его окликнула: «Володя, ты что же не приходил?» Он смутился: «Очень

занят был — сразу два зачета...» Ирина позвала его к себе: «Я иду домой». Володя подумал: отказаться глупо. Надо побороть чувство, даже оставаясь с ней.

Они пили чай. Володя пробовал шутить. Ирина один раз засмеялась, но тотчас снова стала серьезной. Она чего-то ждала. Володя это чувствовал и пуще всего боялся молчания. Он говорил без умолку. Казалось, все в тот день его занимало. Он говорил не только о пьесе «Швейк», которую ставили в местном театре, но даже о пуске кузнецкой домны. Он рассказывал Ирине, как смешивают кокс с рудой. Говоря это, он вспомнил о пустой породе и невпопад заметил: «Получается шлак».

Ирина его не прерывала. Она не попробовала заговорить о другом. Но она чего-то ждала, и, не вытерпев паузы, Володя вскочил: «Мне пора заниматься». Ирина его не удерживала. Она проводила его до двери. Неожиданно в сенях они заговорили. Они говорили так долго, что на голоса выбежала соседка Ирины Гвоздева. Тогда они вернулись в комнату Ирины. Говорил Володя. Ирина иногда подсказывала слова, иногда, вбирая в плечи голову, она тихо переспрашивала: «Разве?» Володя поспешно отвечал: «Разумеется».

Это был странный разговор. Не его ждала Ирина. Его не предвидел и Володя. Он начался с вопроса Ирины: «Когда же ты теперь придешь?» Володя увидел перед собой глаза Ирины, как в вечер их первого объяснения. Ему захотелось поцеловать Ирину. Это желание было внезапным и острым. Володя понял, что он слабеет. Тогда-то он резко ответил: «А зачем приходить? Глупо! Когда я тебя поцеловал, ты расплакалась. Ты меня прости, но я все же мужчина».

Потом Володя сам не мог понять, почему он это сказал. Он хотел резкостью оттолкнуть от себя Ирину. Но чувство оказалось достаточно сильным. Он был сбит с толку. Он думал, что грубыми словами он ее расхолодит. Вышло наоборот: он настаивал на любви. Ирина робко положила свою руку на его ладонь: «Ты не должен на меня сердиться. Я не потому плакала. Я сама не знаю, как тебе объяснить. Может быть, это инстинкт. Во всяком случае, это глупо. Ты знаешь, все эти дни я так ждала тебя!..»

Володя вздрогнул. Он чувствовал себя разбитым. Он не отдернул своей руки. Он готов был здесь же, среди ящиков и щеток, поцеловать Ирину. Но он совладал с собой: «Напрасно ты доверяешь. Возможно,

что с моей стороны это только минутное увлечение. Если я расскажу тебе про мой донжуанский список, ты сразу меня прогонишь. Я не умею любить. У меня одной стороны философия, а с другой животное чувство. Мне гораздо лучше спутаться с какой-нибудь «девахой», как говорит Рожков. Я буду для нее двадцатым, а она для меня двадцать первой». Он долго говорил. Он старался очернить себя. Он уверял, что он никого не любит. Но неожиданно он сказал: «Коли я эти дни и думал о тебе, то только потому, что я тебя ненавижу». Тогда-то выскочила Гвоздева, и Ирина сказала: «Пойдем ко мне. Здесь неудобно разговаривать». Володя спросил: «Стоит ли? Кажется, договорились...» Но Ирина взяла его за руку и повела по темному коридору. Она не знала, что ей думать о словах Володи. Она готова была поверить, что он ее не любит, что он любит Варю или другую женщину, что в тот вечер он просто над ней посмеялся. Но когда Володя сказал, что он ее ненавидит, она вздрогнула и в темноте едва заметно улыбнулась: ей показалось, что она спасена. Володя говорил ей неправду только потому, что он очень горд.

Володя продолжал говорить с той же злобой. Теперь он доказывал, что любовь устарела. «Кто еще способен влюбляться? Разве что профессор Шологин. Или твой рабфаковец: они ведь подражают античным образцам. Человеку теперь не до любви. Он отливает чугун, а время от времени совокупляется».

Ирина, наконец, не выдержала. Она была измучена непонятной ей жестокостью. Она тихо сказала: «Володя, да ты не то говоришь. Я ведь знаю, что это не так. Я не могу с тобой спорить. Я очень устала за все эти дни». Тогда Володя собрался с силами. Он нарочито медленно закурил папиросу и совсем спокойно, так, как он обычно разговаривал с товарищами, сказал: «Ты совершенно права. Все мои разговоры о ненависти — аффектация. Просто со скуки. Когда-то были ряженые. Теперь приходится довольствоваться монологами под Шекспира. На самом деле я к тебе равнодушен. А так как ты ждешь другого, нам лучше не встречаться. По крайней мере, в ближайшее время. Советую взять себя в руки. Заняться чем-нибудь другим. Например, стихами Сеньки. Или, еще лучше, вопросом о выплавке чугуна».

У него хватило сил договорить это до конца, пожать холодную руку Ирины, спокойно выйти на улицу, даже медленно дойти до угла.

Он шел, как заводной, — ему казалось, что Ирина еще смотрит на него. На углу его походка сразу переменялась. Он побежал. Лицо теперь выдавало муку. Он забыл бросить папиросу, и он размахивал рукой с окурком. Он бессмысленно повторял: «Ирина, ну Ирина, ну!..» Он производил впечатление пьяного, и какой-то прохожий брезгливо на него покосился. Он не помнил, как он прошел к себе, как без сил свалился на койку. Он подумал в чаду: может быть, уснуть?.. Но тотчас же он привскочил и снова начал бормотать. Впервые он не замечал, что вокруг него люди. Он забыл о гордости. Он сидел на койке, обняв руками колени, и медленно раскачивался. Может быть, движениями он хотел утишить боль. Его лицо то и дело скашивала судорога.

Петька Рожков сначала прикинулся спящим. Он знал, что Володя скрытен, и старался не глядеть на соседа. Но вскоре Петька услышал бормотание. Он привстал и поглядел на Сафонова. Он увидел глаза, мутные от горя. Тогда он тихо подсел к Сафонову и сказал: «Брось, Володька! Если с девахой что — не стоит, уладится. Ну перестань ты! Нечего расстраиваться!» Слова едва доходили до Володи. Он ничего больше не понимал. Но когда Рожков дружески хлопнул его по спине, он не выдержал и заплакал.

«Володя, дорогой мой! Я сама не знаю, зачем я тебе пишу. Я уже тебе писала много раз, но рвала письма. Не знаю, отправлю ли это. А вот нет сил удержаться — когда я пишу тебе, мне кажется, что ты рядом. Не смейся — это не от меня зависит! Я стараюсь быть сдержанной и не вспоминать о прошлом. Я и сейчас решила писать тебе обо всем, только не о любви.

Прежде всего я хочу рассказать тебе о моих планах. Я, наверное, скоро уеду из Томска. Я хочу учительствовать где-нибудь на стройке. Это вместо «чистой науки», о которой ты говорил, как о единственном достойном. Представляю, как ты сейчас иронически улыбаешься. Может быть, ты даже вспомнишь, что сказал об этом Анатолий Франс?.. Только, пожалуйста, не думай, что я ухожу в работу от несчастной любви, как тургеневские героини уходили в монастырь. Я иду навстречу жизни, и я никак не ободряюсь насчет того, что мне предстоит. Это не тихая обитель, но настоящее пекло. Работа трудная и неблагодарная. Но все же я склоняюсь к этому решению. Я тебе расскажу все, что я передумала за это время. Ты выслушай, а потом скажи, глупо это или нет.

Ты знаешь, я часто думаю — в какое великое время мы живем! Это не слова из газеты, но мое чувство. Когда я в кино увидела «Турксиб» — как старый киргиз встречает паровоз, я чуть было не расплакалась: так это прекрасно! Ты всегда издевался над «чугуном». Недавно я познакомилась с одним комсомольцем. Он проработал год на стройке. Хороший парень, толковый, не хвастается, видит все, как есть. Он рассказал мне о Кузнецке. Это как сотворение мира. Все вместе: героизм, рвачество, жестокость, благородство. Страшно подумать, в каких условиях они работают! Почему ты можешь понять красоту этого, когда ты об этом читаешь в книге, как о далеком прошлом, а того, что рядом с тобой, ты не видишь?

Есть у нас такие блаженные (или ловкачи) — они замечают только хорошее. Читают в «Известиях», сколько тонн чугуна отлито, и улыбаются. Возьми Вадима — ты его тоже знаешь. Его считают прекрасным спецом. А по-моему, он дурак или прикидывается. Я с

ним как-то шла вечером, попала в лужу — вода по колени. Я, конечно, выругалась: «Черти, досок не могут положить!» А он говорит: «Как вы можете обращать на это внимание? Если у нас грязь, то ведь это потому, что мы строим». Как дятел! Забыл даже, что он не в Новосибирске, а в Томске и что здесь ничего не строят. Или я рассказала при нем о Федотове. Это возмутительный случай! Он влюбился в девушку из детдома. Девушке этой 18 лет. Они решили пожениться. А Павченко приревновал и объявил, что Федотов в качестве инструктора «развращает малолетних». Федотова вычистили из комсомола. Два месяца просидел. Потом все от него отшатнулись. Словом, зарезали парня. Так вот я рассказываю об этом, а Вадим говорит: «Почему вас интересуют подобные мелочи? Что представляет один такой случай рядом с ростом миллионов?» И пошел, пошел. Я таких презираю. Это, по-моему, не борцы, но настоящие оппортунисты.

С другой стороны — ты. Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка происходит не в прекрасной чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я и считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться или рассказывать шепотом какие-то плурые анекдоты.

Ты пойми — меня возмущает несоразмерность. С одной стороны, эпоха требует от нас чего-то большого. Я убеждена, что внуки нам будут завидовать. С другой стороны, я вижу ужасные будни. О чем мечтает такой Вадим? Получить заграничную командировку и закупить в Берлине разного тряпья. Гвоздева говорит: «Вот поеду в Кузнецк — там у итээров замечательная столовая — каждый день мясо». На занятиях девчата только о том и толкуют, что Женьке муж прислал из Москвы шелковое платье и т. п. Это отвратительно! Но по-моему, ты делаешь то же самое. Только ты культурней, тоньше и тебя занимают не галстуки и не столовка, а твои собственные переживания. Есть у нас люди, которые брезгают есть в столовке. Это легко понять — такая грязь, я и сама до сих пор не могу привыкнуть. Но вот ты брезгаешь не есть с другими, а жить. Это, Володя, страшно!

Ты скажешь, что я повторяю чужие слова, что меня завели, как патефон, и т. д. Но посуди сам — кто мог мне это внушить? Ребята сами не успевают все как следует продумать. Если я пришла к таким мыслям, то в этом повинна только жизнь. Да еще, может быть, ты. Смеешься? Возмущен? Бегаешь по комнате и бормочешь: «Ну-с, еще что?..» Милый, я тебя представила, и так захотелось хоть немного побыть с тобой! Ведь я тебя не видала четыре месяца, если не считать того раза, летом, возле библиотеки. Но погоди, я теперь говорю о другом. Это не шутка — в моем повороте отчасти повинен и ты. Ты, наверное, не подозреваешь, скольким я тебе обязана. Когда ты рассказывал, я чувствовала, как я расту. Ты мне куда больше, чем школа или книги. Ты научил меня ненавидеть все пошлое и низкое, как ты это сам ненавидишь. Тогда я и задумалась — откуда такая тоска?..

Ты ответишь, что люди всегда пошляки, что прекрасны только исключения и что «нельзя строить общества на подчинении меньшинства большинству». Так ты мне сказал в роще, когда мы говорили о стихах в «Красной нови». Тогда я ничего не сумела ответить — ты меня застал врасплох. Но теперь я знаю, что ты не прав. Людей можно переделать. Все то низкое, что творится вокруг, происходит от невежества одних, от трусости других. Гордина с утра до ночи полирует ногти — она убеждена, что это и есть культура. Лена объявила мне, что Маяковский «ерунда на постном масле». Бривцов хвастается, что он умеет «срывать зачетики», а сам «ни в ус». На пьянке у Чистяковых хотели изнасиловать Егорову. Причем Чистяков доказывал, что Егорова — дочь служителя культа и «не понимает пролетарской установки». Примеров можно привести тысячи. Но отчего это? Оттого, что низка социалистическая идея? Или оттого, что люди еще полны старой низости? Здесь не может быть двух ответов! Я хочу со всеми бороться и со всеми ошибаться, но только что-то делать, а не сидеть сложа руки!

Когда я тебе рассказала про Сеньку, ты начал издеваться. Потом я нашла у Пастернака, в той книге, которую ты мне подарил, замечательные стихи: «Так начинают года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий...» Помнишь? Почему ты понял это в книге, а когда это приключилось рядом с тобой, в городе Томске, ты счел нужным сказать с иронией: «Сень-ка по-эт?..»

Это первое письмо к тебе без клякс. Я пишу и не плачу. Прежде не могла: только подумая о тебе — как будто кран открыли. Теперь я нашла в жизни какую-то опору. Я не скажу тебе, что я счастлива, — зачем врать? Я очень страдаю, и я не могу отделаться от моего чувства. Но я увидела, что нельзя замкнуться в своем горе, — это смерть. Отсюда мое решение заняться общественной работой и пр. Но, конечно, я еще не стою крепко, то и дело шатаюсь. Надеюсь, что стану умней и выдержанней. Пока во мне все двоится. Я вот начала это письмо чуть ли не с барабана, а сейчас сбиваюсь на есенинскую гитару. Обещала вначале ничего не писать о любви, а возвращаюсь к тому же. Но что тут поделаешь? Это, как говорит наша уборщица Шура, «бабьи слезы». Может быть, для вас это легче. Я вот после того разговора в сенях целый месяц ходила как потерянная. Девчата спрашивают: «Ты что это все шепчешь?» Я не понимаю и смеюсь. Хочется плакать, но гордость мешает, говорю: «Смешно!»

Я тебе скажу откровенно, Володя, что меня мучает. Минутами я начинаю во всем сомневаться. Мне кажется, что в последний вечер ты передо мной ломался. Ты прости это грубое слово. Но как иначе определить? Когда я думаю, что, может быть, ты ко мне не так равнодушен, как сказал, я совсем теряю голову. Мне тогда хочется побежать к тебе и сказать: «Вот видишь — я все поняла!» Конечно, я не имею на это никакого права. Я знаю, что ты меня не любишь. Иначе, как бы ты мог встать и уйти? Потом — ни слова. Когда встретились возле библиотеки, притворился, что не узнаешь. Все это так. Но иногда мне кажется, что ты ко мне немного привязался. Ты ведь очень одинок! Как же я могу тебя оставить? Конечно, с моей стороны это сумасшествие, после того, как ты определенно заявил, что я тебе «ни к чему». Но я в данном случае не рассуждаю. Я говорю только то, что у меня на сердце. Если бы я могла угадать твои мысли!.. Я согласна на обиды, на издевку, на все, что угодно, только чтобы отогреть тебя. Да, Володя, с любовью это не так просто!..

Я перебираю в памяти все, о чем ты тогда говорил, и я никак не могу успокоиться. Вот ты рассказал о каком-то «списке» — что у тебя было много любвей. Я не знаю, правда ли это или ты нарочно придумал, чтобы меня обидеть. Но знаешь — мне это все равно. Я не отрицаю, что я способна на ревность. Это ужасное чувство, но оно еще крепко в нас сидит. Когда ты одно время часто встречался с

Варей, я у себя втихомолку плакала. И все же, какая это ерунда по сравнению с самой любовью! Потом, как я могу тебя ревновать к прошлому? Ты всего на два года старше меня, но когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка. Я знаю, что у тебя позади целая жизнь. Если ты любил других женщин, я не понимаю только одного. Ты мне сказал, что ты не умеешь смеяться. Неужели ни одна из этих женщин не смогла тебя утешить, обрадовать, развеселить? Здесь что-то не так! Может быть, ты их любил, а они тебя не любили. Или наоборот. Но только я убеждена, что настоящая любовь сильнее и твоей иронии, и даже самого мрачного характера.

Сильней любви разве что жизнь... Я тебе никогда не говорила про Юру Шестакова — это мой «список», как видишь, он недлинный. Когда мне было пятнадцать лет, я была влюблена в Юру. Мы вместе учились в семилетке. Когда мы оставались с ним вдвоем, мы или готовили уроки, или играли в такие игры, где надо ответить «кого любишь». Один раз на лестнице он меня поцеловал в губы и сам перепугался. Мы оба были детьми. Потом мы кончили школу и больше не встречались. Юра умер прошлой весной от тифа. Я случайно узнала. Прибежала на похороны. Мне казалось, что я потеряла самого близкого человека: у меня до тебя никого не было. Даже подруг. Потом я часто приходила на могилу Юры — там мне легче было о многом думать. Вот позавчера я шла с вокзала мимо кладбища и вдруг вспомнила, что с тех пор, как я с тобой познакомилась, я не была на могиле Юры. Я пошла на кладбище. У Юры вместо креста на могиле сердце — это его мать так захотела. Я увидела сердце, и мне стало не по себе. Я презирала любовь — это только красивое слово или вот сердечко из дерева. Но потом я подумала о том, что детство прошло, что надо учиться, жить, работать, — и тогда мне показалось, что я перед Юрой не виновата. Я даже подумала о тебе, и когда я наплакала, я сама не знала почему: оттого, что мне жаль Юру, или оттого, что я вспомнила, как ты мне сказал: «Человек теперь не может любить».

Володенька, ведь это неправда. Человек теперь может любить, и он может любить еще лучше, чем раньше. Конечно, не потому, что легко развестись, или потому, что девушки стали «сговорчивей», как у нас думают некоторые. Все это низость! Но жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет.

Трудно, очень трудно теперь любить! Наверное, куда трудней, чем раньше. Но зато и любовь эта выше.

Вот ты говорил: «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это вовсе не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они действительно только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сенька «рвется в тьму мелодий», так сейчас рвутся все — выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь. Я не знаю, сумела ли я это тебе высказать, но я это глубоко чувствую. Мне кажется, что, поворачиваясь к грубой работе, я не изменяю любви. Нет, я еще больше тебя люблю! Я так люблю тебя, мой бедный мальчик, так люблю, что сейчас я, кажется, готова...»

Это письмо не было ни дописано, ни отослано.

Они познакомились на докладе профессора Зарьялова: «Перспективы черной металлургии». Ирина слушала доклад внимательно, но ей трудно было сосредоточиться. Зарьялов иногда пробовал шутить, однако Ирина ни разу не улыбнулась. Ее лицо выдавало напряжение. Ей казалось, что профессор говорит о вещах загадочных и далеких.

Ирина полагала, что она обязана интересоваться всем. Она не пропускала ни лекции Горнштока о проблеме жизни на других планетах, ни очередного диспута о целесообразности изготовления бумаги из водорослей, ни доклада Белоусова о введении латинского алфавита в обиход ойратов. Она смутно надеялась, что эти старые и мудрые люди расскажут, как надо жить.

Она аккуратно читала газеты. Она читала и книги. Но эта напечатанная правда была для нее слишком общей. В ней не чувствовалось ни дрожи человеческого голоса, ни возможности снисхождения, ни понимания того, что люди отличны друг от друга и что жизнь это не прямое шоссе, но миллионы троп, которые идут через густую тайгу.

Правда, помимо книг у Ирины был живой учитель — Володя. Но она боялась его слов: Володя надо всем смеялся. Как-то он написал в ее тетради: «Ты меня спрашиваешь — как жить? Спроси лучше об этом Луначарского. Или гадалку. Что касается меня, то я постараюсь ответить тебе вполне серьезно: живи невсерьез! Лучше обкрадывать анонимного автора, нежели Безымсиского. Поэтому, если ты должна кому-нибудь подражать, я тебе советую подражать соловью, а не граммофону. Кто придумал соловья — ты не знаешь. Но граммофон придуман американцем Эдисоном и достаточно распространен, как в цивилизованных, так и в получивилизованных странах».

Ночью Ирина долго не могла уснуть: она думала о том, что Володя написал в тетрадке. Ей казалось, что она погружается в какую-то горячую темную жизнь. Странные, сбивчивые звуки — это и есть птичий язык, который непонятен человеку. В испуге она повторяла привычные ей слова: «Володя... уснуть... лекции... Лена...» Но это ее

не успокаивало. Тогда она встала, зажгла свет и недоверчиво взяла в руки тетрадь. Она увидела не слова, но почерк, ровный и все же напряженный. Только концы строк, неожиданно спадавшие вниз, выдавали волнение. Ирина не перечла написанного — она знала все наизусть. Она вытянула листок из тетради и немного замешкалась. Но потом она его разорвала. Так вечером она выносила из комнаты черемуху или жасмин, выносила с жалостью и с опаской, зная, что от цветов болит голова и что ночью человек беззащитен. Она легла успокоенная и быстро заснула. Это было давно — тогда Володя еще приходил к ней.

Профессор Зарьялов долго говорил о будущем Кузнецка. На юг от Тельбесса находятся еще малообследованные пространства. По данным разведки, там имеются огромные залежи руды. Возможно, что через несколько лет Кузнецк перестанет нуждаться в уральской руде. Дальше Зарьялов приступил к характеристике пород, и здесь-то Ирина, на минуту забывшись, потеряла нить его слов. Произошло это потому, что Зарьялов упомянул о «пустой породе». Ирина вздрогнула: об этом говорил и Володя в тот последний вечер!.. Она досадливо нахмурилась: ей показалось недостойным и унижительным во время серьезной лекции думать о своих мелких невзгодах.

Она снова внимательно слушала, но теперь она плохо понимала. «Четыре процента кремния представляют собой...» Ирина вдруг почувствовала, что она зевает. Она покраснела от смущения. Невольно она вспомнила о том, что сегодня она встала в шесть: надо было приготовиться к немецкому. Она, наверное, не выспалась.

Рядом с Ириной сидел Блюм. Он что-то писал. Ирина решила, что он записывает доклад, и поглядела. «Как будто я не вижу, как ты вешаешься на шею Левке!..» Тогда Ирине стало снова стыдно за свою слабость. Она тоже думала о Володе!.. Для кого же говорит Зарьялов?.. Растерянно она оглянулась. В заднем ряду она увидела лицо, которое ее поразило. Вернее было бы сказать, что поразили ее глаза, радостные и возбужденные, — лица разглядеть она не успела. Она тотчас же отвернулась и до конца доклада просидела не шелохнувшись, как пристыженная школьница.

Когда доклад кончился, она сразу узнала человека, глаза которого ее так поразили. Он теперь с жаром говорил соседу: «Вот и в Темир-Тау много руды...» У выхода слушатели долго толпились. Ирина

оказалась рядом с незнакомцем. На улице было темно и тепло: стояла пригожая сибирская осень. Под ногами уютно бормотали листья, а звезды были ясные, отдельные и сосредоточенные.

Он спросил Ирину: «Товарищ, как мне на Красноармейскую пройти?» Ирина ответила: «Направо. Да и мне туда же. Я вам покажу». Они разговорились. Он сказал, что он комсомолец. Работает в Кузнецке. Приехал сюда на десять дней — партийное совещание. Потом, вспомнив о докладе Зарьялова, он начал рассказывать, какие в Кузнецке замечательные домны.

Он говорил, захлебываясь от счастья. Все его волновало: и то, что профессор сулил Кузнецку великое будущее, и то, что рядом с ним идет милая девушка, которая внимательно его слушает, и то, что вокруг него большая строгая осень, звезды, голоса расходящихся по домам вузовцев, огоньки в окнах, теплый ветер, молодость. Больше всего его волновало новое чувство: он как будто попал в иную страну. Он не слышал скрежета воздухоудвки. Он не видел перед собой оранжевого зарева. Здесь не было ни кранов, ни землянок, ни напряжения. Люди здесь листали толстые книги, слушали в аудиториях лекции, бродили по роще и о чем-то подолгу спорили. В этом странном и чужом мире он чувствовал себя послом Кузнецка. Это происходило не от скромного мандата, который он сдал для прописки, но от сознания, что он — один из кузнецких строителей. Ему хотелось рассказать этим спокойным людям о кауперах и о бараках, но он был застенчив: начиная говорить, он тотчас же замолкал. Сегодня вечером ему выпало двойное счастье. Сначала перед притихшей аудиторией знаменитый профессор восторженно говорил о Кузнецке, о домнах, о чугуне. Потом, в темноте этой теплой ночи, он наконец-то нашел человека, способного его выслушать и понять.

Они дошли до Красноармейской. Ирина сказала: «Вы очень интересно рассказываете. Хотите, дойдем до того угла?» Они прошли и до того угла, и до следующего. Они ходили взад и вперед по пустой и тихой улице. Он говорил о жестоком холоде и воле людей: «пятьдесят мороза»... Хоть и тепла была ночь, Ирина ежилась: не то она чувствовала на лице холод железных листов, не то ее пугали слова о людях, которые умеют так бороться. «Наш бригадир влез на каупер. Все думали — сорвется. В такой-то холод! Шапка у него упала.

Значит, без шапки. Целый час он там пробыл. У него сначала голова закружилась. Удержался. И так, знаете, ему было весело наверху, так весело, что и не расскажешь...» Ирина остановилась. При мутном желтом свете, едва доходившем из окошка, она пыталась разглядеть глаза собеседника. Это были те же глаза, которые ее смутили во время доклада. В тревоге она спросила: «А это не вы были? То есть я хотела спросить — это не вы тот бригадир?..» Ему стало не по себе. Он сразу превратился в хвастунишку, который рассказывает девушке о своих подвигах. Он ответил сухо: «Ну, что вы! Это Андрюшка. Мой товарищ. Да я вам вовсе не о людях рассказывал. Я вам хотел объяснить про кауперы. А теперь, знаете, поздно. Пора и по домам!»

Попрощавшись, он вдруг вспомнил, что не спросил даже, кто она. Он усмехнулся: зачем ему это?.. Но все же он окликнул Ирину, которая еще стояла на крыльце. «Вот, товарищ, я и не знаю, как вас звать? Я не из любопытства. Но только я здесь еще останусь деньков шесть или семь. Может быть, и увидимся...» Ирина поспешно сказала: «Обязательно! Вы в котором часу освобождаетесь?.. Вот и приходите. Я вам Томск покажу. Особенно глядеть нечего, но все-таки интересно. Это номер восемь. Третий дом от угла. А зовут меня Ирина Коренева. Запомните?» Он широко улыбнулся: «Значит, до завтра! Я вам и не сказал, кто я, то есть имя. Ржанов. Колька».

На следующий день Ирина повела его по горбатым улицам Томска. Она говорила важно, как директор музея: «Здесь был дом декабриста. Я забыла имя. Он недавно сгорел. Вот поглядите, какой смешной мезонин! А здесь в пятом году помещалась большевистская типография. Доску хотели прибить. Мне вот нравятся такие старые домики. Как старушки. Сгорбились. Кажется, подуешь — и упадет. Я люблю вечером заглядывать в окна. Это, конечно, не очень-то похвально. Но трудно удержаться. Кажется, поглядишь — и сразу станет понятно, как живут люди. Только обыкновенно — тоска. Сидят, зевают, пьют чай или еще ссорятся. Иногда страшно от бедности. А иногда даже бедности не замечаешь, только скука. Какая-то бессмыслица!..» Колька усмехнулся. «Этого у нас на стройке нет. То есть бедности сколько угодно. Даже не понимаешь, как еще люди держатся. А скуки вы у нас не найдете. Чаю попить и то не успеваешь. А если уже выпадет свободная минута, это такое наслаждение!.. Вот как я здесь. Мне ваши говорят: «В Томске со скуки все мухи сдохли».

А мне весело. Я даже с вами согласен, что эти домики очень хорошие. Конечно, надо бы построить что-нибудь поновей. Но пока стоят — интересно и на них поглядеть. Это оттого, что для меня такая жизнь, как выходной день. Для меня Томск и не город, а сплошной университет. Вузовцы вчера жаловались: «Тесно, шумно». А по моему, тишина прямо как на лекции. И места много. А времени — сколько хочешь. Я здесь за три дня столько передумал, сколько в Кузнецке и за год не передумаешь. Но, правду сказать, — не сидится. Хочется туда. Вот я утром проснулся, и сразу — как это там ребята?.. Ведь у нас скоро должны вторую домну пустить...»

Он не вытерпел и снова начал говорить о своем любимом деле. С удивлением Ирина чувствовала, что рассказы Кольки ей кажутся увлекательными, что ей хочется самой поглядеть на эту необычайную жизнь. Она несколько раз бывала на спичечной фабрике возле Томска. Там все ей казалось понятным, даже приветливым: запах свежераспиленного дерева, большие печи, похожие на те, в которых пекут пироги, этикетки, пестрые, как переводные картинки. Батальоны спичек послушливо передвигались, потом они надевали шапочки. Проверяя спичку, мастер искоса глядел на крохотный огонек. Дерево было Ирине родным и близким. Но когда Володя ей рассказывал об уральских заводах, она сразу становилась грустной. Она чувствовала, как в ее глаза летит черная пыль, как уши заполняются грохотом, как жжет лицо ужасный огонь. Когда она была еще маленькой, соседка Иванова повела ее в церковь. Ирина увидела на стене огонь и чертей. Она расплакалась. Ей казалось, что плавильные заводы похожи на тот ад. Ее смущало и то, что она не могла себе представить вещей, ради которых столько страдают эти люди. Когда же она их представляла, они ее не радовали, но пугали. Это не были ни спички, ни ситец, ни чашки. Она видела то снаряды, то рельсы с их визгливым напоминанием о близкой разлуке, то листы толя, стальные кубы и жестокую неумолимую проволоку.

То, чего не могли сделать газеты, сделал Колька. Когда он упомянул о Магнитогорске, Ирина шутливо его перебила: «Да ваш Кузнецк это и есть магнит. Я уже чувствую, как меня тянет...»

Ирина по-прежнему думала о Володе, но встреча с Колькой укрепила в ней волю к жизни. Может быть, она и написала последнее письмо Володе только потому, что почувствовала в себе новую силу.

Из-за Кольки она написала это письмо. Из-за Кольки она его и не отправила. Она не хотела жить прошлым. Она начала готовиться к переезду: она решила стать преподавательницей в кузнецком ФЗУ. Володя оставался «любимым» — засыпая, Ирина все еще говорила с его тенью. Но он не был больше учителем. Она теперь сомневалась и спорила. Шепот был нежен, но она не уступала.

Она каждый день встречалась с Колькой. Они уже говорили друг другу «ты». Ее удивляла его сила. О чем бы он ни говорил, в его словах всегда была уверенность. Он не прикидывался всезнайкой. Он охотно признавал, что он не прав. Но даже когда он говорил «этого я не знаю» или «ну и сел в лужу» — в его голосе слышалось веселье. Все ему было интересно, и все он воспринимал не так, как Ирина. Она ему пересказала некоторые истории, которые она услышала от Володи. Ей казалось, что эти рассказы грустны и безвыходны. Но Колька, слушая, усмехался: «Здорово!..» Тогда она вдруг начинала сомневаться: Да полно, правда ли, что все это так мрачно?..

Володя как-то сказал Ирине, что его преследует биография одного немецкого композитора. Ирина забыла имя. Этот композитор написал замечательную симфонию. Он был беден и продал симфонию какому-то бездарному дилетанту. Когда симфонию исполняли впервые, зал безумствовал: люди плакали от счастья. Они вызывали автора. Дилетант застенчиво улыбался. Старик поцеловал его руку. Женщины кидали ему цветы. Он вышел из зала с красивой девушкой. А в темном зале все еще плакал бедный композитор. Служители думали, что он плачет, умиленный гармонией. Но он плакал оттого, что он увидел, до чего жестока жизнь. Ирина сказала Кольке: «Правда — настоящая, трагедия?» Но Колька пожал плечами: «Конечно, свинство, что надули. А трагедии я здесь не вижу. Трагедия была бы, если бы тот негодяй изорвал ноты. А ведь композитор своего добился: он хотел что-то рассказать людям, и он рассказал. По-моему, это главное. А кому руку поцеловали — это ерунда. Это вопрос самолюбия. Возьми Кузнецкий завод. Разве дело в том, кто составил проект? Важно, что завод по этому проекту построили. Ты, Ирина, все усложняешь!..»

Ирина была озадачена. Ответ Кольки ей казался и чересчур детским, и в то же время чересчур умным. «Ты все как-то странно берешь. Я не могу тебя понять: ты фанатик или ты, правда, по-

другому видишь?.. Вот мне интересно, что ты на это скажешь. Мне один знакомый сказал, что лучше подражать неизвестному автору, чем Безыменскому. Или, говоря иначе, лучше подражать соловью, чем машине». Колька рассмеялся. «Почему тебе приспичило подражать? Машина — это машина. Это для дела. А соловью пусть соловьи подражают. Есть такие охотники: они даже привозят голосистого. Вроде как соловьиный вуз. Кому же человеку подражать, как не человеку? Вот ты сказала — Безыменский. Конечно, живи теперь Пушкин, он не стал бы подражать Безыменскому. А наоборот, по моему, не мешало бы...»

Он немного помолчал, а потом, улыбаясь, уже совсем по-другому сказал: «Я соловьев люблю. Знаешь, когда гусачком или дешевой дудкой... У них все колена замечательные. Я и вообще птиц люблю. Какой-нибудь щеглячий напев — что это за прелесть!..» Он долго рассказывал о птицах, столь же восторженно и подробно, как о домнах. Ирина сбоку поглядывала на него и смеялась. Ей казалось, что вокруг нее раскричались все эти соловьи, щеглята и малиновки.

В детстве Ирина была веселой, но Володя отучил ее смеяться. С Володей она боялась и пошутить, и признаться, что она ночью всплакнула над книжкой, и похвалить какую-нибудь новую подругу. Володя молча выслушивал, а потом начинал говорить. Выходило, что ничего нет смешного, что книжки дрянь, а Таня или Лиза — «образцовые дуры».

Ирина пошла с Колькой в кино. Показывали какую-то глупую картину: ударники в новеньких рубашонках строили завод, совсем так, как играют в мяч — «раз-два». Они пели хором и, не прерывая песни, «утирали нос» очкастому американцу. Колька насупился: «Халтурщики! Ведь они и не нюхали, чем пахнет стройка...» Но когда показали поле со скирдами, он вздохнул: «Красота!» Ирина подумала: «А ведь и правда красиво... Володе не понравилось бы... Володя сказал бы: „Мармелад для советских барышень, чтобы не скучали о настоящем мармеладе...“» Она поймала себя на ужасной мысли: она радовалась, что рядом с ней не Володя, но этот простой и веселый человек. Она готова была встать и уйти. Она ненавидела себя. Она не глядела больше на экран. Она была благодарна темноте, которая покрывала ее позор. Когда вспыхнул наконец свет, она поспешно отвернулась от Кольки.

Они вышли молча. Колька не улыбался. Его светлые глаза были несколько темнее обычного. Он тоже досадовал на себя: почему он не радуется? Ведь завтра он едет в Кузнецк. Там его ждет настоящее дело. Почему же грустно ему расставаться с этим никчемным, тихим городом?.. Он не сразу ответил себе. Он не сразу догадался, что дело не в отдыхе, не в лекциях, не в золотых печальных садах. Когда же он дошел до правды, он откровенно перепугался. Он был один в непроходимой тайге, и он не знал, куда идти, что делать. В его голове толпились тысячи слов, нежных и оскорбительных. Но он не знал, уместны ли здесь слова. Да и как говорить? Хорошо поэтам — они вроде щеплов. Но каково обыкновенному человеку?.. Уж очень это нескладно: будто говорил о деле — какие кауперы или еще что, и вдруг, ни с того ни с сего, — любовь. Колька подумал: как же другие?.. Он вспомнил Андрюшку с крепкой веснушчатой девушкой. Они сидели возле барака. Андрюшка говорил: «Ты того...» Она в ответ смешно фыркала. Потом Андрюшка сказал Кольке: «Теперь-то хорошо — на травке можно. А зимой я намучился...» Кто же научит Кольку? Как это Ирина говорила: соловей? машина?.. Интересно — со «стариком» это бывает? Ну, не теперь, прежде — ведь наверно бывало. Но «старик» говорит глазами — у него такие глаза, лучше всяких слов. А у Кольки глаза большие и глупые — они ничего не могут рассказать. Да Ирина и не хочет на него смотреть — идет рядом, а как будто она далеко, далеко...

Колька наконец придумал нечто очень сложное и важное. Он хотел сразу высказать все: и свое смятение, и радость, и то, как они будут вместе работать на стройке, и еще, что у Ирины очень смешные губы, когда она дуется, — совсем как у ребенка. Но вместо длинного признания, густо покраснев, он едва-едва вымолвил: «Вот я и уезжаю. Ты что же, приедешь в Кузнецк?»

Ирина снова почувствовала, что этот человек имеет над ней непонятную власть. Она обрадовалась вопросу. В мыслях она уже завязывала старенький мамин чемодан, бежала, запыхавшись, на вокзал, протискивалась в темный вагон, чтобы лечь на верхнюю полку и, сжавшись вся, ждать, когда же покажутся огни этой сказочной стройки... Ирина удивилась — вот он, магнит!.. Потом она рассердилась, как тогда в кино. До чего она ветрена! Любовь в жизни одна. Как она могла забыть о Володе? Нет, Колька — это минутное

увлечение. Она любит Володю. Кузнецк для нее не радость, не чувства, не Колька, но работа. Вот как она писала в письме: «грубая работа»... Она ответила Кольке сухо, почти неприязненно: «Приеду. Работать». Она сделала ударение на последнем слове, чтобы Колька не принял ее готовности за измену тому, другому. Но Колька и не знал о другом. Он не вникал в оттенок слов. Он был полон своим внезапным смущением. Он шел молча, большой и непривычно слабый. Никогда его ноги еще не касались земли с таким печальным недоверием. Казалось, он плывет. Его щеки горели. Кружилась голова. Он был как в жару.

Кругом была осень, яркая и лихорадочная. В пестроте раскраски, в особой прозрачности воздуха, в птичьей суматохе, во всем была тоскливая приподнятость разлуки. Казалось, не только люди, но и тополя в рощице понимали, какое им предстоит испытание. Неумолимость зимы, ее хруст и скрип, ее ночная тишина, ее отчаянные метелицы — все это придавало последним теплым дням особую грусть, способную растрогать даже седого деда, который торговал на площади кедровыми орешками. Он время от времени поглядывал на небо и что-то бормотал в желтую бороду. Девка купила орешков, погрызла, поплевала и вдруг крикнула усатому своему кавалеру: «Вот возьму и кинусь в воду! Тогда будешь смеяться!..» Крикнула и снова взялась за орешки.

Ирина и Колька по-прежнему шли молча. Они с трудом прокладывали путь среди густой, как сон, тишины. Наконец Колька не выдержал. Он стыдливо дотронулся до рукава Ирины: «Ирина, ты что это загрустила?» Может быть, он смутно надеялся, что Ирина ответит: «А ты?» Тогда окажется, что у них одна тоска и одна жизнь. Но Ирина сказала: «Вздор! Я тебе об этом ни разу не говорила. Но если ты спрашиваешь, я скажу. Лучше без недомолвок. Видишь ли, у меня большая беда. Я полюбила одного парня. Только он особенный. Я сейчас сказала «парень», как обо всех, и самой смешно. Конечно, с виду он как другие. Вузовец. Но только он не парень. Он и не человек. Иногда мне кажется, что он черт. А иногда мне его жалко, как маленького мальчика. Впрочем, дело не в этом. Когда любишь, не выбираешь. Я, вероятно, была бы с ним счастлива. Хоть он очень страшный — не с лица, душой. Только он мне сказал, что он меня совсем не любит. Понимаешь — вот никак. Сказал и ушел. Может

быть, он другую любит. А может, никого, — он такой, что я поверю — ни-ко-го! Вот я и осталась. Ты, пожалуйста, не подумай, что я скулю. Я умею с этим бороться. Я тебе сказала, что приеду в Кузнецк, и это правда. Но только когда я о нем думаю, мне так больно, что и жить неохота».

Колька ждал всего, кроме этого. Он впервые понял, что значит «не судьба». Здесь никто не мог ему помочь: ни книги, ни люди. Он сразу похолодел и сжался. Его глаза стали темными. Даже со щек слезла краска. Он не походил на себя. Только где-то внутри еще барахтались нежные слова. Там, далеко, под всей видимостью разумного человека, Колька еще просил, жаловался и негодовал. Так внутри чугунной болванки, застывшей на холоду, еще краснеет разгоряченное сердце.

Ирина, высказав все, почувствовала облегчение. Она теперь не боялась измены. Она не стыдилась, что идет рядом с Колькой. Она даже поглядела ему в глаза — они стояли возле ее дома. Она увидела, что глаза Кольки переменились. Он где-то далеко, как будто они уже расстались. Робко она спросила: «Что с тобой, Коля?..» Тогда Колька очень просто ответил: «Со мной? Не знаю. Наверно, то же самое. Понимаешь? А теперь до свиданья. Встретимся на стройке».

В старой книге сказано, что всему свое время: время кидать камни, и время их собирать. У революции было мало времени и много сил. Она все делала разом. Гудели экскаваторы среди степи, и печальная трава покрывала площади бывших губернских городов. В селе Криводанове из шестисот домов сто двадцать пустовали. У них были выколотые глаза и на боках раны. Это были хорошие, крепкие дома, но хозяева их бросили, и дома гнили, как трупы. Одних хозяев раскулачили, другие ушли на стройку. Криводаново умирало. В десяти километрах от села находился совхоз. Там с утра до ночи люди строили: они строили свинарни и крольчатники, амбары и бараки. Там было шумно и тесно. Люди жили в землянках, и они говорили о перевыполнении плана.

Люди научились кидать камни и убегать от камней. Каждый спасал то, что ему было дорого. Бывшая томская мещанка Баранова спасала свою жизнь. Когда в Томск пришли белые, она натерла маслом иконы. Когда город взяли красные, она сняла иконы и начала всем рассказывать, как ее покойного мужа в пятом году избил казак. Когда объявили принудительные работы, она достала у доктора свидетельство с большой печатью. Когда по ее карточке перестали выдавать хлеб и подсолнечное масло, она уговаривала племянника Мишу вступить в партию: «Ты, Мишенька, за меня похлопочешь!..» В годы нэпа она пекла пирожки с мясом и продавала их на базаре. Когда Широкова посадили, она прокляла торговлю и поступила на службу. Она была курьершей в санитарном отделе. Она ползала по полу с тряпкой и думала, где бы ей раздобыть сахар. Она сносила все в свою нору, как зверь перед зимой: старые газеты, соль, веревки и яблоки. В сундуке у нее были запасы монпансье и спичек. Она боялась, что завтра ничего не будет, и она отстаивала свою жизнь. Потом ее решили сократить. Она тихонько помолилась перед иконой троеручицы и пошла в комиссию. Она заявила, что Маслов говорит за царя и крадет мыло. Она не чувствовала к Маслову никакой злобы, но она хотела жить. Она продержалась на службе еще год. Потом ее все же сократили. Она ходила к Розенфельдам мыть полы. Там ей давали

крупы и масло. Когда открыли торгсин, она понесла туда колечко. Она принесла из торгсина муку. Она положила муку в сундук и облегченно вздохнула. Она ела мало, но она спала на сундуке и, просыпаясь ночью, с радостью думала, что муки хватит до осени и что она отстояла свою жизнь.

Розенфельд оказался в Томске случайно: он ехал в Нарым. Он вовремя заболел не то воспалением легких, не то острой неврастенией. Он вцепился в Томск, и он остался. Он говорил, что его преследует «злой рок». В бумаге значилось куда суше, что Розенфельд выслан из Москвы за злостную спекуляцию. У Розенфельда были свои вкусы. Он не хотел ни чистить улицы от снега, ни жить на скромное жалованье, ни строить Кузнецкий гигант. Он торговал с ранних лет, и он хотел торговать. Он был ловок и недогадлив. Он понимал, как надуть фининспектора, но он не мог понять, что на дворе революция. Встречая человека с портфелем, он пугливо озирался, но жил он бурно и бесстрашно. Он торговал всем: государственным имуществом и улыбками дочери, партбилетом сына и заграничным коверкотом. Он сидел в Чека четыре раза. Каждый раз он прощался с жизнью и плакал навзрыд. Но никогда он не забывал о главном: он спасал добро свое и своей семьи. Его сын поместил в газете объявление: «Настоящим заявляю, что с 1926 года порвал всякие отношения с моим отцом, Наумом Розенфельдом». Он прочел объявление и усмехнулся. Он не обиделся на сына. Он сказал рыжему Кану: «Я должен работать, чтобы мои дети вышли в люди». Его дочка вышла замуж за партийного. Она отказалась взять у отца сорок червонцев и браслет. Розенфельд на минуту призадумался. Но потом он сказал жене: «Рая взбесилась! Но ты увидишь — она придет ко мне через месяц. Или через год. Я должен работать, чтобы ты и наши дети жили хорошо».

Он жил в Томске убого, но полный надежд. Он продавал касторку, электрические лампочки и мармелад. Он купил у Барановой золотую брошку, он отнес брошку в торгсин, в торгсине он купил сахар, сахар он продал на базаре, и на вырученные деньги он купил у Шелгунова портсигар с золотой монограммой. Ложась спать, он стонал от десяти болезней и, однако, он улыбался: у него были припрятаны восемь английских фунтов, два бриллианта и ящик со столовым серебром.

Партизан Чашкин спасал революцию. Он спасал ее с винтовкой и с ржавым пером. Он гонял по Алтаю белых. Он поджег вокзал. Он расстрелял охранника. Он командовал отрядом — у него было сорок отчаянных ребят. Когда красные победили, он начал писать бумаги. Он устраивал субботники. Он учил тунгусов новой жизни. Он ездил по деревням и уговаривал крестьян сдавать хлеб. Он шел впереди красного обоза, состоявшего из семи телег, запряженных клячами, как он шел некогда во главе отряда, который брал города. Он сидел и думал о том, как бы улучшить жизнь. Он увидел на заводе железные обрезки, и он придумал, как из этих обрезков делать вилки. Он написал об этом статью в газете «Красное знамя». Когда его жена купила у Розенфельда стеганое одеяло, он угрюмо сказал: «Если ты будешь способствовать спекуляции, я не посмотрю, что жена...» Он кричал на своего сына: «Ты должен быть сознательным пионером, а ты, что же, — перышки вымениваешь?..» У него было хорошее место и квартира из трех комнат. Он бросил все и уехал в Кузнецк. Он чувствовал, что там идут бои, и он хотел вместе с другими идти на приступ. Он знал в жизни одно: он спасал революцию.

Наталья Петровна Горбачева не спасала ни свою жизнь, ни добро, ни революцию. Она спасала книги. Она была одинока, немолода и некрасива. Никто не знал даже, как ее зовут — говорили «библиотекарша». Глядя на нее, люди думали, что она похожа на книжного жучка и что в ее голове только номера каталога. Они не знали Натальи Петровны. На самом деле ее жизнь была шумной и полной героизма.

В начале революции она ошеломила город. На заседании Совета обсуждался вопрос, как отстоять город от белых. Чашкин, надрываясь, ревел: «Товарищи, мы должны умереть, но спасти революцию!» Тогда на эстраду вскарабкалась маленькая, щуплая женщина в вязаном платке и закричала: «Сейчас же уведите этих солдат! Они сидят внизу и курят. Каждую минуту может начаться пожар!..» Председатель сурово прервал ее: «Товарищ, вы говорите не к порядку дня». Но женщина не унималась. Она подняла руки вверх и закричала: «Разве вы не знаете, что в нашей библиотеке десятки инкунабул!» И хотя никто не знал, что такое эти «инкунабулы», люди, обмотанные пулеметными лентами, смягчились: они вывели из библиотеки красноармейцев.

Не одну ночь Наталья Петровна провела на боевом посту. Ей казалось, что она может отстоять книги и от людей, и от огня. Она молила бородатых крестьян: «Это народное добро! Это такое богатство!» Она кричала на щеголеватых офицеров: «Вы не смеете так говорить! Это не казармы! Это строгановская библиотека!» Она старалась понять, как нужно разговаривать с этими несхожими людьми. Они стреляли друг в друга. Они хотели победы. Она хотела спасти книги.

Город зябнул и голодал. Наталья Петровна получала восьмушку мокрого хлеба и спала в большой, насквозь промерзшей комнате. Весь день она просиживала в нетопленной библиотеке. Она сидела одна — людям в те годы было не до книг. Она сидела закутанная в какое-то пестрое тряпье. Из тряпья торчал сухой острый нос. Глаза тревожно посвечивали. Изредка заходил в библиотеку какой-нибудь чужак. Увидев Наталью Петровну, он шарахался прочь: она походила не на человека, но на сову.

Как-то Наталья Петровна повстречалась с профессором Чудневым. Профессор стал жаловаться на голод и холод. Он жаловался также на грубость жизни: «Это ли Томск?.. Вы только вспомните: художественное училище, четыре музыкальных школы, концерты, выставки. Вместо этого — цирк, дурацкие афиши и невежество. Иногда я завидую тем, которые уехали. Конечно, на чужбине трудно. Но они спасли себя. Они все-таки живут среди культурных людей. А здесь... Вот вы, Наталья Петровна...» Наталья Петровна его прервала: «Что же, я очень счастлива! У меня интересная работа. Я вас не понимаю, Василий Георгиевич! Значит, по-вашему, я должна была все бросить и уехать в Париж? А что стало бы с библиотекой?»

Она раскрывала старые книги и подолгу любовалась фронтисписами. Музы показывали дивные свитки, и они играли на лютнях. Титаны поддерживали земной шар. Богиню мудрости сопровождала сова. Могла ли Наталья Петровна догадаться, что она похожа на эту грустную птицу? Она рассматривала гравюры: сон в летнюю ночь или подвиг Орлеанской девы. Иногда ее волновало начертание букв. Она прижимала к груди книжку и повторяла, как замороженная: «Эльзевир!» Когда она брала с полки первое издание стихов Баратынского, ей казалось, что это не книга, но письмо от

близкого человека. Баратынский ее утешал. Потом ее веселил лукавый Вольтер. Рядом с ней были газеты французской революции. Они чинно стояли на полках в красивых сафьяновых переплетах. Она заглядывала в эти газеты, и газеты кричали: «Нет хлеба! Нет топлива! Мы окружены врагами! Мы должны спасти революцию!» Она слышала голоса людей. Это говорил Чашкин. Он уже жил когда-то. Тусклые пожелтевшие листки помогали ей понять ту, вторую жизнь, которая шумела вокруг здания библиотеки. Когда же, измученная, она готова была пасть духом, она раскрывала «Лоджи» Рафаэля, и она замирала в темной холодной библиотеке перед той красотой, которую не вмещали ни громкие годы, ни маленькое человеческое сердце.

С тех пор прошло немало времени, и библиотека наполнилась гулом. Сотни вузовцев поспешно листали книги: они хотели узнать все. Наталья Петровна могла бы радоваться: самое трудное было позади. Она отстояла библиотеку. Чашкин полушутя-полусерьез сказал: «Вы, товарищ Горбачева, молодчина! Вам нужно выдать орден Красного Знамени». Наталья Петровна смущенно покраснела: «Глупости! Но я хочу вас попросить об одном: достаньте дрова. Библиотеку то топят, то не топят. Я привыкла, но книги от этого очень портятся».

Она по-прежнему не знала покоя. Внизу, под библиотекой устроили кинематограф. Как некогда, призрак пожара преследовал Наталью Петровну. Она боялась, что книги погибнут от сырости. Она боялась также, что приедут люди из Москвы и увезут самые ценные книги. С недоверием она поглядывала на новых читателей: они слишком небрежно перелистывали страницы. Она подходила к ним и жалобно шептала: «Товарищи, пожалуйста, осторожней!» Она страдала оттого, что никто из этих людей не чувствовал к книгам той любви, которая переполняла ее сердце. Они брали книги жадно, как хлеб, и у них не было времени на любованье.

Иногда Наталья Петровна спрашивала себя: неужто никто не может разделить ее чувства? Среди людей, которые сидели над раскрытыми книгами, она искала одного, как она, влюбленного в эту рябь букв, в этот шелест листов, в пыль и в блеклое золото. Она проверяла глаза, движения рук, улыбки и почерк. Требовательные записки ее волновали, как письма. Она знала теперь читателей так же

хорошо, как и книги. Она знала, что читает каждый из них, что он оставляет, не дочитав, и что перечитывает.

Когда она наконец нашла того, которого так долго искала, она не сразу ему поверила. В течение нескольких месяцев она за ним неотступно следила. Она заметила, как его взволновал Сенека. Она заметила также, что, читая Свифта, он нервно усмехался. Она знала все, что он брал в библиотеке. В списке значилось: «Чаадаев, святой Августин, Розанов, Дидерот, Кальдерон, Тютчев, Жерар де Нерваль, Хомяков, Гейне, Ницше, Паскаль, Соловьев, Анненский, Бодлер, письма португальской монахини, Пруст, история Византии, Джемс, апокрифы, дневники Талейрана, словарь Даля, д'Оревилли, Декамерон, Библия».

Как-то он взял «Похвалу глупости». Наталья Петровна видела, что он делал пометки на листочке. Он при этом морщился, как будто книга причиняла ему боль. Уходя, он забыл листок в книге. Наталья Петровна долго колебалась: вправе ли она посмотреть?.. Может быть, это что-нибудь личное? Но соблазн был велик, и она достала записку. На листочке стояла выписка из Эразма: «Мудрая природа окутала младенцев покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, награждает их за труды, доставляет малюткам любовь и опеку». Тогда Наталья Петровна поняла, что этот человек мог страдать от книг, как другие страдают от неудачи или от обиды. На требовательной записке значилось: «Владимир Сафонов», и Наталья Петровна несколько раз повторила это имя.

Она теперь встречала его улыбкой. Она находила, что его глаза свидетельствуют о высоком уме и о глубине чувствований. Он казался ей одним из тех титанов, которые на старых фронтисписах поддерживали мир. Ее не смущали ни его тщедушность, ни очки. Очки ей даже нравились. Она делила все вещи на свои и враждебные. Враждебными были: винтовки, камин, мяч, снег, коньки, телеги и огонь. Своими были: стол, лампа, тетрадки и очки. Ей было сорок шесть лет, но, думая о Сафонове, она краснела, как школьница.

Она решила заговорить с ним, заговорить сразу о самом главном: не о себе, не о нем, но о книгах. Она улучила минуту, когда Володя остался один: библиотеку закрывали. Он еще сидел, сгорбившись над Платином. Наталья Петровна бесшумно подошла к нему и, задыхаясь

от волнения, сказала: «Я заметила, что вы не как другие. Вы любите книги, и вы...»

Володя вздрогнул от неожиданности. Никогда прежде он не замечал лица библиотекарши. Она показалась ему большой уродливой буквой. Ее голос походил на шорох листов. В библиотеке никого не было, и на минуту Володе стало страшно. Он стоял молча. Молчала и Наталья Петровна. Она хотела сразу спросить его обо всем: почему его смутил Свифт, что означает выписка из Эразма, какие переплеты он больше любит, видал ли он ранние издания Шекспира... Но она ни о чем его не спрашивала. Она только еще раз сказала: «Вы ведь любите книги?» Тогда Володя усмехнулся — вот так он усмехался, читая Свифта. «Вы думаете, что я люблю книги? Я вам скажу откровенно: я их ненавижу! Это как водка. Я не могу теперь жить без книг. Во мне нет ни одного живого места. Я весь отравлен. Что же вы мне прикажете делать после Плотина? Строить домны? Гулять с «деваками»? Я спился. Вы понимаете, что значит спиться? Только алкоголиков лечат. А от этого нет лекарств. Бессмыслица, но факт. Будь это в моих силах, я поджег бы вашу библиотеку. Вот принес бы керосина, а потом — спичкой. Ах, как это хорошо было бы! Представьте себе...» Он не закончил фразы: он поглядел на Наталью Петровну и сразу замолк. Она дрожала, как в лихорадке. Володя спросил: «Что с вами?» Она не ответила. «Вам воды надо... Пожалуйста, успокойтесь!..» Наталья Петровна молчала. Тогда Володя крикнул: «Эй, товарищ! Вы бы воды дали!..» Служитель Фомин принес кружку, полную доверху. Он бормотал: «Довели! Паек-то у нее — кот наплакал. Граммы! Поглядеть страшно: кожа да кости». Наталья Петровна, опомнившись, сказала: «Уберите воду — вы можете замочить книги». Потом она строго поглядела на Сафонова: «Уйдите! Вы хуже всех. Вы варвар. Вы поджигатель». Володя неловко помял кепку в руке и вышел.

Для Натальи Петровны настали мучительные дни. Она приходила в библиотеку, просматривала списки, тревожно проверяла градусник и возмущалась кинематографом. Но все это она делала по привычке. В ее душе было смутно и беспокойно. Кажется, ничего не изменилось. По-прежнему вузовцы читали книги. На третий день она увидела Сафонова. Он снова сидел над Плотиним. Проходя мимо нее, он отвернулся. Но Наталье Петровне он был теперь безразличен. Она

думала не о нем. Она думала о книгах: впервые она усомнилась в их правоте.

Студенты занимаются: они готовятся к зачетам. Но кому нужны те, другие книги, тени Гамлета и Дон-Жуана, летописи и рифмы, ворохи слов, то нежных, то жестоких? Эти книги утешали Наталью Петровну в голодные годы. Но, может быть, она больна, как тот сумасшедший в очках? Может быть, ей нужны эти книги только потому, что у нее нет ни дома, ни семьи, ни живой теплой работы? Она в страхе проводила рукой по лбу, как будто желая понять, что происходит в ее голове. Она больше не раскрывала любимых книг. Она готова была погибнуть, и Фомин, глядя на нее, уныло сморкался. Он бормотал что-то о «бесчувственных людях».

Наталья Петровна вечером проверяла шкафы. К ней подошла крепкая девушка с крутыми скулами и с деревенским румянцем. Наталья Петровна уныло подумала: химия или медицина? Они сдают зачеты. Что им Шекспир или Лермонтов? Девушка, смущенно переминаясь, сказала: «Товарищ заведующая, можно мне с вами поговорить наедине?» Наталья Петровна удивленно пожала плечами: должно быть, снова кто-нибудь крадет книги... Она ответила: «Хорошо. Только обождите, пока закроют».

Когда они остались вдвоем, Наталья Петровна присела на табурет и, глядя в сторону, спросила: «Ну, в чем дело?»

«Вы меня простите, что я вас занимаю такими глупостями. Но мне не с кем посоветоваться. Мне вот придется вам рассказать целую историю. Только вы мне скажите — вы, может быть, торопитесь?» Наталья Петровна никуда не торопилась. Дома ее ждали холодная постель и чай без сахара. Но она была в размолвке с книгами и с людьми. Она хотела ответить: конечно, тороплюсь. Но она посмотрела на девушку. Она увидела доверчивые глаза и рот, чуть приоткрытый от смущения, и ответила: «Можете говорить. У меня времени много». Она забыла сказать посетительнице, чтобы та села. Девушка говорила стоя, она волновалась и теребила полу пальто. «Я, знаете, из Чернышевки. Отец сначала вошел в колхоз. Потом поссорился и вышел. Ну, а хлеба все равно не было, старшей сестры муж работал на стройке, в Кузнецке. Он написал: «Пусть Валя приезжает сюда. Здесь хоть сыта будет». Я и поехала. Меня поместили уборщицей в бараки. Потом пришел Грольман и заметил, что чисто. Он спросил меня: «Как

тебя звать?» Я сказала. А на следующее утро меня вызвали и сказали, что я буду теперь в служебном вагоне, как проводник. Я сначала очень обрадовалась: в вагоне чисто. Да и работа легкая. Но до меня там работала Шаболова. Она вышла из вагона на станции размять ноги, а здесь-то все стянули. Одежда, даже тарелки. Мне сказали: «Ты смотри не отлучайся». Так я и оказалась вроде как в тюрьме. Даже когда в Кузнецке стояли, я не выходила. Разве что попрошу кого-нибудь покараулить и сбегаю к сестре. Вот в этом вагоне я и начала читать. Я прежде только что грамоту знала. А которые ездили, они оставляли в вагоне разные книжки. Романы я не любила: роман прочитаешь, и все уж известно — неохота перечитывать. А книг было мало. Я каждую с жалостью дочитывала. Но там один инженер забыл книжку. Я сначала ничего не понимала. Раз сорок я ее прочитала, и наконец поняла. Это «Диспетчерское руководство движением поездов». Для втузовцев. Один товарищ ехал из Томска. Я ему показала. Он рассмеялся: «Да ты ничего в этом не понимаешь! Это по специальности». Но я ему по чертежам все показала: рычаги, лампочки, пусковую кнопку. Он очень удивился и сказал, что мне надо готовиться в транспортную школу. Написал на листочке, какие книги читать. Я некоторые достала в Новосибирске. Начала зубрить математику. За лето очень много успела. Грольман ко мне очень хорошо отнесся. Сказал: «Мы тебя выдвинем для начала в рабфак».

Я здесь уже два месяца. Столько узнала, что самой страшно! Я даже не думала раньше, что можно столько знать. А я ведь еще ничего не знаю, если меня сравнить с профессором или с вами. Я все время занимаюсь. Но только нет у меня полной удовлетворенности. Я, конечно, понимаю, что на первом мосте должна быть специальная подготовка. Но вот и товарищи говорят, что нельзя быть узким специалистом. Мне хочется понять очень многое до самой глубины. Я знаю, есть книги, которые не по программе, но они очень развивают. Я вот читала сочинения Пушкина, и они мне очень помогли. Только я сама не знаю, что мне читать в свободное время. Вот я и решила вас спросить, как заведующую. Очень много здесь книг! Сама я никогда не разберусь. Вы мне, товарищ, помогите!»

Наталья Петровна вскочила и обняла девушку. Хотя она была куда ниже ростом, ей казалось, что она обнимает свою дочь. Не раз ее спрашивали: «Что мне читать?» В этих вопросах она чувствовала

любопытство, скуку или корысть. Люди брали книги, чтобы подготовиться к зачетам или чтобы развлечься. Но эта девушка хотела от книг правды и глубины. Наталья Петровна платала слезы. Наконец-то она увидела, что не зря она трудилась, что стоило охранять эти книги от огня и от людей. Пришла девушка из какой-то Чернышевки, и она поняла, зачем здесь собраны все эти старые темные книги.

Нескладно всхлипывая, Наталья Петровна говорила: «Книги — большая вещь! Он это зря сказал, их нельзя сжечь, их надо хранить. Вы, товарищ... Как вас зовут? Валя? Вы, Валя, идете к настоящей правде. Я вам сейчас покажу замечательные книги. Пойдемте туда, наверх!»

Она повела девушку на верхний этаж. Там хранились самые ценные книги, и Наталья Петровна никогда не пускала туда посетителей. Она сразу хотела показать Вале все: и Баратынского, и французскую революцию, и Минерву с совой. Она говорила: «Вот возьмите эту большую. Вы сильнее меня. Я не могу поднять — я очень ослабла. Хлеба мало. Но это пустяки. Я ни на что не жалуюсь. Наоборот, я так счастлива! Вот эту... Дайте сюда, скорей! Это — «Лоджи» Рафаэля. Посмотрите — какая красота, какая красота!..»

В Кузнецк часто наезжали иностранные посетители. Они глядели на домны и на землянки. Они снимали раскосых шорцев. Они спрашивали: «Где здесь ударники?» Потом, удовлетворенные, они садились в спальный вагон. Они ехали дальше: в Шанхай или в Москву. К чудесам, достойным обозрения, к снегам Монблана и к египетским пирамидам бюро путешествий приписали еще одно: советскую стройку.

Томск лежал в стороне, и редко кто из чужестранцев добирался до Томска. В Москве имелись кремлевские соборы и Мавзолей Ленина, в Свердловске — небоскребы, а также подвал ипатовского дома, в Новосибирске — соцгород и «нахаловки». В Томске ничего не было: ни древних церквей, ни образцовых яслей, ни бараков. Это был город без достопримечательностей.

Случалось, однако, судьба заносила и в Томск непоседливых чудаков. Они приезжали с большим путеводителем и с мясными консервами. Они глядели на томичан, и томичане глядели на них. Понять друг друга они не могли — здесь были бессильны словари и переводчики.

В Томск приехал профессор Иенского университета Плихтер. Он изучал камланье шаманов. Он брал у шорцев и ойратов деревянных божков или бубны. В обмен он давал немецкое мыло. Он подружился с профессором Черницким. Они беседовали о костюмах тунгусов и о гончарном искусстве монголов. Черницкий сказал Плихтеру: «Тунгусы — франты. У нас говорят: „тунгусы — Сибири французы“». Плихтер долго хохотал; он стал весь лиловый от смеха, и, смеясь, он приговаривал: «Вот так французы!»

Накануне отъезда Плихтер пришел к Черницкому. Они пили чай, и Черницкий угостил гостя коржиками с черемухой. Плихтер пил чай вприкуску: он успел ознакомиться с бытом Томска. Черницкий вдруг сказал: «Ну и жилет у вас — прелесть! В таком не замерзнешь». Тогда Плихтер расчувствовался: «Разрешите, я вам его оставляю?» Черницкий поспешно ответил: «Что вы! У меня такой же. Я не ношу только потому, что очень жарко в нем». Плихтер с грустью оглядел

Черницкого: он был плохо одет, на локтях блестели неуклюжие заплаты, а коржики он ел бережно и углубленно, как ребенок ест конфету. Плихтер сказал: «Вы работаете в ужасных условиях», Черницкий промолчал. «За границей вы могли бы куда больше сделать, даже в вашей области». Черницкий снял очки и удивленно заморгал: «Конечно, здесь не жизнь, а черт знает что. Но ведь это мелочь. Зато какие у нас возможности! Я вот привык к моим тунгусам. Сначала они меня побаивались, а теперь я у них вроде как свой. Мне удалось кое-что сделать для борьбы с суеверьями. У них, знаете, насчет гигиены — беда! Женщина рождает — ужас берет. Мы здесь как-то поневоле распыляемся. Вот сказал: «поневоле» — и глупо. По самой что ни на есть воле. Так что вы меня не жалеете. Я замечательно живу. Дайте я вам налью еще стаканчик. Только, позвольте, я сахар положу, а то вы не привыкли...»

Когда профессор Плихтер читал в Иене доклад о верованиях сибирских народов, он вдруг вспомнил Черницкого. Он сказал невпопад: «И вообще, я должен отметить, что все население Советской России, включая даже передовые умы, охвачено мистицизмом, который абсолютно непонятен для европейского сознания».

У Давида Гольдфильда был в Нью-Йорке меховой магазин. Он объезжал Сибирь, прельщенный советской пушниной. Его сопровождал сотрудник «Интеграла». Гольдфильд был родом из Белой Церкви. Он с удовольствием ел селедку и объяснялся, не прибегая к помощи переводчика. Он говорил вместо «билет» — «тикет», а секретаря горсовета называл «мистером Хоршковым». Он любил слушать русские песни. Он подошел в парке к Петьке Рожкову и сказал: «Если вы споете про ухаля, я подарю вам доллар». Петька едва сдержался, чтобы не прыснуть. «Я пою, как намазаное колесо. Вы лучше пойдите в «Коммерческую столовую» — это рядом с цирком. Там за этот доллар не только что споют, но кубарем завертятся». Гольдфильд обиженно поморщился: «Я не люблю, когда вертятся. Я люблю, когда красиво поют».

Он побывал в музее. Увидев картину Венецианова, он громко вздохнул от восхищения и спросил: «Сколько — в валюте?» Над ним тихонько посмеивались, но сотрудник «Интеграла», памятуя о долларах, говорил: «Мистер Гольдфильд известен как тонкий

ценитель искусства». Мало-помалу Гольдфильд и сам начинал верить, что он в душе не скорняк, но художник. Он купил в торгсине две иконы и, коверкая непривычные слова, хвастал: «Это уникамы! Одно покрывало девы и одна Параскевья!»

Он ходил в «Коммерческую столовую» и слушал цыганские романсы. Там он встретил Фадея Ильича. Это был сибиряк с большой бородой и с хитрыми глазенками. Фадей Ильич налил водку в чайные стаканы. Гольдфильд замер, но все же попробовал улыбнуться. Он даже сказал: «Ваше здоровье». Тогда Фадей Ильич, лукаво прищурясь, ответил: «А чо нам болеть?» Гольдфильд в тоске подумал, что Россия страшная страна.

Его утешила Шура Карцева. Она сидела в «Коммерческой столовой» за кассой. Она сказала Гольдфильду: «Здесь теперь не люди, а животные. Все только и думают, что о хлебе. У вас, Давид Исаевич, музыкальная душа!» Он готов был прослезиться от умиления. Он дал Шуре два доллара. Шура побежала в торгсин за мукой, а Гольдфильд, вспомнив о выдрах и песчаниках, отбыл в Новосибирск.

Немка Эллен Штейн изучала постановку в Союзе ритмической гимнастики. В Омске она выступила с докладом о необходимости гармоничного развития тела. Она презирала традиции, брак и семью. Она искала нового человека.

В Томске она первым делом пошла к Постникову. С жаром она говорила: «Вы не гнилые европейцы, вы мудры, как звери. Товарищ Постников, я чувствую, что вы — новый человек! У вас суровый взгляд, и вы ходите как медведь. Вы должны меня научить не только постановке воспитания, но настоящему чувству!» Толмачом был бывший преподаватель гимназии Перепелкин. Он привык переводить доклады о блюмсах или о солодке для спичек. Однако он не смутился. Он перевел слова Эллен. Постников поглядел исподлобья на немку и сказал: «Переведите ей, что я женат. У меня трое детей. У меня нет времени для такой ерунды. Я занят. При чем тут звери?.. Она может посмотреть ФЗУ и Дом матери». Он не выдержал и отвернулся: у этой женщины глаза были нетерпеливые и ласковые. Никогда в жизни Постников не видал таких ярко-красных губ. Он закричал: «Знаете что, уберите ее отсюда! Мне вот надо разместить четыре тысячи вузовцев. Голова идет кругом. А тут еще эта баба!..»

Эллен попробовала завести знакомство с вузовцами. Она подозвала Ваську Смолина. Васька спросил: «У вас в Германии какие автомобили — Форда или свои?» Эллен раздраженно ответила: «Я ненавижу машины! Они убивают чувство. Мне куда милее ваши лошадки». Тогда Васька не стал с ней разговаривать. Она пожаловалась Перепелкину: «У вас очень грубая жизнь». Тот ответил: «Да». Эллен подумала и шепнула: «Приходите вечером ко мне». Перепелкин сначала обрадовался. Потом он пошел домой. Он поглядел на рваную рубашку — другой у него не было. Подойдя к зеркалу, чтобы побриться, он увидел большую уродливую плешь. Он уныло подумал: «Волосы лезут, и все потому, что мало жиров...» Он зевнул и не стал бриться. Он был приписан к плохому распределителю и ненавидел жизнь. Он не пошел на свидание.

Эллен Штейн уехала в Красноярск, так и не разыскав нового человека.

Трудно сказать, почему приехал в Томск Джексон. Это был сухопарый, печальный англичанин. Войдя в номер гостиницы, он спокойно оглядел его: так он оглядывал океан или джунгли. Он увидел колченогую кровать и пузатую купеческую конторку. Над конторкой висел плакат: «Плевать воспрещается». Джексон спросил: «Клопы есть?» Дежурная загадочно вздохнула: «Не жаловались». Тогда Джексон отослал переводчика и начал читать книгу, длинную и утомительную. Всю ночь он боролся с героями какого-то романа, а также с насекомыми. Наутро переводчик предложил ему осмотреть тюрьму, превращенную в редакцию газеты, спичечную фабрику и цирк. Но Джексон ответил, что все это его никак не интересует. Он мрачно шагал по дощатым тротуарам, и тротуары в страхе подпрыгивали. При виде его широчайших штанов вузовцы весело прыскали. Но он не обращал на них внимания.

Он пробыл в Томске четыре дня. Потом он попросил счет. Он взял потрепанный чемодан, весь покрытый наклейками, и направился к выходу. Его остановили, потребовав пропуск. Увидав, как уборщица проверяет, не вынес ли он чего-нибудь из номера, он впервые улыбнулся. На вокзале переводчик спросил его: «Простите нескромность, но почему вы сюда приехали?» Джексон помолчал, а потом ответил: «Я всегда делаю не то, что надо».

Иностранец, с которым столкнулся Володя Сафонов, не был случайным ротозеем. Он твердо знал, зачем он приехал в Томск. Это был журналист Пьер Самен. В Сибирь его послала большая парижская газета. Он не хотел ехать: с детских лет при слове «Сибирь» он ежился,— ему казалось, что в Сибири холодно даже летом. Но газета платила хорошо, а Самен недавно купил новый автомобиль и залез в долги. Он поворчал и согласился.

Он любил жену, маленький пляж близ Бордо, весь поросший соснами, марсельские анекдоты и вечера в скромном ресторанчике «У Венсена», где после бутылки хорошего бургундского полушутя-полувсерьез он доказывал осолопевшим приятелям, что кто-кто, а он-то знает жизнь. Он говорил: «Погодите! Автомобиль Форда можно сделать и в Париже — раз-два. А вот посадите-ка в Америке бургундскую лозу. Получится не вино, ни бурда». Потом он говорил: «Кстати, со вчерашнего дня собакам разрешается ездить в трамваях. Это — сто сорок лет спустя после Великой революции. Спрашивается, стоило ли делать для этого революцию?..» Хотя приятели давно знали все сентенции Пьера, они все же, стряхивая дрему, смеялись, — Пьер был «славный малый».

Самен считал, что человечество заслуживает презрения. Он говорил: «Смерть от заворота кишок, после хорошего обеда, куда достойней смерти на баррикадах. К счастью, с баррикадами дело кончено: у полиции теперь пулеметы и газы. Кто говорит о спасении человечества? Жулики. Или идиоты. Жуликов легко подкупить. А идиотов следует посадить в «Общество покровительства животным». Или сослать на необитаемый остров. Тогда сразу кончится весь коммунизм». Левая газета его отправила в Италию. Он возмутился страданиями рабочих и написал: «В стране, которая родила Дантона, нет места для Муссолини!» Потом он перекочевал в другую газету. Ему поручили доказать, что большевики куда страшнее кризиса. Он был толковым журналистом, и он знал заранее все, что напишет.

Он успел побывать в Новосибирске и в Кузнецке. Он видел повсюду то, что и хотел увидеть: невежество, гнет, нищету. В Томск он приехал, чтобы написать статью о советской школе. Он искал студента, с которым мог бы поговорить без переводчика. Ему указали Володю Сафопова.

Они разговаривали в саду перед университетом. Самен прежде всего спросил: «Может быть, вам неудобно говорить со мной? Вы мне скажите откровенно. В Свердловске одна дама рассказала мне много интересного: про хищения и как коммунисты кутят. Но если бы вы видели, до чего она боялась!.. Мне пришлось потрянуть стариной — когда-то я встречался «конспиративно» с одной замужней женщиной, конечно, при других обстоятельствах... Если у вас имеются сомнения, мы можем отложить наш разговор...» Володя поморщился: «Глупости! Мы ко всему привыкли. А мне интересно с вами поговорить».

Самен закидал Володю вопросами: «Сколько раз в месяц ваши товарищи едят мясо? Как обстоит дело с квартирами? Наверно, студенты развратничают? Потом, я хотел спросить вас о школе — как поставлено преподавание общеобразовательных наук, например, древней истории? Допустимо ли объективное изложение идеалистической философии? Но ведь студенты должны страдать от такого деспотизма!..»

Володя отвечал кратко, как бы нехотя: «Мясо я ел в последний раз месяца два тому назад. Суп, каша. Сплю в общежитии. Нас шестнадцать человек. Страшная скученность. Разврата никакого: все ясно и просто. Древней истории вовсе не преподают. Все освещается с точки зрения диамата. Вы не понимаете? Это диалектический материализм. Вузовцы, по-моему, отнюдь не страдают. Что касается меня, то я не типичен. Я — островитянин. Товарищи, те всегда веселы. Вероятно, от этого я и страдаю».

Эти ответы были столь скудны и неинтересны, что Самен еще раз спросил: «Может быть, вы мне не доверяете?» — «Я уже сказал вам, что я не боюсь. Я вам ответил, как мог. Но, по-моему, вы не о том спрашиваете. Если вы хотите говорить о вузовцах, надо забыть о древней истории. А если вас интересую я, то при чем тут мясо или жилплощадь? Мои лишения — несколько в иной области. Я так рад, что я вас встретил! Я знаю Францию только по книгам. Вы для меня — человек «оттуда». Вы не сердитесь, что я вас задержу с расспросами...»

Володя спрашивал горячо и сбивчиво. Он не подготовился к этой беседе. Боясь забыть о главном, он прерывал себя. Он иногда замолкал, выжидая, что скажет его собеседник. Но тот слушал молча.

И Володя снова начинал говорить: «Я вот читал о «беспокойстве». Это, кажется, основная тема ваших молодых писателей. Что их тревожит? Механизация жизни? Окостенение? Гибель культуры? Я не могу уловить чего-то главного. Мне кажется, что я слышу тревожные сигналы, но я так и не знаю, в чем дело — пожар, наводнение, обвалы?.. Хотя бы сюрреалисты... С одной стороны — культ сна, утверждение некоторой сверхреальности. В философском плане это чистейший идеализм. С другой стороны, они тяготеют к коммунизму. Может быть, это в виде протеста?.. Я не знаю, понимают ли они, что такое коммунизм?.. На земле. Скажем, в Томском университете. Наши ребята — и фрейдизм! Это нелепость! Отсюда я никак не могу в этом разобраться. Я хотел достать новые сборники стихов. Но здесь опять — непонятное: у меня создалось впечатление, что во Франции больше не пишут стихов. Это так? Почему?.. Какова же роль Валери?.. В особенности интересно, каково его влияние на молодежь? Если бы я мог перенестись туда на один час! Вы, наверное, знаете что-нибудь о философских кружках среди студенчества. Какие течения сейчас доминируют?..»

Самен был раздосадован: ему казалось, что этот студентик хочет щегольнуть перед иностранцем случайными и поверхностными знаниями. Он сердито ответил: «Вы видите не Францию, но карикатуру. «Беспокойство»! Это все болтовня! Это выдумали несколько снобов. А сюрреалисты — мальчишки. Притом добрая половина из них иностранцы. При чем тут французская культура? Конечно, Валери знаменитый поэт. Его вот в Академию выбрали. Но если на то пошло, я вам скажу откровенно: я его никогда не читал. Да и не собираюсь читать. Его никто не читает. Это такая скучища! Похуже Пруста. Бросьте эту канитель! Наши студенты, право же, куда разумней. Учатся так учатся. Диплом так диплом. Но зато они умеют и повеселиться. Когда я здесь, в вашем Томске вспоминаю Буль-Миш, тоска берет. Буль-Миш — это улица. Латинский квартал. Там кафе, и все сплошь студенты. Ну и девочки. Посмотрели бы вы на «мономы» — это они устраивают шествия и поют...»

Володя встал. Не глядя на Самена, он проговорил: «Петь и у нас умеют. Спасибо за информацию. От меня, я думаю, вы все уже узнали. Если хотите еще спросить, пожалуйста... Мясо чрезвычайно редко. Вы так и хотели? Значит, все в порядке. О Гомере слышали только

редкие идиоты. Их зовут «изгоями», но я затрудняюсь перевести — это архаизм. Что касается идеализма и прочего, я вам расскажу смешную историю. Вам, наверно, понравится. К тому же — лестно для национального самолюбия. Здесь в позапрошлом году несколько вузовцев устроили кружок. Назвали «Ша Нуар» — в честь парижского кабаре. Читали вслух стихи. Про красоту. Как вы сказали, «скучища» — вроде Валери. Ну, их и вызвали для внушения. Теперь нам еще сильнее захочется на веселый Буль-Миш. Что же, счастливой дороги!» Он вежливо откланялся.

Он шел, как всегда угрюмый и отчужденный. Он не мог понять, почему разговор с французом настолько смутил его. Вероятно, где-то в глубине его сознания жила робкая надежда, что он не одинок, что далеко отсюда, на другом конце света, у него имеются неведомые друзья. Он часто пытался представить себе этих далеких единомышленников. Он видел усмешку и пытливый взгляд. Он знал, что жизнь и там лишена пафоса. Он равно презирал и Форда, и неокатолицизм, и демократию. Но отчаянье того, другого мира ему казалось настолько глубоким, что оно переходило в надежду. Как любитель у радио, он ловил звуки. Над миром стояла тишина. Ее прерывали только вскрики отчаявшихся и мяукание саксофона. Прислушиваясь к этой тишине, Володя верил, что она может сгуститься в новое слово.

Он понимал, что журналист, с которым его свела судьба, пошел и ничтожен. Но все же эта встреча его обескуражила. Он увидел, до чего мал тот мир, в котором еще живут и дышат его воображаемые друзья. Он шел и думал о спертости. Сам того не замечая, он что-то напевал. Он поймал себя на этом — он пел дурацкую песенку: «Смотрите здесь, смотрите там...»

Тогда он собрался с мыслями. Он забыл о французе. Его голова была занята другим. Он чувствовал, что не может дольше молчать. После разрыва с Ириной он не произнес ни одного живого слова. Молчание настолько пугало его, что порой он начинал разговаривать сам с собой, косясь, нет ли кого-нибудь поблизости, — ему казалось, что он сходит с ума.

Неделю тому назад он увидел в столовке объявление о собрании вузовцев, посвященном «культурному строительству». Предстояло еще одно, десятое или сотое собрание с бесхитростным докладом и с

путаными прениями, похожими то на зазубренный школьный урок, то на горячую, сбивчивую исповедь. Теперь он решил пойти туда и выступить с речью. Это решение пришло внезапно. Однако он верил, что оно медленно в нем вызревало, что его дневник был только подготовкой к этому неизбежному объяснению, что уже в Челябинске, под грохот машин, он впервые репетировал речь, которая должна была походить на выстрел.

Когда он чувствовал, что наконец-то заговорит, он облегченно улыбнулся. Он понимал, до чего жалок и унизителен сарказм его дневников. Не будучи трусом, он был обречен на осторожное юродство, на проплоченные угрозы, на эти насмешки под замком, на двойное существование. Как все, он слушал лекции, читал книги, обедал в столовке, пытался шутить с товарищами. Он был обыкновенным вузовцем. О другой жизни знали только тетрадки в сундуке. С завистью он глядел на своих товарищей: они мало говорили, но они что-то делали. Как бы ни были повторны и заимствованны их поступки, они могли осуждать, радоваться, надеяться. Они готовились к живому делу: сложные теоремы или загадочные термины включались в план строительства. Усваивание истины становилось процессом, родственным коксированию угля или плавке чугуна.

Володя был обречен на бездействие. Все, что он делал — от работы на заводе до математических формул, — было только отдачей чужой жизни. С неприязнью он оглядывал свое прошлое. Он видел все превосходство отрочества: тогда тормоза еще не работали. Он начал хорошо — только дураки могут смеяться над Дон-Кихотом. Не все ли равно, что Миша или Васька Башкирцев не заслуживали таких страстей? Ветряные мельницы — те же враги. Они ничтожней людей, но их еще трудней уничтожить. Они встают на пути и требуют поединка. Они похожи на историю.

Он только и делал, что уклонялся от боя. Он боялся встретиться с жизнью глаз на глаз. Он лгал и в ответах на анкеты, и в разговорах с товарищами. Он уступил Ирину какому-то Сеньке. Даже Ирине он лгал: он играл в благородство, как будто он не человек, а герой романа. С кем он осмелился быть откровенным? Да только с этой несчастной библиотечаршей. Он почему-то ее обидел. Она ни в чем не виновата... Она только буква. А книги?.. Книги — ничьи.

Они хотят из книг построить заводы. Это плохой кирпич, тонны бумаги. При соприкосновении с некоторыми чувствами они превращаются во взрывчатые вещества. Он, однако, не поднес спички. Он шел к гибели, не пытаясь уничтожить хотя бы частицу враждебного ему мира. Он выше окружающих. Почему же свое превосходство он превратил в проказу? Почему даже Ирину — после того вечера, после черемухи и губ, после сеней, — почему и ее он не отстоял, не схватил, не отнял? Он вздумал спасти ее от заразы. Это самый трусливый поступок во всей его жизни. Петька Рожков или Шварц вправе его презирать. Он выбрал трезвость. Он даже написал в дневнике: «К чему донкихотствовать?» Следовательно, он записался в двурушники. Он — один из многих. Другие двурушничают ради куска мяса, ради новых ботинок, ради карьеры. А он? Ради приличья? Ради законов истории? Или, может быть, ради подражания литературным предшественникам? Не для того ли он осудил Дон-Кихота, чтобы повторить Печорина? Как Печорин, он болен тем бессильным отчаяньем, которое прикрито любезной улыбкой.

Эта суровая оценка и продиктовала решение: он скажет все. Он заранее вдохновлялся враждебными криками. Он был счастлив, что наконец-то окажется один против всех. Они увидят, кто он. Они заревут в злобе. Может быть, они кинутся, чтобы стащить его с эстрады... Продлевая удовольствие, он заглядывал дальше: его вычистят из университета. Могут и посадить. Мысль о расплате его приподымала. Он даже изменился с лица: стал живей и моложе. Исчезла болезненная вялость. Он глядел на мир если не с задором, то с той незнакомой ему отвагой, которая внезапно сказывалась в беглой усмешке, в блеске раздраженных глаз, в румянце, набегавшем на щеки при одной мысли о предстоящем. Впервые он думал об Ирине без приниженности. Он не давал себе отчета в том, что ее образ, память о неловких и горьких объятьях, что вся эта история неудавшейся любви придавала ему силы для бессмысленного и в то же время необходимого выступления.

Он вытащил дневник и попробовал набросать черновик речи: «Вас, наверно, удивят мои слова. Вы привыкли к молчанию. Одни молчат потому, что вы их запугали, другие потому, что вы их купили. Простые истины теперь требуют самоотверженности. Как во времена Галилея, их можно произносить только на костре. Вы хотите

обсуждать вопрос о культуре. Но вряд ли кто-нибудь из вас понимает, что такое культура. Для одних культура это — сморкаться в носовой платок. Для других это — покупать книжки «Академии», которых они все равно не понимают, да и не могут понять. Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов и поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Но это еще не основа культуры. Вы можете построить тысячу домен, и все же вы не преодолеете вашего невежества. Муравьиная куча — образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Ничего в ней не изменилось. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, и они работают. Они носят пруттики, кладут яйца, едят друг друга, и они счастливы. Они много честнее вас: они не говорят о культуре».

Володя остановился и перечел написанное. Он подумал: все это литература! Надо говорить проще, прямей. Он решил не писать черновика, но довериться чувству. Его голова была наполнена едкими сравнениями. Он скажет все, как сложится. Это будет куда сильнее приготовленной заранее речи. С отвращением посмотрел он на исписанные листочки: они напомнили ему о годах молчания.

Он сказал Петьке Рожкову: «Я сегодня приду на собрание». Петька радостно улыбнулся: «Вот это хорошо! А то у нас мало кто может работать на культфронте. Васька правильно говорит, что надо налечь на искусство. А из ребят никто не знает, с чего начать».

Когда Володя вошел в аудиторию, он увидел лампу и много лиц. У него закружилась голова. Он понял: сейчас это должно произойти!.. Он машинально прошел к трибуне и записался в список ораторов. Он не помнил сейчас ни об Ирине, ни о муравьях, ни о разговоре с французом. Только когда председатель назвал одного из докладчиков: «Товарищ Валерьянов», в голове Володи встало: Валери — «скучища», Буль-Миш... Он тотчас же отогнал от себя эти мысли. Он хотел сосредоточиться и наметить хотя бы начало своей речи. Тогда он почувствовал, что в голове у него пусто. Он растерянно хватался за обрывки несвязных фраз. Как перевести «изгой» по-французски?..

Конечно, все это не случайность, но исторические законы... А стихов у них все-таки не пишут... Может быть, Ирина здесь — она ведь ходит на собрания... Как странно — стоят и слушают... О чем они говорят?..

Володя попробовал прислушаться к речам. Говорил Васька Смолин. «Некоторые товарищи высказывались против оперы. Я вот знаю, в Новосибирске целый диспут высказался против «Майской ночи»: будто там показывают обнаженные тела, и это классовый враг. Но я видел здесь две оперы: «Евгений Онегин» и «Кармен». Это большие вещи. Это, что называется, отражает всю эпоху, и потом это так приподымает, что с двойной энергией садишься за работу. Мы не должны отказываться от такого мощного орудья, и поскольку здесь идет речь о создании музыкальных кружков, я в первую очередь предлагаю...» Володя отвернулся. Он больше не мог слушать. Почему-то он вспомнил противный фильм и фокстрот. Он растерянно усмехнулся: тоже отражает эпоху! Как все это непонятно!.. Нет, Ирина, видно, не пришла... А это кто? Уж не ее ли Сенька?..

Он внимательно оглядел нового оратора. Это был деревенский паренек. Он с жаром говорил о поэзии: «Я вот сначала Маяковского сам не понимал. Как начну читать — будто язык ломается. Это оттого, что у него необыкновенные размеры. Теперь я вижу, что это настоящая поэзия. Я вот и Пастернака понял. Трудно было — кажется, голова разломится. Неожиданно он переходит, скажем, с чего-нибудь отвлеченного на посуду или на стулья. Но только это так захватывает, что я каждому скажу: надо это понять, надо!..»

Володя снова задумался. Он вспомнил стихи Пастернака: «И никого не трогало, что чудо жизни с час...» Эти слова его увели куда-то далеко. Он с болью подумал: хоть бы Ирина пришла!.. Он всполошился: с час. Всего только с час! Кому же нужно другое: споры, муравьи, подвиг? Все это пыль. А жизни, под ней нет. С Ириной — кончено. Ирина с таким. Или с его товарищем. Как все глупо сложилось! Он не подумал раньше... Прозевал. А может быть, так и надо: оттенять счастье других. Вот этот — он счастлив? Почему нельзя подойти и прямо спросить: «Ты вот читал о чуде? У тебя есть? Настоящее? Задыхаешься? Плачешь? Сходишь с ума?» Да нет, у них это — самообразование, и только. Все-таки странно, что такой читает

Пастернака. Вот бы выпустить его на Буль-Миш... Смешно! Все в мире перепуталось: Пастернак, муравьи, Валери, Володя...

Он снова заставил себя прислушаться к речам. Он увидел девушку. Она очень стеснялась и прятала большие красные руки. Она говорила: «Библиотекарша мне показала некоторые иллюстрации. Это помогает многое понять. Например, трагедии Шекспира — огромный мир! Я как будто увидела живых людей и все их страсти...»

Володя подумал: «Кажется, я записан после девушки... О чем же я буду говорить? Начну так: „Чтобы вырастить плодовые деревья, нужны века. Их скрещивают, прививают дичкам новые ветки, оскопляют, оплодотворяют. Тогда...“» Он не закончил фразы: председатель сказал: «Слово принадлежит товарищу Сафонову».

Когда Володя поднялся на трибуну, он сразу понял, что не знает, о чем ему говорить. Это не был страх перед толпой: он ощущал теперь спокойствие огромное и приятное. Ему казалось, что он под водой. Но у него не было ни мыслей, ни слов. В одно мгновение он пережил все события дня: разговор с журналистом, улыбку Петьки Рожкова, тетрадку с муравьями, речи говоривших перед ним вузовцев — Кармен, Пастернака, остроносую библиотекаршу. Он начал, как и предполагал: «Плодовые деревья выращиваются веками...» Он запнулся. Ему показалось, что в глубине зала стоит француз. Он досадливо поморщился: наблюдает! Он отвернулся. Тогда он увидел Петьку. Петька, приоткрыв рот, внимательно слушал: он ждал, что скажет Сафонов.

Володя заговорил. Ему самому казалось, что это говорит не он. С удивлением он прислушивался к своему голосу. Голос был взволнованным и полным чувства, но для Володи он был чужим. Он говорил, не останавливаясь, как будто он заранее знал все, что он скажет. Он больше не видел раздражавших его глаз. Смутно проплыла в дыму восторженная улыбка Петьки. Потом все слилось в одно: это был желтый масляный свет. Он зажмурился, но продолжал говорить.

«Деревья долго выращивают. Потом они дряхлеют и гибнут. У дичков богатая кровь. Им прививают черенки. Впрочем, все это дело садоводов. Я хотел сказать о другом. Я сегодня говорил с одним французом. Это журналист. Он мне рассказал, что во Франции студенты не читают стихов. Они хотят развлекаться. Они учатся ради диплома. Они много знают, но они ничего не могут. Есть во Франции

поэт Валери. Его трудно понять. Он иногда темен, как Пастернак. Это настоящий поэт. Француз сказал мне, что Валери никто не читает, потому что это «скучища». Валери где-то написал: «Чтобы действовать, надо многого не знать». Я прежде тоже так думал. Я думал, что вы можете строить заводы потому, что вы не знаете Данте. Это звучит как парадокс. Но это не так глупо. Однако я думаю, что Валери не прав. Он живет без воздуха. Можно знать и действовать. Есть знание, которое обрекает на бездействие, — я его хорошо знаю: это мертвое знание. Чтобы построить завод, надо что-то знать: это точное, ограниченное знание. То, к чему вы стремитесь, это живая вода. Я скажу прямо: вы очень мало знаете. Но вы уже знаете куда больше, чем эти французские студенты с их дипломами и Буль-Мишем. Я не сравниваю программ. Я говорю о подходе к знанию. Они знают то-то и то-то. Для них важно занять место в готовой жизни, а вы хотите эту жизнь создать. Поэтому вам важно знание как таковое. Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорей всего, обречен. Я хочу быть со всеми. Я стараюсь хорошо работать. Но надо мной висит какое-то проклятье. Только не подумайте, что я говорю со стороны. Я действительно пойду со всеми на этот приступ. Но мое знание не нужно. У профессоров вы учитесь. У Шекспира, у Пастернака. Это и есть те черенки, которые прививают. А я просто ветка. Ее можно отрезать. Листья на ней есть, поэтому и кажется, что я молод. Но плодов не будет. Впрочем, и это вздор! Надо уметь быть смелым. Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово: «мы». «Мы» это означает — против них. Мы должны победить. Мы должны взять у них самое ценное, и не как боевые трофеи, но как нашу жизнь, нашу силу, нашу кровь. Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост. Поглядите, что там я сегодня увидел. Музеи и несколько одиноких чудаков. Это смерть. А жизнь? Жизнь здесь...»

Когда Володя кончил, к нему подбежал Петька Рожков. Он схватил руку Володи и закричал в ухо: «Это ты, брат, замечательно!» Потом подошел Смолин и сказал: «Это ты хорошо сказал. Такая самокритика поможет и нам, и тебе. Это большое дело — суметь

перестроиться. А теперь я хочу тебя спросить о другом: может, ты войдешь в наш литкружок? Надо помочь ребятам разобраться...» Володя ничего не ответил. Перед ним по-прежнему был густой желтый туман. Он пошел к выходу.

У двери кто-то остановил его. Он вздрогнул, почувствовав на своей руке чью-то руку. Он не узнал этой руки. Он узнал голос. Ирина тихо сказала: «Володя, я так рада за тебя...» Тогда он поглядел на нее и как будто проснулся. Слова Ирины его оскорбили. За ними ему почудились хлопки какого-то Сеньки. Он, вероятно, ревновал. Впервые за долгое время он увидел Ирину, и он сразу понял, что ничего не изменилось. Губы оставались губами. Он был бессилен перед этим клубком теплых путаных чувств.

Он мучительно морщился. Все происшедшее казалось ему тяжелым и постыдным сном. Он говорил, как Петька. Потом Петька жал руку. Смолин сказал: «Самокритика». Наверное, они думают, что он хочет примазаться. Ему предложили войти в литкружок. Конечно, что же ему теперь остается? Как он кричал: «мы, мы»! Кто это «мы»? Пастернаки? Шекспиры? Сафоновы? Муравьи? Он ни слова не сказал о муравьях. Он сам залез в кучу.

Он раздраженно ответил Ирине: «Почему ты, собственно говоря, радуешься? Может быть, ты думаешь, что я стал Сенькой? Просто двурушничаяю. Как все. У меня две жизни: думаю одно, а говорю другое. Я тебе никогда не говорил, что я герой. Ты даже можешь сказать, что я трус. Я не обижусь. Только, пожалуйста, не спутай меня с твоим Сенькой!..»

Ирина вся похолодела. Ей показалось, что Володя говорит это, только чтобы ее обидеть. Она слышала его речь, и она знала, что перед всеми он говорил искренне. Она в тоске подумала: «До чего он меня ненавидит!» Она попробовала улыбнуться, но улыбка вышла виноватая. «Прощай, Володя! Я послезавтра уезжаю в Кузнецк». Он вдруг приостановился, внимательно на нее посмотрел и шепнул: «Хоть бы там ты была счастлива!» Он сказал это с такой болью, что сам изумился. Ирина крикнула: «Володя, погоди!..» Но он уже бежал прочь от нее.

Придя к себе, он нашел спокойствие. Он как-то окаменел. Он больше не испытывал ни ревности, ни подъема, ни сожаления. Он раскрыл книгу, как будто ничего и не произошло. Он ответил Петьке,

что в кружок войти не сможет, так как очень занят. Может быть, потом...

Поздно ночью он вынул тетрадку. Он нетерпеливо улыбался: так пьяница нюхает водку. Он перечел еще раз черновик предполагаемой речи и написал под ним: «То, что не было сказано». Потом он начал писать.

«Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие. Я наблюдал этот феномен и прежде. Например, в литературе.

Я говорил так на собрании не потому, что я трус, но потому, что я калека. Трусость еще можно преодолеть, но нельзя приделать половинку души, которая отмерла. Видимо, я быстро приближаюсь к развязке. Что же сказать в дополнение? То, что Ирина уезжает в Кузнецк? Этого одного достаточно для развязки. Но я обещал себе не писать больше о любви. Что касается возможного эпилога, то револьвер — не перо, и за револьвер не бывает стыдно».

Школа встретила Ирину неласково. Когда она пришла на первый урок, ребята закричали: «Теперь не родной язык, а школьное собрание!» Она не хотела показаться придирчивой. Она села на заднюю скамью. Какой-то рыжий мальчуган произнес речь: «Во-первых, мы должны поставить вопрос насчет пищи. Почему это мне дают суп, а там червяк? Потом, уборщицы швыряются тарелками, как будто мы собаки. А насчет уроков я тоже выражаю протест. У нас увеличили на три часа математику, а от этого происходит переутомление. В прошлом году пятая группа вовсе не проходила немецкий, а нас заставляют. Кому это нужно? Два умывальника, такая очередь, что нельзя помыться. Мыла не дают, а Марья Сергеевна нахально сказала, что мы все равно сопрем. Потом, Иван Николаевич проходит предмет, как безусловный вредитель. Почему он нас заставляет прорабатывать историю, как будто это может нас заинтересовать? Я предлагаю для протеста сегодня не заниматься».

Рыжего мальчугана звали Костей. Это был, видимо, коновод. Его слушали. Но когда одна девочка начала говорить, что на школьном собрании нельзя обсуждать программу, ее тотчас же прервали дружными криками: «Манька, утри нос!.. Учи сама, если хочешь!.. Эх ты, дердидас!.. Она в Ивана Николаевича втюрилась!..» Девочка покраснела и крикнула: «Прогульщики вы!» Миша, который сидел на задней скамье, рядом с Ириной, встал и пробасил: «Я предлагаю устроить общее нарушение дисциплины». Больше и не было никакого собрания. Миша измазал мелом спину Маньки. Потом в Ирину полетела грязная тряпка. Откуда-то ребята притащили кота. Кот фыркал и кричал. В углу малыш ревел: «Мои чернила пролили!» Костя строго сказал Ирине: «Можете идти домой. Урока сегодня не будет».

На стройке было много тысяч детей. Они жили с родителями в бараках или в землянках. Отец и мать уходили на работу: они строили завод. Ребята носились по грязи и по снегу. Они кидали камни в автомобили, дразнили старых казахов: «Киргиз прокис», таскали доски и жестянки, дрались и сквернословили.

Пашка, сын землекопа, кричал: «Кротов завел Анютку в барак, и он ее...» Отец говорил Пашке: «Замолчи, пащенок! Убью я тебя за такие разговоры!» Но Пашка его не боялся. Он приехал сюда из Владивостока. Он считал, что мир мал, как землянка, и что он, Пашка, нигде не пропадет. Вместе с Темкой Чельшовым они стянули у немца Гюнтера большую колбасу и четыре бутылки пива. Они выпили пиво и, охмелев, пошли купаться в прорубь. Когда Темка подрался с косым Павликом, Павлик пырнул его перочинным ножиком. Темка не почувствовал боли. Он и не заметил, что у него на животе кровь. Он только кричал возмущенно: «Паскуда! Он мне полушубок порезал!..»

Темка изводил грабарей. Он пугал коняг. Он шел и пел: «Эй ты, царь-грабарь!..» Но Темка любил стройку, и когда в январе месяце, из-за сильных морозов, наружные работы были частично приостановлены, он пошел к Соловьеву и сказал: «Вот дурачье — хотят бетон заморозить! Я могу с ребятами пойти на грелки — у меня пимы во какие».

Дашка Игнатова пристала к американцу Лайнсу с мартеновского цеха: «Вы напишите записочку в американский распределитель, чтобы отпустили карамель — кило, будто для вас, а деньги будут мои». Костя хвастал, что он в столовке получает каждый день два обеда — такой он ловкий. Ваня, которого звали «Ежиком», забрался в Топольники на спортивную площадку и гвоздем пробил два мяча.

Тот же Ваня, когда пионеры постановили принять активное участие в постройке ФЗУ, две недели подавал кирпичи, не отрываясь ни на минуту от работы. Когда Леша сказал «Пойдем, я тебе покажу скворца», — он прикрикнул на Лешу: «Отстань ты! Здесь дело делают, а ты вон с чем!..» Он не поддавался искушению, хотя он давно мечтал поймать скворца.

Учителя были перегружены работой: с утра до ночи они сидели в школе. Родителям было не до ребят. Мать Даши, приходя с работы, стонала, ругалась и стирала белье. Отец Пашки пил водку и в тоске кричал на сына: «Откуда ты взялся такой мордастый?» Дети росли быстро и как придется. Стройка для них была джунглями. Они глядели на американские краны и на оравы разноплеменных людей. Они мечтали как можно скорее стать инженерами и чертить диковинные планы. Но в возмущении они отвергивались от скучных теорем. Они

хотели найти знание среди листов толя, среди казахов, среди глины и угля.

Они дрались из-за гнилого яблока. Иногда кто-нибудь из самых отчаянных выменивал теплую шапку на две коробки папирос. Они терялись, когда преподаватель обществоведения спрашивал их о революции пятого года: это казалось им глубокой стариной. Зато они хорошо знали все марки автомобилей. Они знали также, кто записан как ударник, а кто как прогульщик. Они уважали стройку, но им казалось, что взрослые строят завод слишком медленно. Они пренебрежительно усмехались, глядя на бородатых землекопов или на жалкие тачки. Они признавали только экскаваторы.

Ругаясь, они кричали: «Эх ты, подкулачник!» Девчонок, которые любили стихи и пестрые ленточки, они называли «твердозаданками». Они строили игрушечные самолеты. Начиная драку, они сурово оговаривали: «Не ладошами — кулаками». Они презирали иностранных специалистов, но всякий раз, увидев ковбойскую шляпу или короткую трубку, они замирали в восторге. Они набирали песок в карманы и на уроке немецкого языка устраивали «газовую войну». Особенно любили они уроки военизации. Они мечтали о том, как бы пробраться в кино без билета. Они знали все фильмы. Они говорили о Гарри Пиле: «Этот что надо!» Они в точности знали все столовки и кооперативы. Без запинки они могли ответить, где что дают. Они знали, почему на базаре яйца. Они знали также, как работает домна. Писали они с ошибками и в душе не признавали бесспорности орфографии.

Костя сказал англичанину, который работал на ГРЭСе: «Вот вы угнетаете индусов, а когда индусы станут сознательными, от вашей Англии ни черта не останется». Англичанин улыбнулся и спросил: «Откуда ты это знаешь?» Костя не оробел. Он ответил: «Я читаю «Комсомольскую правду». А когда я кончу школу, я поеду в Индию, чтобы бороться против англичан». Косте было одиннадцать лет.

Иван Николаевич, измученный ревом, сказал: «У вас, ребята, совести нет». Мишка ему преспокойно ответил: «Нет — так нет! Можно прожить и без совести даже очень хорошо». Когда Ольга Владимировна предложила ребятам издавать стенгазету, Мишка просидел над газетой всю ночь. Утром он сказал матери: «Если коллектив от меня требует, значит, я должен это выполнить».

Среди них были изобретатели, любители походов, драчуны, поэты и чудачки. Когда учителя находили слова, которые доходили до их сердца, они забывали и о камнях, и о базаре. Они сосредоточенно слушали и цыкали, если кто-нибудь шепотом спрашивал, скоро ли кончится урок. Это была третья смена революции, и это были обыкновенные дети.

Ирине еще не было двадцати лет. Она хорошо помнила, что такое лукавый язык весны, которая забирается в раскрытые окна школы. Она еще сама любила коньки, ауканье в лесу и карамель. Может быть, о Кузнецке она мечтала так же, как мечтал рыжий Костя об Индии. Увидев ребят, она растерялась. Она была слишком взрослой, чтобы говорить с ними как равная. Посмотреть на них со стороны она еще не умела. Она по-детски на них обиделась. Как они смеют говорить о вредительстве?.. Надо объяснить им...

Она растерянно оглядывалась. Она попробовала сказать «ребята!..». Но Костя, взобравшись на плечи Мишки, заорал: «Собрание закрыто, за исчерпанным порядком дня!» Ребята смеялись. Они сразу оценили все: и носки, и румянец смущения, и дрожь голоса. Они поняли, что Ирина их боится. Они прыгали вокруг нее и пели: «Мишка во как скаканул, Иру обнимает, оттого такой прогул — угля не хватает». Ирина стояла посередине комнаты, прижимая к груди тетрадку. «„Ира“ — значит они уже знают, как меня зовут... Но почему они хотят меня обидеть?..» Она почувствовала, что не выдержит и расплачется. Тогда она быстро вышла.

В тот день у нее больше не было уроков. Она бродила по площадке. Она говорила себе, что смотрит на стройку. Но весь день она думала об одном: что же ей делать?.. Она упрекала себя: до чего она легкомысленна! Какой нужен опыт, чтобы работать с такими ребятами! Это не Томск. Здесь и дети другие. Напрасно она сюда приехала — толка не будет. Она даже подумала: может быть, сразу уехать?

Все здесь казалось ей непонятным и страшным: скрежет воздуходувки, ругань строителей, воздух, полный зловонья, черная пыль, землянки. Не было ни деревьев, ни спокойных людей, ни места, где можно было бы отдохнуть и собраться с мыслями.

Но тотчас же она возмутилась своим малодушием. Конечно, это не Томск! Это — война. Восторженно и робко она поглядела на струи

расплавленного металла: это и есть чугун, тот чугун, которого слишком мало, о котором, что ни день, пишут и газетах, ради которого все теперь столько мучаются? Да, здесь трудно. Товарищи Ирины предпочли Новосибирск: там и снабжение сносное, и спокойно. Она предпочла Кузнецк. Она знала, что жизнь — здесь. Надо только увидеть, где эта жизнь, увидеть не уголь или чугун, но людей.

Она вспомнила улыбку Кольки. Ей захотелось тотчас же разыскать его: он успокоит, поможет, скажет, как быть. Но она пристыдила себя. Колька знает свое дело. Он строит кауперы. Он не прячется за спины других. Она не может пойти к нему с жалобами. Она должна сначала справиться с работой. Потом она пойдет к Кольке.

Вокруг нее люди работали. Они справлялись с землей и с камнями, с рудой, с углем, с огромными машинами и с водой, которая проступала из-под земли. Она им завидовала: она не знала, как ей справиться с сердцем этих суровых и шумных детей.

Когда стемнело, она сразу почувствовала, до чего она устала. Но она не хотела идти к себе. Ее поместили временно с какой-то старой учительницей. Та, не умолкая, плакалась: «Дети нахальные... ботинки продрались... ноги болят — сыро здесь...» Вчера Ирина спокойно ее слушала. Теперь она боялась, что не сможет вытерпеть причитаний. Несмотря на усталость, она продолжала ходить.

Она спросила рабочего: «Это что за место, товарищ?» Тот уныло ответил: «Сад-город». Ирина жалобно посмотрела вокруг: та же пыль и землянки. Она подумала вслух: «Почему сад?..» Тогда позади кто-то весело рассмеялся. «Названия у нас глупые. Это, говорят, подрядчик был Садов, в его честь. А насчет садов здесь слабо». Ирина оглянулась и увидела Кольку. Она даже рассмеялась от радости. Быстро схватила она его широкую руку. То, что она встретила Кольку случайно, среди тысяч и тысяч людей, не пошла к нему, решила не идти и все же встретила, — показалось ей редкой удачей. Это позволило забыть всю тяжесть дня. Колька спросил: «Ну, как тебе у нас понравилось?» Ирина ответила: «Очень. Я так рада, что приехала». Она не лгала: в ту минуту она и вправду радовалась.

Завод вечером был прекрасен и страшен. Пламя печей рвалось наружу. Это походило на пожар. Казалось, огонь, зажженный людьми с такими усилиями, всесилен и его теперь не погасить. Там, возле

печи стояли люди в синих очках. Светились окна управления — другие люди проверяли цифры. Для них огонь был тоннами чугуна. Но издали огонь был только огнем. То в человеке, что некогда заставляло его боготворить степной костер, подымалось до мучительного восторга. Это было не только удовлетворением за месяцы непосильного труда, но почти телесной радостью. Поэтому, когда Колька сказал «здорово», Ирина не смогла даже ответить: как замороженная, она глядела на огонь.

Потом она сразу вспомнила рыжего Костю и перепугалась. Завтра у нее шесть уроков. Что она им скажет? Вдруг они снова будут кричать и петь? Она не знает, с чего начать, как их приручить, как сделать, чтобы они ее приняли. Она стала грустной, и Колька заметил это. «Ты чего приуныла? Не ладится что-нибудь? Я и не спросил, как у тебя с ребятами?» Ирина поспешно ответила: «Я весь день проходила, устала. А с ребятами все в порядке. Сегодня у них было собрание, так что не пришлось заниматься, а завтра начну».

Она старалась говорить весело, чтобы Колька не почувствовал лжи. Она не могла признаться в позоре. Что он о ней подумает? Он ее презирает. Она почувствовала, до чего это важно, сказать — «я свое сделала». Даже не сказать — подумать про себя. Как Колька в тот первый вечер, когда он рассказал про кауперы. Она ведь сразу догадалась, что это он лазил... Он не сказал по скромности. Другое дело теперь — ей нечем похвастать. Надо сказать прямо: «сплоховала». Но этого Ирина не могла сделать. Ее удерживал страх: что, если она потеряет Кольку? Тогда она останется одна на свете. Она не спрашивала себя о чувствах. Спроси ее об этом Колька, она, вероятно, ответила бы, что любит Сафонова. Но за весь день она ни разу не подумала о Володе. Как ей хотелось разыскать Кольку! Она сама не знала — почему. Но она чувствовала, до чего он ей дорог. Поэтому она и ответила, что «с ребятами все в порядке».

Колька сказал: «Я так и думал. Ребята здесь хорошие. Конечно, стервецы они ужасные, но молодчаги. Я смотрю в оба, чтобы они чего не испортили. Но, знаешь, весной ко мне пришел один: «Дай-ка я вместо тебя полезу. Ты не смотри, что я маленький, я на дерево какое хочешь взлезу и без веток — прямо». Нет, ребята славные! Только болтаются они, вроде как беспризорники. Придется тебе с ними

повозиться. Но если сказать: это, ребята, дело! Это завод строят, а не то, чтобы собак гонять,— они поймут».

Больше они не говорили о школе. Ирина расспрашивала Кольку о его работе. Он отвечал нехотя: встреча с Ириной настолько его обрадовала, что он не мог говорить о привычных вещах; Ему казалось, что они идут по тихим улицам Томска. Он хотел говорить о другом. О чем — он и сам не знал.

«Я недавно прочел несколько книг. «Герой нашего времени» — я прежде знал Лермонтова только стихи. Потом один французский роман. Автор: Стендаль. Очень хорошо! Я как кончаю такую книгу, мне кажется, что я еще одну жизнь прожил, уж не просто Колька Ржанов, но еще кто-то. Замечательно написано! Но читаю — не могу оторваться, а в душе все про возмущение. По-моему, о смерти они писали правдиво. Я видел, как мать умирала. Я это хорошо чувствую. Что у них, что у нас — одно. Но про жизнь они говорят как-то стороной. Все это сильно выражено. Самый ничтожный человек становится огромным. Но чего-то не хватает. Мне кажется, что эти люди не едят, не работают, не любят. Столько все время чувств, что я читаю и спрашиваю: где же чувство? Понимаешь? Я сам не могу это толком выразить. Вот, погляди, какая у них любовь. Если несчастье, тогда я им верю, я понимаю: над этим можно плакать, у меня у самого в горле стоит. А без несчастья они не могут. Или он чересчур самолюбивый, или она скрытная, или плохо друг друга поняли, или кто-то третий затесался. Иногда мне даже кажется, что они нарочно старались подбавить несчастья, чтобы было красивей. Счастье у них какое-то приспущенное, и если люди радуются, то им самим стыдно. О счастье щепенок и тот лучше расскажет. Вот ты мне скажи — почему это?»

Ирина вспомнила рассуждения Володи: «Животные страдают от недостатка в корме или от того, что им не дают случаться. Это относится и к двуногим разновидностям». Ирина тогда спросила его: «А люди?» Володя ответил: «Люди страдают не от того-то, но для того-то. Только страдая, человек становится непохожим на других». Так думал Володя. Наверно, так думали и старые писатели. Ирина ответила Кольке: «Должно быть, они стыдились простых чувств. А у нас другой подход. Да и любовь теперь другая».

«Это, конечно, верно. Мораль у нас не та. Для них труд был проклятьем, а я вот от этого «проклятья» ожил. Но мне все-таки кажется, что они писали не о живых людях. В любви все похоже друг на друга. Как когда умирают. Я думаю, что и тогда люди любили просто. Знаешь, без разговоров, но так, чтодохнуть и то трудно. Только об этом нельзя написать...»

Ирина почему-то перепугалась. Она тихо сказала: «Говорить тоже нельзя». Она боялась, что Колька начнет спорить, но он молчал. Тогда она огорчилась: почему же он молчит?.. Она сказала: «Холодно! Дни хорошие, а ночью здесь холодно. Я совсем замерзла. Ты меня проводишь? Я живу наверху».

Они шли молча. Прощаясь, Колька спросил: «Скоро увидимся?» Он почувствовал, что у Ирины рука совсем заглодела. Заботливо он сказал: «Ну ложись скорей, отогрейся». Ирина послушно ответила: «Да».

На следующее утро, проснувшись, она сразу подумала: «Чего я испугалась?» Она весело пошла в школу. Ребята ее встретили молча, но недоверчиво. Она читала главу из «Войны и мира». Читала она хорошо, и дети внимательно слушали. Но когда она кончила, Костя злобно сказал: «А все-таки это ни к чему!» Ирина была довольна, что ей удалось довести урок до конца, но она понимала, что ничего еще не сделано: между ней и ребятами была стена.

Она начала работать медленно и упорно: так осаждают крепость. Она вспомнила о ручноймыниках. Она пошла в управление. Там на нее сердито прикрикнули: «Не до вас!» Но Ирина настаивала. Ей удалось получить ордер на четыре ручноймыника. В «Стандартстрое» сказали: «Пришлем рабочего». Ирина отказалась.

Как будто мимоходом, она сказала Косте: «Это ты бузил насчет ручноймыников? Я вот достала — четыре штуки. Только рабочих не дают. Может быть, ты за это возьмешься?» Костя был польщен тем, что столь ответственное дело доверили ему. Он тотчас же набрал «бригаду строителей». На следующий день он гордо заявил Ирине: «Ручноймыники будут поставлены в трехдневный срок». Это было не дружбой, но началом примирения.

Вскоре после этого Ирину послали в Гурьевск: надо было показать в ФЗУ, как применяются «тесты» для определения

профессиональных способностей. Ирина поехала на день. Она взяла с собой несколько ребят, в том числе Костю и Мишку.

По грязным улицам Гурьевска бродили плешивые куры, но улицы назывались возвышенно, например «Творческий проезд». На заводских воротах значилось: «Чугуноплавильный и железоделательный завод». Это было почтенно и комично. Завод был построен в начале прошлого века. Сто лет тому назад люди раздули первую домну. Они клали в нее древесный уголь — кругом была тайга. Завод был обнесен крепкими острожными стенами с башнями для часовых. Внутри еще можно было различить следы колец: на заводе прежде работали каторжники. Отцеубийцы и государственные преступники, злодеи и мечтатели стояли у неуклюжей печи: они плавил чугун. Об одних писал стихи Пушкин: «Не пропадет ваш скорбный труд!» О других пели блатные песни в ночлежках и на больших дорогах.

За сто лет завод мало переменялся. Начальники горного округа знали, что русские руки куда дешевле заморских машин. Вместо вагонеток двигались старые клячи. На паровых машинах, как на памятниках, стояли солидные даты: «1859». Деревянный кран подымал болванки. Стены были толстые, окон вовсе не было, и в мастерских стояла темь, как под землей. На дворе, заваленном мусором и шлаком, добродушно пыхтел старенький паровоз. Какой-то находчивый инженер приделал к нему длинную трубу, и паровоз шел за машину.

Ребята глядели на лошадей и на деревянный кран. Они весело смеялись: они помнили машины Кузнецка. Как скучный урок, выслушали они рассказ о каторжниках. Недавно им показывали скелет мамонта... Они не верили в труд мертвых людей. Им казалось, что жизнь началась вместе с ними. Тогда-то среди степи родился Кузнецкий завод.

Ирина, поглядев на кран, невольно улыбнулась. Она представила себе рядом два крана: вот этот, деревянный, и моргановский. Она почувствовала, как быстро идет жизнь. Не успеешь опомниться, и мир уже другой. Непонятно, как люди прежде жили? Потом она задумалась: почему же вещи меняются быстрее людей?.. Нет, и люди меняются. Разве можно сравнить этого инженера с невежественным начальником, который кричал на каторжников?.. Только меняются не

все вещи, да не все меняется в людях. Конечно, автомобиль не похож на телегу, а вот колесо осталось колесом. Нельзя без смеха плядеть на эту печь. Но разве смешон Пушкин? Колька не мог оторваться от Стендаля. А ведь Стендаль — ровесник этого завода.

Ее смущала неравномерность развития: как будто у человека росла только одна рука, или плечи, или голова. Жизнь менялась, как на экране: вот прошло десять лет — не узнать Сибири, и жизнь оставалась настолько той же, постоянной и непрерывной, что становилось страшно. Колька сказал ей: «Люди и тогда любили просто». Значит, тоже любили, рожали ребят, радовались, умирали. Нет, лучше об этом не думать! Это та жизнь, которая идет сама собой — вне мыслей, вне плана, вне истории. Думать надо о другой жизни, быстрой и понятной: о работе, о кранах, о школе.

Она сказала ребятам: «Смешной завод? А вот вы не знаете, что он поработал на Кузнецк. Мне инженеры говорили, что без Гурьевска трудно было бы управиться. Здесь отливали для Кузнецка различные части. Да и теперь много заказов. Все, что здесь делают, — это для Кузнецка. Конечно, потом завод сломают или перестроят. Но свое он сделал: старик, а помог молодому».

Она сказала это просто, как будто невзначай. Никто не мог бы догадаться, что ради этих слов она привезла сюда ребят. По тому, с каким вниманием выслушали ее дети, она поняла, что, может быть, впервые они почувствовали уважение к труду их предшественников. Костя сказал, показывая на деревянный кран: «Крепкий-то какой — держится!»

Когда они возвращались в Кузнецк, Мишка тихонько сказал Косте: «Она — ничего. Конечно, девчонка, но свое дело знает. Это не Марья Сергеевна». Костя неопределенно хмыкнул.

На уроке Костя сказал Ирине: «Почему вы все время говорите — «так нельзя сказать»? Кому они нужны, эти правила?» Ирина стала объяснять, что такое язык. Она сама увлеклась. Она говорила о том, как трудно найти слова простые и точные. Потом она упомянула о музыке. Она повторяла различные слова, и дети, насторожась, слушали: слова пели. Их было много, как деревьев в лесу. Одни старились и умирали, другие рождались, но лес шумел, лес оставался лесом. Волнуясь, она читала стихи: «И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок

горючий». Волнение Ирины передалось ребятам. Они сами не понимали, почему их так увлекли эти стихи. Они даже не думали о страшном дереве. Они были смущены силой слов. Так прошла минута-две. Потом Манька робко сказала: «До чего это красиво!» Ирина в изнеможении села на стул.

Дня три спустя после урока к Ирине подошел Костя. Он что-то хотел сказать, но мялся и переступал с ноги на ногу. Наконец он сунул в руку Ирины тетрадку и тотчас же убежал прочь. В тетрадке были переписаны два стихотворения Кости. Одно называлось «Гигант стали», другое — «Александр Пушкин». Ирина много раз перечитала неуклюжие строки. Она не могла сдержать свою радость. Она все время улыбалась: улыбалась в школе, в столовке, улыбалась и когда шла к Кольке.

Она не видела Кольку с того вечера. Как-то они столкнулись в клубе, но Ирина сразу ушла. Она не хотела его видеть, пока не добьется своего. Она постучала в окошко, Колька высунулся. Не вытерпев, она закричала: «Есть, Колька!» Она весело вбежала в комнату. «Я теперь знаю, что могу работать. Я говорю и чувствую — слушают. Не так, как раньше. Я тебе не говорила... Но это было здорово трудно. Такой Костя... Он хороший мальчишка. Только сначала я думала, что я от него повешусь. А теперь он стихи пишет. Нет, ты ничего не понимаешь! Я вздор мелю — все вместе. Но ты пойми, я так счастлива!..»

Она не могла больше говорить. Она взяла Кольку за руки, и Колька начал ее кружить вокруг себя. Они оба смеялись, и оба не знали, почему смеются. Они хотели о чем-то заговорить, но разговор не вышел.

Ирина сказала: «Пойдем ко мне, я тебя антоновкой угощу». В комнате Ирины было темно. Она не зажгла света. Она выбрала самое большое яблоко и дала Кольке: «Вот тебе». Он не взял. Он подошел к Ирине и крепко поцеловал ее. Тогда Ирина строго сказала: «Ешь яблоко!» Колька в темноте не мог разглядеть ее лица. Она улыбалась. Он только догадывался об этой улыбке. Он послушно грыз яблоко и тоже улыбался. Потом Ирина сказала: «А теперь иди! Мне нужно работать — в шестой группе трудный урок. Я завтра за тобой зайду».

Она просидела еще часа два за книгой. Иногда она глядела в сторону и улыбалась. Она не вспоминала при этом Кольку и ни о чем

не думала. Она просто радовалась.

В соседней комнате жила Варя Тимашова. Она преподавала в ФЗУ природоведение. Это была та самая Варя, которая мечтала об Ингеборг и записывала в тетрадку свои мысли. Иногда ночью она заходила к Ирине. Они терли глаза — глаза закрывались: обоим хотелось спать. Но еще сильнее обоим хотелось говорить, и, борясь со сном, они говорили о книгах, о ребятах, о жизни.

Варя пришла из школы в десять вечера. Ее провожал инженер Глотов. Всю дорогу он говорил о деррике. Потом он зашел в комнату Вари, и Варя забеспокоилась. Она сказала: «Я живу не одна. Здесь еще Марья Сергеевна живет. Она должна сейчас прийти». Глотов молчал. Варя сказала: «Вот вы говорите, что на этом деррике...» Она не докончила — Глотов больно сжал ее плечи. У нее потемнело в глазах, и она сама к нему придвинулась. Потом она в страхе крикнула: «Да ты с ума сошел! Сейчас Марья Сергеевна придет!» Она оправила волосы и тихо сказала: «Завтра я весь вечер одна». Глотов ушел. Варя хотела выбежать и сказать ему, чтобы он вернулся: насчет Марьи Сергеевны она выдумала — Марья Сергеевна уехала на шесть дней в Новосибирск. Но она не позвала Глотова. Она даже с улыбкой подумала: здорово я сочинила!.. Потом ей стало грустно. Она попробовала было вынуть тетрадь и записать мысли, но мыслей не нашлось. Тогда она пошла к Ирине.

Она спросила Ирину: «Ты не знаешь, что такое в точности этот деррик?..» Ирина начала объяснять, но Варя ее прервала: «Я тебя об этом завтра спрошу, а то сейчас ничего в голову не лезет». Она помолчала, а потом, сев рядом с Ириной на кровать, тихо сказала: «Когда читаешь романы, так все красиво, и любить они умеют. А у нас ни на что нет времени. Вот и остаются эти деррики... Ты знаешь, я хотела бы жить на каком-нибудь острове. Чтобы деревья и никого. Только он. Вот тогда это настоящая любовь...» Ирина тоже вздохнула. Они еще долго о чем-то говорили, сами забывая о чем говорят, взволнованные и растерянные. Потом, доверясь друг другу, они тихонько плакали. Они не понимали, откуда эти слезы. Им казалось, что они плачут оттого, что жизнь страшна и непонятна. Но это были легкие слезы, и они плакали от счастья. Они уснули с мокрыми щеками. Сон был ровный, глубокий — сон до утра.

На следующий вечер Ирина зашла, как обещала, к Кольке. Они не шутили и не смеялись. Они пошли к Ирине. Шли они, торопясь, хотя торопиться было незачем. Над трубами мартена висела луна, большая и близкая. Казалось, что и луна — это только диск расплавленного металла. Ирина поглядела на нее и недовольно отвернулась: она не хотела ничего видеть. Когда они пришли в комнату, она первая обняла Кольку.

В комнате было темно и тихо, и это длилось долго, так долго, что нельзя было поверить свету, голосам и памяти. Ничего и не было до этой ночи: жизнь только начиналась. Эта жизнь спешила, она была горячей и неподвижной, она признавала только мельчайшие движения: вот Ирина вздохнула, вот Колька бережно поцеловал ее в плечо. Они прислушивались к дыханию; как неведомый мир, они открывали выпуклость лба, скулы рук и горькую сухость кожи; они срастались, как сращиваются деревья, и много времени прошло прежде, нежели человеческий голос решился вмешаться в эту сосредоточенную тишину. Колька тихо сказал: «Ирина!..» Она не ответила. Она могла говорить, не могла даже шелохнуться — до краев она была полна спокойствием.

Они вышли на улицу под утро: Ирина сказала, что хочет проводить Кольку. Она боялась остаться одна в этой комнате. Уходя, она настежь раскрыла окно.

Они шли теперь медленно и рассеянно. Навстречу прошли рабочие с ГРЭСа. Один из них крикнул: «Что, Колька, гуляешь?» Колька не откликнулся. Вдруг Ирина поскользнулась. Она чуть было не упала в яму. Колька ловко подхватил ее и рассмеялся. Засмеялась и Ирина: «Совсем как пьяная...» Оба обрадовались этому происшествию: все сразу переменялось, стало простым и ясным, похожим на день. Они могли теперь болтать о пустяках. Они и не обмолвились о том, что было. Возле мостика Ирина сказала: «А теперь я пойду домой. Еще два часа до школы — попробую соснуть». — «Может, проводить тебя?» Ирина отказалась: ей хотелось остаться одной.

Она пошла назад. Она ни о чем не думала. Она только повторяла про себя последние слова Кольки: «Значит, завтра...» Она снова была спокойна и счастлива.

Поднимаясь в гору, она услышала позади шаги. Сначала она подумала, что это случайный попутчик. Но потом ей стало не по себе, она приостановилась. Остановился и человек. Она услышала, как чиркнула спичка,— наверно, закуривает... Она пожурела себя: что за трусость? Здесь и нет никаких грабителей. Но она все же не успокоилась. Она хотела заставить себя оглянуться, но не могла. Она то останавливалась, то шла очень быстро. Человек не отставал. Она тревожно поглядывала на темные бараки. Кругом никого не было. Что же это такое?..

Теперь она остановилась потому, что не могла идти дальше: сердце колотилось — вот-вот разорвется. Она прислонилась к стене барака. Тогда человек подошел к ней вплотную. Она поглядела и тихо вскрикнула — это был Володя.

«Я видал однажды в кино смешную картину: весенняя лужица была заснята первым планом. Все думали, что это бурный водопад, Ниагара. Труднее показать другое: до чего каждая капля бушующего океана живет скучной и мизерной жизнью! Конечно, издали все это весьма величественно. Вблизи — стоячая вода: распределители, карьера, сплетни. Поэтому я затрудняюсь сказать, что я решил «переменить жизнь». Это слишком громко. Вернее — я решил переменить местожительство. Я подал заявление о переводе на отделение черной металлургии. Придется приналечь на физику и химию, но это легко — уровень, разумеется, низкий. В математике я сильнее всех. Словом, особых трудностей, к сожалению, не предвидится.

Итак, капитуляция! Ирина с полным основанием скажет (как после знаменитого «выступления»): «Я за тебя рада». В поединке между чугуном и Сафоновым победил чугун.

Вполне возможно, что я ищу примирения с жизнью или, выражаясь менее возвышенно, пробую приспособиться. Мне надоело переть против рожна. Кому нужна сейчас какая-то абстрактная наука? Конечно, они гордятся Павловым, но это оттого, что у него мировое имя. Это как памятник старины — пусть все видят, что и мы не варвары! Павлову могут дать занимательную лабораторию, двойной паек. Но молодому ученому не стоит обольщаться — его задача ясна: это все тот же тришкин кафтан. Один сидит и думает, чем бы заменить гуммиарабик, так как это импортный продукт. Другой ищет суррогата глицерина. Третьему поручено добиться изготовления бумаги из водорослей (дерева сколько угодно, но с целлюлозой возня — нельзя ли попроще?). Я читал в газете, что какой-то прохвост придумал, как изготавливать валенки из человеческих волос.

Я охотно признаю, что они правы. Когда человеку нечего жрать, он плюет на логарифмы. Если сейчас какой-нибудь советский астроном откроет новую планету, я первый усмехнусь: нашел что открывать! Какое нам дело до планет, когда нет штанов? При таких

обстоятельствах «чистая наука» становится не только подвигом, но зачастую и свинством, как чистая поэзия и пр.

Я не могу уехать на другую планету. За границу мне и самому не хочется, особенно после разговора с тем французиком. Значит, я собираюсь жить в стране, именуемой СССР. Вывод ясен: этой стране нужен чугун и ей совершенно не нужна абстрактная математика.

Я хочу быть прежде всего честным. Можно ли презирать инженера, который работает на заводе? Он — тот же землекоп или каменщик. Это настоящая работа. Если у нас ее делают хуже, чем в Германии, то это зависит от средств, а не от людей. Бедности нечего стыдиться. Но как только отступаешь от этого прямого дела, начинается фиглярство. Поэты пишут стихи о домнах, художники изображают театральных ударников, историки литературы объясняют романтизм справками о развитии паровой машины и т. д. Я лично предпочитаю чугун.

Помимо этих общих соображений, мной, по-видимому, руководит страх — желание спастись, ухватиться хотя бы за щепочку. Я столько слышал про эти стройки — все ими захвачены. Вдруг и Володя Сафонов, после Сенек, уверует в св. Домну?.. Если это массовый психоз, то почему я не могу ему поддаться? Во всяком случае, я поеду туда с искренним желанием разделить чувства других.

Я перечел все написанное, и мне самому смешно. Конечно, все это так. Это — мои мысли. Но позвольте, товарищ Сафонов, поставить маленький постскрипtum: отделение черной металлургии, как вам известно, находится в Кузнецке. Там же находится Ирина. Вы говорите, что вас влечет к себе чугун? Всякое бывает!.. Но не думаете ли вы, что это весьма напоминает скверный бульварный роман?»

Володя записал это еще в Томске. С тех пор прошло два месяца. Он приехал в Кузнецк. Он познакомился с разными людьми: с инженером Костецким, с Толей Кузьминым, с Соловьевым. Он не встречал Ирины. Он не знал, как ее разыскать, и в душе он радовался этому. Он боялся встречи. Он хотел убедить себя, что он приехал в Кузнецк отнюдь не ради Ирины.

Он попробовал увлечься металлургией. Ему показалось, что это живое дело. Он провел вечер в беседе с Костецким. Костецкий рассказывал об американских заводах. Когда они расстались, Володя

подумал, что наконец-то он вращается в жизнь. Тогда с еще большей силой ему захотелось увидеть Ирину.

Он теперь часто видел ее во сне. Тогда все менялось — Володя был настойчив, даже груб. Он так крепко обнимал Ирину, что та кричала, и Володя просыпался. В столовой или в клубе он жадно вглядывался в лица женщин. Но Ирины не было.

Он увидел ее поздно ночью, возвращаясь с работы. Она стояла возле мостика с каким-то незнакомым ему человеком. Володя подошел настолько близко, что услышал шепот: «Значит, завтра...» Они его не заметили. Володя сразу понял, что он опоздал. Это было просто, как с комнатой или с калошами, — его место занял другой.

Он хотел было просто уйти. Он не любил борьбы: счастье либо сразу давалось, либо оно вовсе и не было счастьем. Но он не ушел, он поплелся вслед за Ириной. Он понимал, до чего это глупо, но он не мог ни окликнуть ее, ни отстать. Он шел как лунатик, ничего не соображая, полный горя.

Когда Ирина, увидав его, вскрикнула, он бросился прочь. Он бежал, как воришка, которого накрыли с поличным. Он понял, что Ирина его боится, и ему самому стало страшно. Зачем он ее преследовал? Он ненавидел себя, и, если бы человек умирал от одного нежелания жить, он, наверно, умер бы среди этих жалких землянок, с глупой гримасой страха и с лицом, мокрым от бессмысленного бега. Он хотел вытереть лицо, дотронувшись рукой до лба, но брезгливо вздрогнул. Он обрадовался дневному свету и рабочим, которые шли на стройку. Впервые с признательностью он подумал о чугуне, который обещал ему несколько часов передышки.

Вечером снова встало все: испуг Ирины, потный лоб и простая короткая мысль: «Опоздал!» Он вдруг всполошился: может быть, Ирина попросту испугалась? Ведь она не знала, что он в Кузнецке. Но тотчас же он вспоминал широкие плечи того, третьего. «Значит, завтра...» Вот оно и наступило это «завтра»! Сейчас они вместе. Почему-то Володе показалось, что это должно происходить в Томске, в комнате Ирины. Он видел, как тот; с широкими плечами, обнимает Ирину. А на столе — черемуха... Но ведь это уже было с Володей. Он усмехнулся: по требованию публики спектакль повторен. Сенька или Петька. Такой, конечно, не ведет дневников. Ему и в голову не придет разыгрывать благородство. О чем тут говорить? Он потерял Ирину —

это просто и ясно. Ирина ушла к чугуну, и не так, как Володя — без позы, без снисхождения, без страха. Утром — в школу, вечером — с этим... Через год-другой можно будет поздравить социалистическое отечество с новым гражданином, который пригодится для пятой пятилетки. Вот и все.

Кругом него люди жили, как прежде. Они жили, сжав зубы. Они строили завод.

Инженер Костецкий выписал из Москвы жену, и жена, приехав, сказала: «Какой ужас!» Костецкий спокойно ответил: «Никакого ужаса. Мы вот вторую домну пустили. В столовке сносно — да ты сама увидишь. А одному трудно — пуговицу пришить и то некому. Хожу как босяк. Ну пока! Я побегу на заседание».

Толя Кузьмин сочинил стишки о безобразии на кухне: «У поваров Федьки, Мани и — Романа вино ни-ни — не выводится — приблизительно — и при окончании работки — у ребяток наших робких — ни капли не осталось водки — утешительно». Эти стихи были помещены в стенгазете.

Шор взялся теперь за блюминг. У него был жестокий припадок, но, провалявшись два дня, он прибежал в цех и весело крикнул: «Ну-ка, пристыдите прогульщика, покажите, что вы тут понаделали». Немец Вагнер сказал Шору: «Мой контракт кончается, но я хочу остаться. Я буду работать, как русский». Шор крепко пожал руку Вагнеру. Тогда Вагнер осмелел. Он спросил Шора о том, что давно его смущало: «Когда я говорю — «надо выписать то-то из Германии», русские смеются. Один раз я понял — они сказали: «Это немецкие штучки». Они отвечают, что это можно сделать руками. Конечно, можно, но сколько сил тратится зря! Ведь человек что-нибудь да стоит!» Шор улыбнулся ласково и чуть грустно. «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется... Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется «энтузиазмом». Одним словом, замечательная страна! Поживете еще год-другой, тогда и поймете!» Шор сказал и схватился за грудь — доктор строго-настрого запретил ему двигаться. Потом он побежал дальше.

На стройку понаехало самотеком много разного народа: казахи, чувашаи, мордвинаи. Молодой тунгус, увидев велосипед Фадеева,

обмер. Он сказал: «Автомобиль мы видали. Самолет тоже видали. Они идут потому, что внутри машина. Но эта штука идет сама собой!»

Ударная бригада шорцев приняла резолюцию: «Так как гигант строится на нашей шорской земле, мы даем торжественную клятву перевыполнить задание, чтобы помочь совхозам, а также защитить советское отечество от хищников международного империализма». Бригадир, шорец с хитрыми глазами и печальной улыбкой, пососал трубку, а потом сказал Соловьеву: «Отпусти меня на два месяца! Теперь время идти на охоту. Теперь время бить выдру и соболя. Я пойду в тайгу. Железо может ждать, а зверь не ждет». Тогда выступил комсомолец Морич, и он сказал: «Ты говоришь не как сознательный. Ты говоришь как зажиточный. Мы строим этот гигант. Страна не может ждать, стране нужно железо. Если ты уйдешь, я первый скажу, что ты дезертир». Бригадир вздохнул и остался.

Выпал снег, и наступила еще одна зима. Одни говорили — третья, другие — четвертая: никто не знал, когда началась стройка.

Варя Тимашова как-то ночью зашла к Ирине и сказала: «Черт знает что! Прибавили еще два урока. Сегодня у меня было одиннадцать. Я говорю с ребятами и чувствую, что засыпаю. Васька написал работу об уме собак. Так здорово, что я думаю послать в Москву. Он три года был подпаском: знает все об овчарках. А у тебя как?»

Варя постояла еще несколько минут, а потом, повернувшись к стене, сказала: «Кстати, ты знаешь Глотова? Высокий. На деррике. Так мы с ним поженились. Вчера. Пожалуйста, не смейся!» Вся красная, она выбежала из комнаты.

Ирина по-прежнему работала в школе. Мишка спрашивал, что такое ямб. Ребята писали: «Задание третье. Тема: «Неделя» Либединского. Целевая установка: осознать, как показывает автор героическую борьбу коммунистов в период военного коммунизма. План проработки: чтение произведения, краткий доклад бригады, анализ содержания».

Костя писал: «Коммунисты совсем забывали личную жизнь. Они все внимание сосредоточивали на революционной борьбе. Например, Робейко. Он был болен туберкулезом, и ему трудно было говорить, но он делал доклады о заготовке дров».

Потом Костя говорил Ирине: «Интересно они жили! Наши парни все норовят получить путевку в дом отдыха. Но когда начнется война с империалистами, будет куда веселей». Ирина, улыбаясь, показывала ему на рвы, насыпи и землянки: «Чем тебе не война?»

Ирина быстро оправилась после встречи с Володей. Иногда она еще плакала, но она стыдилась этих слез: она не хотела жить прошлым. Томск теперь ей казался детством — уютным и никчемным. Володю нельзя было пожалеть — тотчас же она вспоминала насмешливый голос: «Се-нька по-эт...» Он не хотел, чтобы Ирина жила как все. Он хотел ее запрятать в душное подполье, где только он и книги. Думая так, Ирина радовалась, что она не с Володей.

Она теперь много работала. Колька записался на вечерние курсы. Их встречи были короткими и напряженными: столько надо было вместить в один тесный час! Но они были счастливы: они твердо знали, что это и есть та «простая любовь», о которой говорил Колька, прочитав Стендаля.

Ирине казалось, что все в ее жизни ясно и понятно. Но когда, среди редких хлопьев снега, как бы рассеянно падающих сверху, она увидела лицо Володи, она сразу растерялась. Растерялся и Володя. Он теперь не пробовал убежать. Они стояли друг против друга в нерешимости. Потом на лицах проступила улыбка: еще ни о чем не думая, они попросту обрадовались. Ирина почувствовала, что эти серые глаза — не чужие. Она робко попросила: «Володя, может, зайдешь ко мне? Надо нам поговорить».

Володя покорно пошел с ней. Они шли молча. Они больше не улыбались, и когда они пришли к Ирине, Ирина с испугом подумала: а ведь говорить не о чем!.. Она спросила: «Хочешь чаю?» Володя вежливо отказался. Они снова помолчали. Потом Ирина сказала: «Ну, как тебе здесь живется?» — «Спасибо. Как всем. Обучаюсь. Строю, конечно, гигант. Хворал гриппом. В общем, ничего особенного». Он говорил нехотя, как будто его клонило ко сну. Ирина не поверила ни словам, ни голосу. «Ты это для стиля... Хорошо, что ты сюда приехал. Это не Томск. Для тебя это не просто переход с одного отделения на другое. Это шаг к жизни».

Володя усмехнулся, и сразу все напомнило Ирине Томск: глаза Володи, которые никогда не смягчались улыбкой, голос — злой и в то

же время трогательный, докучливые рассуждения, подлинная боль и вся откровенная нелепость его жизни. Она подумала: «Милый...», но тотчас же спохватилась и поправила себя: «Бедный... бедный и чужой».

«Я здесь говорю исключительно о руде, о сере, о процентах кремния. Эти дни я был так занят, что не было времени даже подумать. Но я попробую тебе ответить. Это не шаг к жизни. Если ты хочешь обязательно, чтобы я шагал, это скорее шаг к смерти. В Томске еще были вещи, которые меня привязывали: библиотека, деревья в садах, профессора, собаки на улицах. Словом, хлам. А здесь никуда не запрядешься. Это прекрасная школа — я говорю, конечно, не о втузе. Я здесь с каждым днем избавляюсь от глупой привязанности к жизни. Конечно, в этом отношении сегодняшняя встреча — ошибка. Но это не важно — я ведь никак не обольщаюсь...»

Он помолчал. Ирина увидела, как он злобно изорвал окурок. Она боялась с ним заговорить, боялась, что любое слово будет ложью. Заговорил снова Володя. Он посмотрел на Ирину и спросил: «Как его зовут?... Да ты понимаешь, кого... Се-нька? Или Пе-тька?»

Ирина вскочила. Она была вне себя от гнева. Впервые Володя увидел ее такой. «Ты не смеешь так говорить! Уходи! Сейчас же уходи! Ты думаешь, что они ниже тебя? Они на сто голов выше! Ты хочешь поглядеть свысока, а выходит низко, очень, очень низко...»

Володя прикрыл лицо рукой. Он тихо сказал: «Ты что же хочешь сказать? Что я его презираю? Куда там! Я ему завидую. Всему. Что у него вот такие плечи. Что он с тобой сумел по-другому, не как я. Что его, наверно, всерьез интересует, сколько процентов кремния в чугуне. Я и злюсь оттого, что завидую. Я совсем не герой, Ирина. Скорей ничтожество. Даже хуже...»

Гнев Ирины прошел, остались усталость и какое-то глубокое удивление, она как будто впервые увидела Володю. Она спрашивала себя: «Неужели я его любила? Ведь это не человек, это труп! О таких прежде писали в романах... Если и есть в нем живое чувство, то одна только ненависть. Он ненавидит меня, ненавидит Кольку, всех ненавидит. Он и себя не любит. О чем он еще говорит?...» Она заставила себя прислушаться к словам Володи. Он сидел по-прежнему, закрыв руками лицо, и разговаривал скорее с собой, нежели с Ириной.

«Религия вообще нелепость. Но все же Христос на кресте — это не дядя Мартын. Я понимаю, что можно строить заводы. За границей тоже строят. Ну, не теперь, теперь не строят — кризис, чересчур много понастроили. Но там печь — это печь. Нельзя в двадцатом веке ввести примитивный фетишизм. Как-никак мы не шорцы! Ты думаешь, что история это прогресс, а это попросту толчея — как на базаре: взад и вперед. Все, конечно, меняется, только никому от этого не легче. Иллюзия движения, иллюзия цели, иллюзия...»

Он не закончил фразы — в дверь постучали. Нехотя он отдернул руку от глаз. Он увидел человека с широкими плечами. Он хотел сразу уйти: пускай воркуют о чугунах! Удержало его самолюбие: вдруг Ирина подумает, что он испугался? Он первый протянул руку: «Сафонов». Колька приветливо улыбнулся, и эта улыбка еще больше разозлила Володю: чем не американцы?..

Колька даже не задумался — кто этот человек: преподаватель ФЗУ, вузовец, инженер. Он был занят своим. Он, волнуясь, рассказывал: «Двух землекопов сегодня пришибло. Насмерть. Они тащили из котлована щит. Деревянный. Они его на себе таскают. Один повернулся неловко — и бац. Черт побери, ведь какое безобразие!..»

Ирина молчала. Она видела двух бородатых людей в меховых шапках. Они лежали на снегу. Над ними голосили бабы. Бороды были гладкие и расчесанные, а лица измараны кровью. Она видела это так ясно, как будто была там. Весь день стал ей страшен: кровь, болтовня Володи и вой ветра за окном — начиналась метель.

Володя, выслушав Кольку, сказал: «Я не понимаю, чему вы удивляетесь? Конечно, Кузнецкий завод — чудо техники и прочее и прочее. Но строят его так, как строили пирамиды. Нагнали мужиков и успокоились — мужичок вывезет. Имеются экскаваторы, деррики, грейферы, но землю они таскают на себе. Месят ногами. А грабари — видели? Словом, с одной стороны моргановский кран, с другой — даже не Петр, но допетровская Русь».

Колька пристально поглядел на Володю: «Вы кто же, товарищ? Из ФЗУ? Или так, проездом?..» — «Я вузовец. Работаю здесь». Тогда Колька нахмурился: «Я вас не понимаю. Так только враги могут рассуждать. Конечно, у нас мало средств. Этого нет, того нет...» Володя его перебил: «Могло бы все быть. За границей не так строят. Да и живут там иначе...»

Колька возмущенно поглядел на Ирину, как бы спрашивая: откуда такой взялся? «Конечно, могло бы быть все. Только нас бы тогда не было. То есть сидели бы здесь господа из какого-нибудь «Копикуза», а мы бы на них работали. Может быть, поставили бы еще десяток грейферов. По-моему, лучше землю руками таскать. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что это для нас. Разве в самом заводе дело? Вы думаете, я не знаю, что в Америке и не такое еще строили? Для меня это — как крепость взять. Конечно, у нас многого не хватает. Но ведь мы только-только начинаем. Красный директор, а он пять лет тому назад свиной пас. Или казахи — ведь это дикари, азбуке их надо учить. За каждую заграничную машину мы чем платим? Очень просто — голодом. Да вы это сами знаете. Нечего митинговать. Я о другом хочу вас спросить. Вот вы втузовец. Вы мне можете помочь. Я, видите ли, что надумал — надо землекопов выручить. Если нет настоящих кранов, почему бы не смастерить деревянный? Чтобы щиты подымал. Сразу полегчает. Да с краном не может быть такого безобразья — ведь задавило их!.. А сделать, по моему, нетрудно. Вот посмотрите — я нарисовал...»

Володя поглядел на чертеж и рассмеялся. «Каменный век! Вы не сердитесь, но только это очень смешно. Теперь вечную спичку изобрели. Вот и представьте себе, что является советский изобретатель: «Я придумал усовершенствованный трут».

Колька не смутился. Он спрятал чертеж в карман. «Что ж, нет спичек, и трут придумаешь. Это вопросы практические. Нечего тут спорить о принципах. Я вот увидел, как людей зашибло, и подумал — почему бы не устроить такое?.. А не хотите, я другого спрошу. Или сам попробую».

Ирина молча слушала спор. Но, увидав все ту же снисходительную улыбку Володи, она не вытерпела: «Сейчас как раз время поглядеть на мир свысока. Что людей задавило, на это наплевать. И вообще на все наплевать. Ты, Колька, его не слушай! Он сам мертвый и не хочет, чтобы другие жили...»

Володя тихо ответил: «Я, собственно, не о том думал... Впрочем, это не важно. Я вот засиделся, пора за работу!» Он неловко простился и вышел. Тогда напряжение Ирины сразу спало. Она заплакала. Колька растерянно спросил: «Что с тобой?» Она не ответила. Он понял, что это не случайный посетитель. Он вспомнил, как в Томске

Ирина ему сказала, что любит другого. Никогда прежде он ее об этом не спрашивал. Теперь, нагнувшись к Ирине, Колька спросил: «Он?» Ирина ответила: «Да».

Колька отошел в сторону. Он сам не понимал, что с ним. Вдруг он решил, что Ирина его не любит. Колька ненавидел этого втузовца — как он смеялся над его рисунком! Нарочно — при Ирине. А Ирина — как все девчата. Только другие падки на красоту, а Ирина увлеклась разговорами: «каменный век», «допетровская Русь»... Конечно, если она любит такого...

Ирина подошла к нему сзади и руками обняла его шею. Оглянувшись, он увидел, что Ирина улыбается. Тогда он сразу забыл обо всем. Он виновато пробубнил: «Станный он — задается». Ирина покачала головой: «Нет, он просто несчастный. Но я не хочу о нем больше думать. Покажи мне, что ты там нарисовал — какой это кран?»

Они долго сидели над рисунком. Колька объяснял: «Вот это хвост, здесь — лебедка...» Потом, на минуту оторвавшись от чертежа, он сказал: «А знаешь, Ирина, я ведь приревновал. Ужасно глупо! Ты меня можешь презирать — вот говорим то да это, а сколько у нас внутри старья!.. Ну скажи, очень презираешь?» Ирина спокойно ответила: «Нет, очень люблю».

Володя не пошел работать, как он сказал Ирине. Он не знал, куда ему деться. Он отгонял мысли об Ирине, но все время он возвращался к тому же — противно! Почему он возмутился? Пора бы привыкнуть! Никто его не преследует. Он не в Чека. Он и не лишенец. Государство выдает ему науку, хлеб, даже штаны. Он не может сказать, что он — жертва.

А жить он тоже не может. Все теперь ясно. Он мог быть философом. Он занят чугуном. Он мог говорить о поэзии с людьми равными ему. Он говорит с Петькой о пользе туалетного мыла. Он мог любить Ирину. Но Ирину они отобрали. Это в порядке вещей. Это, наверно, вытекает из так называемого истмата. А засим?..

Он увидел Толю Кузьмина. Машинально спросил он: «Ты куда?» Толя шепнул: «В Кузнецк — за водкой». Тогда Володя быстро сказал: «Я с тобой! Выпьем...» И Толя весело загоготал: «Да еще как! С огурчиком! Чтобы все завертелось...»

О Толе Кузьмине Маркутов сказал: «Шут его знает! Не то он анархист, не то просто летун». Никто не знал толком, откуда он взялся. Васька, услышав его разглагольствования, в злобе сказал: «Ты незаконченный тип». Толя усмехнулся: «Конец — делу венец, а теперь и венцов нету — только серп и молот».

Он любил плуые прибаутки и пиво. Он осторожно отодвигал губами пену и полоскал рот горьким пойлом. Он сыпал в пиво соль. Щипало в носу, он пил и улыбался. Он умел танцевать все танцы: барыню, матлоты, коробочку, даже фокстрот. «Па-де-труа» он называл «под утро». Танцевал он залихватски, глядя хитро в сторону и приговаривая: «А еще, а еще!» Он вытирал лоб и кричал музыкантам: «Ну-ка, поджазбань матлота!» Он умел плевать тонким плевочком, не шевеля при этом губами. Он умел также, набрав в рот пива, пускать дым кольцами. Ругался он неожиданно: «Эх ты, Перегиб Емельянович!» Если в трамвае какая-нибудь гражданка просила его: «Станьте, пожалуйста, боком», — он пренебрежительно отвечал: «Сама ходи конусом». Выпивая, он мрачно горланил: «Товарищ, товарищ, за что мы боролись!» Он никогда ни за что не боролся, но ему казалось, что он страдал и узнал разочарование.

Он был прежде доверчив и растерян. Прочитав «Цемент», растрогался и решил строить новую жизнь. Всю зиму он аккуратно ходил на собрания. Секретарь ячейки Розен говорил: «необходима квалификация». Розен был худ, бледен и близорук. Он никогда не смеялся. То и дело он плотал какие-то пилюли: у него были боли в желудке. Толя зашел к Розену. Он увидел, что Розен пишет. Толя спросил: «Сочиняешь?» Ему показалось, что Розен тайком ото всех пишет замечательный роман, вроде «Цементы». Но Розен писал письмо в редакцию Комсомольской правды». «В номере от 14 мая я прочел: «марксизм-ленинизм» — через дефис. Я прошу ответить, разделяет ли редакция такое толкование, и если да, то...»

Толя рассмеялся. «Тебе, брат, в попы надо. Или — как это повашему — в раввины!..» Розен обиделся: «Меня интересует теория». Толя продолжал смеяться: «Разве ты человек? Ты знак препинания,

вот что ты! Сидишь, пишешь, мог бы цельный роман написать, а ты о запятых...» Розен возмутился: «Такая вещь важнее десяти романов...» Толя в досаде махнул рукой. Он вдруг почувствовал, до чего ему надоели и Розен, и собрания, и красные доски, и политграмота.

Он влюбился в Лизу Аксюнину. Лиза была красивой рослой девушкой. Она чуть косила. Голос у нее был глухой, и когда она говорила самые обиденные слова, казалось, что она говорит о чем-то сокровенном. Она любила пестрые платочки и духи. Увидев ее, Толя опешил. Он не знал, как к ней подойти. Он попробовал заговорить о «Цементе», но Лиза сказала: «Я книг не читаю. Я молодая, мне жить хочется. Вот пойдем завтра в клуб танцевать». Так Толя научился матлотам. Он шепнул Лизе: «У меня квалификация — во какая!..» Лиза прогуляла с ним несколько дней. Потом она сказала: «Здесь немка туфли продает. По случаю. Настоящие заграничные. И номер мой». Толя испуганно спросил: «Сколько?» — «Восемнадцать червонцев — это недорого». Толя сплюнул: «Да ты с ума спятила?» Он решил, что Лиза перебесится. На следующий день Лиза ему сказала: «Я сегодня иду с Петрицким в цирк». Толя разозлился: «Я с таким спекулянтom и разговаривать не стану». Лиза повела своими раскосыми глазами: «Не разговаривай. Я и сама сговорюсь». Так кончилась первая любовь Толи.

Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться. Рядом с ним работала Настя. Ее дразнили «соней» — она сладко зевала и терла кулачком зеленые ласковые глаза. Настя была комсомолкой. Она сказала Толе: «Очень мне нравится Жаров — как он пишет про наш нахальный комсомол». Слово «нахальный» она произнесла с гордостью. Толя подумал: эта тертая!.. Он поймал ее в темном коридорчике. Настя вдруг стала высокой и строгой. Она сказала: «Не смей! Я тебе не Лиза. Я с Ильей живу». Толя выругался и, мрачный, пошел домой. Жизнь не давалась ему в руки.

Он был слесарем-инструментальщиком, и свое дело он знал. Говоря с девушками, он любил щеголять непонятными словами. Настя о нем сказала: «Этот паршивец все знает». Но Толя не любил читать. Когда он видел книгу, ему сразу становилось скучно. Его знания были случайны и спорны. Он знал, что Пушкин ревновал свою жену, а та кокетничала с Николаем, что в Мексике было много революций, что организм требует витаминов, что за границей правят фашисты или

социал-предатели, но магазины там набиты товарами и можно повсюду танцевать фокстрот.

Прочитав какую-то старую книжицу, Толя важно сказал товарищам: «Главное — это индивидуальность». С тех пор за ним установилась репутация анархиста. Недостаток знаний он покрывал находчивостью. Его трудно было переспорить. В душе, однако, он часто смущался. Он ждал, что кто-нибудь надоумит его, как жить.

Он сидел в пивной с Мухановым. Об этом Муханове все говорили, что он человек «отпетый». Толя давно собирался с ним побеседовать: он верил теперь только людям, которых другие осуждали. Муханов сразу сказал Толе: «Вот если бы этот Карла дожил бы до нашего времени, интересно, что бы он сказал? Он-то жил — дай бог всякому! Детям костюмчики покупал. Да и выпить был не дурак. Поглядел бы он на эти распределители».

Толя внимательно посмотрел на Муханова и спросил: «Вы что же — меньшевик?» Муханов рассмеялся: «Ну и дурак ты, Толька! Наплевать мне, что большевики, что меньшевики. Я жить хочу и не как-нибудь, но по первой категории. Значит, по-ихнему, я шкурник. Мне вот пятьдесят стукнуло. При таких темпах я скоро, что называется, сдохну. Очень мне интересно, что после моей смерти будут всякие кисели. Нет, ты мне сейчас подай этого киселя! Можно день подождать, ну год, а здесь всю жизнь только и делай, что жди. Тогда получается, что это вовсе не жизнь, а очередь. Я сегодня был в кооперативе — три сорта кофе: из японской сои, из гималайского жита, еще из какого-то ванильного суррогата — так и напечатано. Спрашиваю: «А нет ли у вас, гражданочка, кофе из кофе?» Погляди на себя — самое тебе время гулять. Работаешь по шестому разряду. Только спрашивается, что делать с этими бумажонками? Разве что сою жрать. А ты мог бы галстучек купить, барышню в ресторан повести, покатать ее на резвых. Вот тебе и вся история. Помню, пришли ко мне — это еще в двадцатом было — говорят: «Подавай излишки!» Взяли, одним словом, самовар и подстаканники. Я спрашиваю: «Это как же у вас называется?» — «Называется это у нас реквизиция». Разве в самоваре дело? Научились и в чайниках кипятить. Но только они не самовар реквизинули, а, что называется, жизнь».

Толя внимательно слушал Муханова. Он вдруг понял, почему ему так скучно. Вот и Лиза ушла... Он пробормотал: «Это гибель

индивидуальности». Муханов ответил: «Правильно». Потом они молча тянули пиво — за бутылкой бутылку.

На стройку Толя приехал, соблазнившись деньгами. Он выработывая пятьсот, а то и шестьсот рублей. Он говорил: «Я работаю ради денег, как настоящий пролетарий». Он доставал в Кузнецке водку и пиво. Жил он ото всех в стороне, работал исправно, но без рвения, а в душе по-прежнему тосковал. Он больше ничего не ожидал от жизни.

Тогда жизнь неожиданно вспомнила о нем. На строгальном станке работала Груня Зайцева, и, взглянув на нее, Толя понял, что он еще хочет жить.

Груня приехала на стройку прямо из деревни. Она была из села Михайловского. Это было старое сибирское село. Когда-то михайловцы были ямщиками. Потом троечные кошевки заснули в сараях: провели железную дорогу. Крестьяне хлебопашествовали и промышляли извозом.

При Колчаке свыше восьмидесяти человек ушли в партизаны. Они попали в отряд Несмелова. Этот Несмелов говорил, что он большевик, но коммунистов у себя не потерпит. Партизаны пускали под откос поезда. Они храбро дрались с белыми, но при виде чужого добра они слабели душой. Они тайком приволакивали в деревню пачки царских ассигнаций, купеческие дохи и пузатые портсигары. Многие поднакупили овец и поставили новые крыши. Село разбогатело.

Нагрязнул карательный отряд. Белые повесили шесть человек за то, что они были родственниками партизан. Потом белых изгнали из Сибири.

Крестьяне с гордостью говорили: «Мы красные партизаны, у нас и билеты с печатью». Они жили крепко и стойко. Они говорили, что Ленин был великим человеком, а городских рабочих ругали «дармоедами». Они не хотели давать городу хлеб.

Когда началась коллективизация, в село приехал Вася Шишкин. Он боялся, что кулаки убьют его, и все время хватался за револьвер. Он произнес речь: «Государство выдаст колхозам тракторы и прочий инвентарь. Значит, кто хочет добровольно идти в колхоз, тот будет строить социализм. А кто не хочет, тот в полном праве. Но я скажу, что с такими наш разговор короткий — душу вон, кишки на телефон». Дня через три в овраге нашли труп Васи Шишкина. Арестовали шесть

кулаков. Из Томска приехал Никитин, он начал раскулачивать. Среди раскулаченных было сорок восемь бывших партизан. Их увезли неизвестно куда. Бабы голосили.

Марья Ефимовна, увидав, что пришли за ее коровой, начала кричать, как оглашенная: «Хоть до утра оставьте! Ведь и скотина чувствует. Куда вы ее на ночь ведете?» Громов сказал: «Дура! Своей пользы не понимаешь. Может быть, ей прививку от болезни привьют». Марья не унималась. Тогда Громов прикрикнул: «Вот тебя раскулачат, тогда будешь орать!» Марья мигом примолкла. Два дня спустя она исчезла, вместе с ребятами.

Мужики поразъехались — кто в Новосибирск, кто в Кузнецк, кто в Прокопьевск. Остались бабы. Бабы ходили сердитые и ругались матом. В колхозе «Красная заря» работал Шахотин. Он был прежде столяром в Иркутске и не знал крестьянских распорядков. Когда начался падеж скота, Шахотин поехал в город за ветеринаром. Тем временем Архипов надумал лечить скотину огнем. Он подпалил общественный двор и сено. Архипова судили за поджог. Он плакал и клялся, что хотел уберечь коров.

На Шахотина ночью напали. Убийцы вспороли ему живот и всунули туда солому. Сельсовет принял резолюцию: «Постановляем обеспечить семью борца революции Шахотина, а от пролетарского суда ждем беспощадного наказания преступников».

Марья Ефимовна прислала сестре письмо. Она работала в большом совхозе неподалеку от Новосибирска. В письмо она жаловалась на харчи, но жизнью была довольна. «Детишкам здесь хорошо. За ними смотрят, и даже приехала учительница из Томска. Я зашла в ихний барак, а они все лежат и спят, мои тоже спят, а она сказала, что это называется мертвый час и что дети безусловно отдыхают. Я очень радуюсь, что приехала сюда. Здесь теперь купили пятьсот свиней и берут на работу всех, кто только приходит. Так что, дорогая сестрица, приезжай скорей!» Сестра Марьи усмехнулась и начала вязать в узлы добро.

Из города прислали Бакулина. Бакулин нахмурился и сказал, что надо подписать контракт и всем идти на лесозаготовки. Работа была тяжелая. Людей донимала мошकारа. Бабы не выдерживали и сбегали.

Груня работала с отцом в колхозе «Могучий комбайн». Потом отец поссорился с Громовым. Он принес газету и сказал: «По газете

выходит, что я могу выйти из колхоза, и никто меня за это не может преследовать». Он повесил в избе портрет Сталина, а когда предсельсовета спросил его: «Ты что это мутишь?» — он гордо ответил: «Я по закону одноличник».

В сентябре кто-то поджег стога. Сгорело триста пудов хлеба. Калачев, который уже двадцать лет как был в ссоре с Зайцевым, сказал Громову: «Никто другой, как Зайцев! Он вышел из колхоза и злится. Он это в отместку поджег». Громов позвал к себе Зайцева, отослал всех и плухо сказал: «Признавайся!» Зайцев сначала божился, что это не он поджег, а потом, глядя злыми глазами на Громова, прошептал: «Убить тебя мало, гад ты этакий!» Зайцева куда-то возили, допрашивали, а потом сказали, что он ни в чем неповинен: стога поджег Фомка Матюшин.

Зайцев возненавидел односельчан. Он сказал жене: «Нет мне здесь житья!» Кряхтя, понес он сундучок на станцию. Потом пришло письмо: Зайцев писал, что он работает в Осиновке на рудниках. Семью он к себе не звал: «Живу в бараке, а работа тяжелая». Жена Зайцева запросилась назад в колхоз, но ее не приняли. Тогда она сказала Груне: «Уезжай! Бог даст, я с ребятами и одна управлюсь. А ты молодая. Зачем тебе здесь погибать? Заключают они тебя». Так Груня попала в Кузнецк.

Сначала она дичилась людей. Она привыкла к тому, что люди — враги. Она боялась, что ничего не сможет сделать и что за любой проступок ее отдадут под суд. Еще больше людей ее страшили машины. Она не понимала, зачем они и как к ним подступить. Ее голова была полна вопросами, но заговорить с кем-нибудь она не решалась. Выручил ее старый слесарь Головин.

Он как-то посмотрел на Груню и, покачав головой, сказал: «Да ты, девушка, не бойся!..» Он ласково улыбнулся. Никогда еще Груня не видала такой улыбки. Она подошла к нему и доверчиво спросила: «Можно листы класть налево?» В первый день она увидела, что Федотов клал листы направо, и она решила, что иначе нельзя. Головин рассмеялся, но смех его был необидный.

С этого дня они подружились. Груня его спрашивала о рычагах, о людях, о непонятных ей словах, о чугуне, о партии. Головин охотно объяснял. Он как-то сказал: «У меня дочка, как ты. Тоже беленькая. Она теперь в университете — вот как!..»

Груня быстро росла. Она поступила на курсы по повышению квалификации. Головин сказал ей: «Ты что же в комсомол не идешь?» Груня ответила: «Глупа я — ничего не понимаю». Но несколько дней спустя она сказала секретарю ячейки, что хочет записаться в комсомол. С волнением она пошла на первое собрание: ей казалось, что она идет в университет, как дочка Головина.

Вскоре она познакомилась с Колькой Ржановым. Колька дружески улыбнулся и дал ей книгу: «Вот почитай, а не поймешь чего, скажи — может, я смогу объяснить». В тот вечер она написала письмо матери. Она писала: «Теперь я вижу, что мы несправедливо ругали коммунистов. Если такой Громов плохой человек, это не потому, что он коммунист. Я теперь многое поняла и, когда я приеду, расскажу тебе. Но ты не должна говорить против коммунистов, если твоя дочь — тоже член комсомола и этим гордится».

Она уверовала в коммунизм твердо и страстно. Коммунизм для нее был букварем: по нему она училась читать. Те небольшие поручения, которые ей давали, она выполняла немедленно и тщательно. Она никому не говорила о том, как она счастлива. Только раз ни с того ни с сего она сказала Головину: «Спасибо тебе, Иван Никитович!..» Ее голос выдал волнение, и Головин смущенно забормотал: «Ну, чего там...»

Ничто не могло поколебать ее веру. Она знала, что Ванька — рвач, когда ему предложили остаться на сверхурочные, он ответил: «Очень нужны мне ваши три рубля!» Ловцович в доме отдыха завел ее под дерево и там начал тискать, она в гневе сказала: «Подлец ты, а не комсомолец...» Комсомольцы могли быть плохими. Комсомол оставался комсомолом, и за него Груня была готова отдать свою жизнь.

Она не гуляла с парнями, и в ее жизни был пробел, который напоминал о себе только внезапным румянцем и минутами тоски, когда Груня спрашивала себя: кому я нужна такая?.. Тогда ей казалось, что она соскучилась по матери, что она глупа и необразованна, что никто не хочет с ней знаться. Она не понимала, откуда эта тоска. Она никогда не думала о любви. Она была хороша собой, и парни часто ее задевали, но она отругивалась. Ее звали «нетрожкой», потому что на заигрывания она отвечала: «Не трожь!» Она видела, как легко девушки сходились с парнями, но она считала, что это — темное,

дикое дело: так можно было жить в Михайловском, но так не может жить работница и комсомолка.

Толя Кузьмин ей сразу понравился. Он не рассказывал скверных анекдотов, не хвастал, что гуляет с девушками, не пробовал ее целовать. Он только нежно глядел на нее и говорил. Она охотно его слушала. Он умел рассказывать: он говорил о Пушкине, о неграх, о кино. Он сказал как-то: «Пойдем в клуб танцевать». Она заупрямилась: «Нехорошо это — я ведь комсомолка». Он сказал: «Мало комсомолок танцуют?» Груня возразила: «Это не танцы, а физкультурная пляска. Если коллективные игры, я это понимаю». Толя начал над ней смеяться — не все ли равно, какие танцы? Тогда Груня рассердилась и сурово сказала: «Бесстыдные эти танцы, жмутся друг к другу — не хочу я...» Она вся покраснела, и Толя, неожиданно сам для себя, сказал: «Может быть, ты и права».

Толя не понимал, что с ним. Он не пил пива, не балагурил, не думал о «реквизированной жизни». Он пробовал образумить себя: «Втюрился в дуру!..» Но и это не помогало. Он теперь жил только в те часы, когда бывал с Груней. Головин работал до позднего вечера: надо было спешно сдать части для «Водоканал-строя». Груня ему помогала. Толя говорил: «Я тоже останусь на сверхурочные». Он добавлял: «Надо на табачок заработать!» Но оставался он только для того, чтобы выйти вместе с Груней — он ее провожал до дому.

Груня его спросила: «Неужели ты это ради денег остаешься?» Толя поглядел на нее и ответил: «Нет!» Она обрадовалась: «Я так и знала. Ты все смеешься над ударниками, а ты сам ударник — понимаешь, что это дело чести». Толя остановился и сказал: «Наплевать мне на вашу честь! Не верю я в такие разговоры. А если остаюсь, только ради тебя». Груня растерялась: ей сразу стало и обидно и весело. Она возмутилась словами Толи, но то, что он остается ради нее, ее удивило и обрадовало.

На следующий день они снова начали спорить. Груня сказала: «Столько ты знаешь, а не в комсомоле». Толя ответил: «Знал бы меньше, может быть, и пошел бы, как баран. Это я тебя должен спросить — почему ты пошла в комсомол? Тебя это унижает. Как перерыв, берешь анкету и сейчас же — агитировать. Глядеть и то неприятно». Груня сказала: «Если работать только ради денег, жить скучно. Так у нас в деревне жили. Водку пили, дрались. А я теперь

знаю, зачем я живу. Вот мы строим социализм, и это такое великое дело, что даже кто кирпичи кладет, чувствует: совсем он другой человек». Толя притворно зевнул: «Эх ты, балалайка! Ты даже не способна по личному вопросу поговорить. Объелись вы политическим винегретом! Слушаю тебя, а как будто это Ньюша говорит или Манька — все на один голос. А ведь ты, Груня, другая. Сердце у тебя нежное. Я тебе скажу стихи. У меня книжка есть «Чтец-декламатор» — старая, с ятями. Там стихи — читаешь, и красота! Вот ты послушай: «Хочу я зноя атласной груди! Мы два желанья в одно сольем!» Вот это жизнь. Я, Груня, не как-нибудь — побаловаться. Если я такое говорю, это от чувства. Я тебе вот что скажу — давай поженимся!»

Он говорил это среди покрытых снегом землянок. Вокруг никого не было, и, остановившись, он крепко поцеловал Груню. Впервые Груня не стала отбиваться. Она сама подставила Толе губы. Потом она пошла в барак, и тотчас же она поняла, что поступила плохо. Ей хотелось выбежать на улицу, нагнать Толю и сказать: «Я это по глупости, а больше — никогда! Если ты такое говоришь про комсомол, я тебе не товарищ. За честного пойду, а не за рвача!»

На следующий вечер, когда Толя пошел с ней, она сказала: «Ты, Толя, на меня не рассчитывай. Я комсомолка. Ты меня стихами не заговоришь. Я сама знаю, как нужно жить. А провожать меня ни к чему».

Толя продолжал идти рядом. Он чувствовал, что Груня от него уходит, и он терял голову. Он снова принялся ругать комсомольцев. «Знаю я этих героев! Говорят, как попугаи «дело чести», а сами — обыкновенные шкурники. Продались за тряпки. Какие же это герои, если они работают ради карточек? Так и при капитализме рабочие работают: чтобы побольше выгнать». Груня возмутилась: «У меня вот карточка ударника, а я ею не пользуюсь. Я понимаю, что мы строим». — «Ну, значит, дура. Это всегда так: на сто жуликов один дурак. Ты вот посмотри на других — кто ради сапог, кто ради гармошки, а если девахи, подавай им тряпки...»

Груня ничего ему не ответила, но когда, прощаясь, он хотел поцеловать ее руку, она руку вырвала и закричала: «Отстань от меня, рвач ты несчастный!» Она закричала потому, что вспомнила, как Толя ее поцеловал и как ей тогда было хорошо: она испугалась себя.

Прошло еще два дня. Головин сказал: «Надо, ребята, налечь, чтобы сдать все к двадцатому». Толя заворчал «успеется». Тогда Груня громко сказала: «Мы это сделаем — наша бригада, а рвачей нам не нужно». Вечером было собрание, и Груня говорила о том, что надо обязательно выполнить работу к двадцатому. Она сказала: «Это для нас вопрос чести. Вот Толька Кузьмин говорит, что мы продались за тряпки. Мы должны показать, что мы не рвачи, а настоящие ударники». Груне аплодировали. На следующее утро Федюшин отозвал в сторону Толю. Он сказал: «Ты что же это, сволочь, баламутишь? Кто тебе платит за такую контру?..»

Поздно вечером Груня возвращалась домой. Вдруг она увидела Толю — он ее караулил. Толя сказал: «Я всегда говорил, у нас надо хвост держать пистолетом. Скажи слово, голову раскроют». Груня спокойно ответила: «Не раскроили. Мало ты болтаешь?» — «А ты хочешь, чтобы меня сейчас же прикончили? Очень это с вашей стороны деликатно! Я с тобой интимно разговаривал. О любви. Душу открыл. А ты на собрание побежала. Как же мне после этого жить?» Он долго упрекал ее, жаловался и грозился. Наконец Груня сказала: «Замолчи! Ты думаешь, мне легко? Я ведь и правда хотела за тебя замуж выйти. Я до тебя никогда не целовалась — не такая. Если бы ты на меня сказал, я бы спустила, а ты комсомол оскорбил. Я перед этим ночь не спала, все думала: сказать или нет? А потом поняла — если не скажу, я себя презираю. Значит, я тогда не комсомолка, а баба. У нас в Михайловском кулак человека зарезал, а жена его штаны пошла стирать, чтобы кровь отмыть. Скажут застрелить тебя, застрелю. Таким людям у нас не место. Не говори ты со мной больше!» Толя схватил Груню за плечи: «Погоди!» Но она сказала: «Пусти, я людей позову!»

С этого дня Толя совсем отбился от рук. Он начал пить водку. Три дня он вовсе не выходил на работу. Его не рассчитали только потому, что он числился хорошим рабочим, а слесарей было мало.

Он познакомился на работе с одним втузовцем: это был Володя Сафонов. Толя сразу подумал: этот не как все. Он почему-то вспомнил Муханова, но сейчас же усмехнулся — Муханов был темным человеком, до революции он торговал скобяным товаром, а это — настоящий студент, наверно, профессором будет. Он прислушивался к каждому слову Володи. Володя его спросил: «Ну как вы здесь,

довольны жизнью?» Тот ответил: «Извиняюсь, но жизни у нас нет. Жизнь, что называется, реквизули. Остались только ставки и распределители, а на это я не жалуюсь». Володя с удивлением посмотрел на него, потом он тихо сказал: «Вы не философствуйте. Это вредно для здоровья. Куда лучше не думать». Толя в восторге рассмеялся: «Совершенно правильно! В санитарных целях думать теперь запрещено. Можно даже дощечки поставить, вроде как „запрещается плевать“».

Володя подумал: любопытный парнишка! Вот только смех у него неприятный — будто он нарочно смеется... Толя стал к нему захакивать. Он приносил с собой пиво, рассказывал анекдоты о пятилетке и все ждал, что Володя объяснит ему, как надо жить. Но Володя отмалчивался.

Толя не забыл Груню, он чувствовал, что жизнь без нее пуста. Он теперь понял, что никогда не любил Лизу. Он ходил как в чад. Он и с лица изменился — похудел, а глаза стали красными и припухшими. Когда он проходил мимо Груни, Груня отворачивалась. В ее сердце злоба еще боролась с тоской.

Груня переживала трудные дни. После разрыва с Толей она почувствовала свое одиночество. Мать написала ей, что дети хворают, нет ни хлеба, ни картошки. Отец не шлет денег. Мать писала также, что она плакала над письмом Груни — зачем это Груня пошла к комсомольцам? Груня послала матери два червонца, а на письмо не ответила.

Она встретила Кольку. Колька спросил: «Как работа?» Она ответила, что в ячейке работа идет хорошо, у них теперь кружок — двенадцать ребят, изучают историю партии. Потом, помолчав, она, неожиданно для себя, добавила: «Только жить трудно!» Эти слова взволновали Кольку. Он не знал истории Груни, но он попробовал ее утешить. Он говорил о Томске, о хороших книгах, о Шоре — «старик все понимает!». Груня его плохо слушала, но она ему была благодарна за то, что он говорит с ней. Она сказала: «Товарищей много, а иногда поговорить не с кем. Колька крепко пожал ее руку: «Есть у меня девушка. Она в ФЗУ работает. Хорошая. Ты приходи — я тебя с ней сведу. Вот и потолкуете. Я ведь знаю, что с нашим братом вам не сговориться». Сказав это, он рассмеялся. Рассмеялась и Груня. Потом они распрощались.

Они не видели, что сзади шел Толя: он теперь неотступно ходил за Груней. Толя не слышал, о чем они говорили, но ему казалось, что так можно говорить только о любви. Он сразу возненавидел Кольку — вот кто подбивал Груню!

Когда Груня осталась одна, он ее нагнал. Он говорил, как в бреду: «Груня! Грунечка! Не могу я без тебя! Оставь ты его! Он, как все ребята, — побалуется, а потом бросит. Я тебе честно говорю — поженимся! Я пить не буду. Я и пью с горя, видишь, вся морда распухла... Ну, скажи мне хоть слово!» Груня ускорила шаг. Она ничего не отвечала. Тогда Толя сказал в гневе: «Не хочешь? Что ж, тогда я с ним поговорю. Убью я его! Вот тебе слово — убью! Я знаю, где он живет. Подкараулю — и трах! С ним у меня разговор короткий...»

Груня вспомнила Михайловское — как нашли Шатохина. Живот ему вспороли... Она повернулась к Толе и сказала: «Не убьешь! Вот не убьешь! Я ему скажу. Всем скажу. В ГПУ пойду. Тебя под замок посадят. Собака ты бешеная, а не человек!»

Она не помнила себя от возмущения. Взглянув на нее, Толя отвернулся. Он сразу поник. Прошла ярость, осталась только тупая, назойливая боль. Он оставил Груню и пошел назад. Лениво он подумал: донесет, обязательно донесет! Ну, значит, крышка... А теперь бы выпить!..

Он повернул к Томи: он решил сходить в Кузнецк за водкой. Не доходя до моста, он повстречал Володю Сафонова. Они пошли вместе.

Улицы старого Кузнецка были тихи и безлюдны. Маленькие домики скрипели под снегом. Стоял метельный ноябрь, и что ни день росли сугробы. Городишко походил на медведя, который сосет свою лапу. Жили в Кузнецке по большей части старики — ремесленники или лишенцы, жили плохо, без сахара и без надежды. Только и было радости, что опрокинуть стопочку. Закусывали огурцом или ломтиком сухого хлеба. Выпив, приободрялись, крикали, неуклюже переваливались с ноги на ногу, а потом засыпали.

На стройке продажа крепких напитков была запрещена. За водкой строители ходили в Кузнецк. Они презрительно поглядывали на деревянные домики, на кряхтящих или крякающих обывателей, на гору мусора, которая осталась от разрушенной церкви, на жизнь незатейливую и сонную. Засунув бутылку за пазуху, они шли назад в шумные бараки.

Одна из улиц Кузнецка называлась улицей Достоевского, но об этом не знали и люди, которые на ней проживали. Как-то приехали со стройки немцы. Из домов повысыпали разные людишки — поглазеть на красивый автомобиль и на людей, одетых по-заграничному. Вышел и Одинцов. Когда-то у Одинцова была богатая вывеска: «Военный и штатский портной». Теперь он шил «из материала заказчиков». Но никакого «материала» у лишенцев не было, а Одинцов клал заплатки и угрюмо хлебал пустые щи. Одинцов подошел к немцам поближе и сказал: «Вот это фасончик!» Немцы его спросили, где здесь находится дом Достоевского. Одинцов обиделся. Он сказал, что живет в Кузнецке тридцать четыре года, но такого человека не знает и не знавал. Одинцов подозвал Тихомирова, бывшего псаломщика, который теперь выводил по домам клопов. Тихомиров, подумав, сказал: «Ага, инженер со стройки? Как же, он в том доме живет, на углу. Только сейчас его нет». Немцы рассмеялись. Тихомиров вежливо улыбнулся и шепнул Одинцову: «Вот что значит иностранцы — веселые!» Немцы долго бродили от одного дома к другому. Впереди бежали мальчишки и кричали: «Иностранцы писателя спрашивают».

Потом из кривого дома вышел старичок. У него была желтая борода, а говорил он тихо и задыхаясь. Он сказал: «Это третий дом отсюда. Я сейчас проведу вас. Здесь проживал Федор Михайлович. Он приехал сюда из Семипалатинска и был в большом волнении. Может быть, вы знаете, что здесь его дожидался предмет его воздыханий? Когда пьяница Исаев умер, Мария Дмитриевна никак не могла решиться, с кем ей соединить свою судьбу. Федор Михайлович повстречал здесь учителя Вергунова, а этот Вергунов сделал предложение Марии Дмитриевне. Вот у этого окна Федор Михайлович писал о несчастеньких». Потом старик показал на кучу мусора и добавил: «В этой церкви Федор Михайлович венчался». Один из немцев, прижав к глазу фотографический аппарат, спросил: «Где же церковь?» Старик виновато зашамкал: «Стар я, забываю, что говорю...»

Самый главный из немцев сказал приятелям: «Не зная Достоевского, трудно понять душу этого народа». Они вошли внутрь дома. На маленькой печурке старуха готовила оладьи, и в комнатах стоял чад. Казалось, ничего здесь не изменилось за семьдесят лет: те же лапчатые кресла, те же фикусы и фуксии. На стене, среди старых картин, изображавших крестьянскую свадьбу и охоту на волков, немцы увидели портрет Ленина. Ленин был в кепке. Он стоял и говорил.

Старичок объяснил, что теперешние хозяева — внуки ссыльного; ссыльный был приятелем Достоевского — часто они проводили вечера в спорах. Немцы посмотрели на внуков: это были два мальчика, погодки, лет тринадцати-четырнадцати. Они сидели у того самого окна, у которого Достоевский писал свои повести. Они тоже писали: они готовили уроки. Немец, который знал русский язык, взял тетрадку и прочитал: «В Америке на семь душ приходится один автомобиль, но к концу второй пятилетки мы безусловно перегоним Америку». Он спросил мальчиков: «А вы читали Достоевского?» Мальчики ответили: «Нет». Из писателей они знали только Пушкина, Горького и Безыменского. Немец еще раз повторил: «Без Достоевского здесь нельзя ничего понять». Мальчики выбежали на улицу и, как замороженные, замерли перед автомобилем. Немцы погудели и уехали. Одинцов, глядя им вслед, сказал: «Жирные какие! А пальтишко видел? Настоящий коверкот! Вот и бесятся».

Не будь немцев, кто бы подумал, что эта улица чем-нибудь примечательна? Люди шли на базар, там поблизости была и лавка, где продавали вино, и фотограф, который снимал подвыпивших парней на фоне самолета, украшенного надписью «Ударник». На улицу Достоевского никто из посторонних не заходил. Но в тихий зимний вечер среди сугробов показались две тени. На одном человеке были очки и шапка с наушниками. Он шел медленно и задумчиво. Другой, в полушубке, все время бегал вокруг первого, размахивал руками и гримасничал.

Никто, впрочем, за ними не следил: час был поздний и люди спали — спал Одинцов со своей старухой, спал Тихомиров, покрывшись рваной шубенкой, спал и старичок с желтой бородой, один возле печи, спали лишенцы, дети и столяры из трудовой артели, спала вся улица Достоевского. Кто скажет, что снилось этим людям? Жирные пельмени? Весна? Первая любовь? Или та чепуха, которая чаще всего снится человеку: пропасти, пустые орехи, приبلудная собака и какой-нибудь доморощенный упырь с мордой сварливой соседки?

Пробежал инженер Карийский. Он работал на стройке, а жил здесь, спутавшись с одной разбитной вдовушкой. Любовь заставляла его каждый день бежать по снежным полям и пустырям. Он бежал и что-то мурлыкал под нос. Он думал об использовании доменного шлака для мостовых и о пухлых плечиках своей Машеньки. Он даже не посмотрел на двух полуночников.

Приятели уже успели побывать у кривого Медведева, который пускал загулявших строителей к себе на кухню. Медведев выставил бутылку водки и грибков. Хлеба у него не было, но гости и не потребовали хлеба. Они пили водку из больших стаканов жадно и сосредоточенно, как будто их мучила жажда. Медведев поглядел на них и тихо сказал жене не то с удовлетворением, не то с завистью: «Ишь, как лакают!» Гости мало разговаривали, а допив бутылку до доньшка, сейчас же встали. Они сказали Медведеву: «Надо голову проветрить». Водка приятным жаром доходила до кончиков пальцев. В голове гудело. Они шли, не глядя, куда ступают, и ныряя в сугробы. Кое-где в окнах желтели слабые огоньки, но ярче их были густые зимние звезды.

Толя, бегая вокруг Володи, говорил: «Если я пью, то от любовной катастрофы. Что меня обижает — это полное отсутствие глубины. Я, можно сказать, душу обнажил, страдал, хотел даже застрелиться. А она, простите меня, все это обратила в вульгарную анкету. Честное слово! Теперь меня посадят. Будто бы я на убийство покушаюсь. За такие дела могут и к стенке приставить. Только мне наплевать! Я давно с жизнью простился. Важен голый факт — почему она меня обидела? Зазубрила, как дятел: «комсомол и комсомол». Я понимаю, можно человека бросить ради чего-нибудь возвышенного. Я видел оперу «Демон» — я это очень хорошо чувствую. Но что ей этот комсомол? На черную доску записывать? Или — сидят и лопочут: «Промежуточные элементы колеблются». А вот вы спросите их — они даже не знают, что такое элемент. Со стороны глядеть и то противно! У меня была любовная трагедия, а у нее строгальный станок. Если вы пописываете, вы об этом можете интересный роман написать. Почтище «Цементы»! Только не напечатают — побоятся. Бездны побоятся, потому что такая жизнь — это и есть настоящая бездна!»

Голос Толи срывался. Он говорил то патетически, как оратор на трибуне, то жалостливо, со слезой, будто перед ним Груня. Володе было тяжело его слушать. Ему вдруг показалось, что и нет никакого Толи. Все это скверный сон, выпил — вот и померещилось. Он в досаде пробормотал: «Ты что юлишь?» Толя обиженно ответил: «Я не юлю, а иду с вами рядышком». Потом Толя снова начал говорить: «это такая драма, такая драма!..»

В голове Володи мелькнуло: «Что за ерунда? Как будто нарочно, чтобы меня высмеять... Даже с Ириной... Вот эта тоже... А может быть, он выдумал? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись! Ирина не такая. Да и все у меня не такое...» Он прикрикнул на Толю: «Замолчи!»

Толя испуганно поглядел на Володю и ответил: «Довольно я на моем веку молчал. Я только одного жажду: свободы...»

Володя съежился, как будто его ударили. Вот и о свободе говорит!.. Ну, чем не Сафонов? Наверно, и книжки почитывает... Голос у него противный... Впрочем, какое мне до него дело? Значит, деревянный кран, чтобы поднимать щиты?.. Что ж, наверно, этот Колька прав: надо сделать кран. Вообще все правы. Они правы потому, что они могут жить. Сейчас он у Ирины... Целуются... Честный

отдых после трудового дня. Не то, что он: напился и разговаривает с этим выюном... Каждому свое! Только напрасно он у Ирины погорячился. Она поняла, что он ревнует. А это подло и ни к чему. Он должен был тоже улыбнуться, как Колька. Он ведь хочет, чтобы она была счастлива. Но он не умеет улыбаться, пробовал — не выходит... Надо обязательно научиться...

Володя больше не слушал Толю. Он шагал, отрешенный от него. Каждый раз, когда его нога погружалась в мягкий снег, ему казалось, что он тонет, и он смутно радовался. Он подошел к забору, чтобы закурить. Машинально он прочел: «Улица Достоевского». Он никогда еще не был здесь. Несколько раз он повторил про себя: «Достоевского, Достоевского». Все внезапно переменялось, эта пьяная ночь, среди сугробов, оказалась продолжением других ночей, столь же темных и диких.

Когда он читал Достоевского, он заболел. Это были не книги, но письма от близкого человека. Он негодовал, усмехался, разговаривал сам с собой. Иногда, измучившись, он бросал книгу. Он давал себе слово никогда больше этого не читать. Час спустя, с виноватыми уловками, он раскрывал книгу на той самой странице, которая его так возмутила. Он облегченно вздыхал — час передышки был вдвойне трудным. Он зарывался в чашу нелепых сцен, истерических выкриков и вязкой горячей боли. Иногда ему казалось, что вот-вот и он сам забьется в падучей. Он однажды сказал Ирине: «Есть писатель, которого я ненавижу — это Достоевский. Это самое постыдное из всего, что у нас было. От Достоевского пошли все эти мировые масштабы, батальоны смерти, Рамзины, словом, расейская белиберда». Это было после того, как он прочел «Идиота». Он был убежден, что только один человек сказал всю правду о людях. Это та правда, которая бесспорна и смертельна. С ней нельзя жить. Ее можно выдавать умирающим — так прежде давали святыне дары. Для того, чтобы сесть к столу и пообедать, надо о ней забыть. Чтобы родить ребенка, надо прежде вынести из дома все эти приложения к старой «Ниве» в коленкорных переплетах. Чтобы построить государство, надо запретить даже повторять это имя.

Прочитав надпись на дощечке, Володя не то проснулся, не то погрузился в новый глубокий сон, и тот монолог, который он произнес

на заснеженной улице, перед Толей и сугробами, был сказан как бы во сне.

«Итак, вы не побоялись назвать улицу его именем. Вам нельзя отказать в смелости. Впрочем, что значит это имя для какого-нибудь Сеньки? Я помню, как в тридцатом году вы отобрали в заводской библиотеке несколько чересчур зачитанных книжек. Вы унесли их на чердак. Это вполне резонно. Вы оставили их для Володи Сафонова. Следовательно, вам нечего бояться: вы великолепно знаете, что Володи Сафоновы — резонеры и трусы. Сопоставление прекрасно: улица Достоевского, а рядом «гигант стали». Между ними несколько километров и мост. Причем я не забываю о культурных достижениях. Достоевского в Омске выпороли. Теперь никого не порют. Были тюремщики, взяточники, холуи. Теперь — инженеры, Ирина — преподавательница в ФЗУ. Я все это знаю. Я готов вас приветствовать. Я хочу только сделать маленькую сноску — для неисправимых чудаков. Я хочу продолжить сопоставление. С одной стороны человек, обыкновенный человек — борода, рулетка, патриотические вирши, любовные неурядицы, болезни, ссоры с издателями. С другой — все грандиозно — самый большой в мире блюминг, не картишки, но диамат, не вшей искать, но взаимная чистка, рекорд кладки кирпича, наилучшая сталь, конвейер и прочее. Какой апофеоз человека в тысяча девятьсот тридцать втором году! Стыдитесь, Федор Михайлович! О чем вы мечтали? О доброте? Об участии? О жалости? У вас была слабость — пожалуй «несчастненького». Вы выгоняли чахоточную женщину на улицу, чтобы она била в игрушечный барабан. Это прием ярмарочного шарлатана! На жалости вы составили себе мировое имя. Мой отец, доктор Сафонов попался на вашу удочку. Он говорил: «Такого надо пожалеть!..» Но ведь это архаизм! Это и есть «промежуточные элементы». Вместо жалости у нас классовая солидарность. Мы уничтожаем не личностей, но класс. Конечно, при этом гибнут и людишки, но разве это важно? Раньше гибло куда больше — посмотрите на статистику. Важно то, что мы перегоним Америку. Федор Михайлович, вы напрасно презирали теплые клозеты. Мы научились их ценить. Мы хотим, чтобы у нас были первые в мире клозеты. Как в Чикаго. Не улыбайтесь в вашу бороду! Она пахнет нафталином. Ее можно сбрить — кисточки для бритвы подвергаются теперь дезинфекции. Мысли тоже. Никаких микробов! Раньше в

тюрьму сажали петрашевцев, а теперь спекулянтов и валютчиков. Значит, вредных мыслей больше нет. Это уже достижение. Ваши письма выходят в издании «Академии». Будет много, много книг и домен много, мы обязательно перегоним американцев. Мы не будем жевать резинку. Мы будем заниматься диаматом. Мы начнем даже...»

Он запнулся, потеряв нить мыслей. Пристыженно, по-детски он сказал Толе: «Зачем ты мне столько подливал?» Но Толя, который с восторгом слушал Володю, ответил: «При чем тут водка? Я тоже пьян. Но мне наплевать, сколько я выпил. Я Достоевского не читал, но я вас прекрасно понимаю. Я то же самое чувствую. Я вас давно хочу спросить, что же мне теперь делать?»

«Что делать? Не знаю. Пей водку. Если ты веришь в господ-а-бога, запишись в нужнике и клади поклоны. Можно еще написать в тетрадке: «Протестую во имя свободы мысли», а тетрадку запереть. Словом, лучше всего быть сволочью, как я. Я ведь болтаю, болтаю, а все это слова. Просто прочитал книжки и повторяю. А перед кем я говорю? Разве можно какую-нибудь домну пронять словами? Машина сама знает, что ей делать. Если сказать: «Я не согласен», она не смутится. А если повернуть рычаг в другую сторону, тогда она сломается, и все...»

Толя весь просветлел, как будто что-то его озарило. Он цыкнул на Володю: «Тише! Не кричи!» Но Володя снова не замечал его. Он говорил теперь об отце, о каких-то пионерах, о тетрадке в сундуке, и Толя его не понимал. «Ирина, родная! Ты меня не слушай! Я все это — от зависти. Он крепкий. Да и все вы крепкие. Только мне надо убираться восвояси...»

Выждав, когда Володя замолк, Толя подошел к нему вплотную. Он прижался губами к его уху. Володю замутило от запаха сивухи и духов: у Толи были жесткие волосы и он их мазал какой-то душистой помадой. Толя шепнул: «Это ты правильно сказал — повернуть в другую сторону. Только ты, Володька, помалкивай!»

Володя посмотрел на него ясными, бессмысленными глазами. Он никак не мог понять, о чем это говорит Толя. Но слово «Володька» его раздражало, как запах помады. Он строго сказал: «Есть Петьки и Сеньки. А я Володя. Или Сафонов». Толя вдруг расчувствовался. «Я, наверно, скоро умру. Грунька ужасная сволочь, а кавалер ее со связями. Он к Маркутову ходит. Так мне пожить и не удалось! Ты, Володя, моей тоски не понимаешь. Я вот стихи люблю. Я знаю на

память много и красивые. Вот я тебе почитаю — это, может быть, всю мою трагедию выражает...»

Он стал в позу возле сугроба и хриплым, пьяным голосом начал декламировать: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих слов!»

Володя не дал ему дочитать до конца. Он снова почувствовал страх перед этим человеком. Он закричал: «Почему у тебя голова воняет?» Толя ничего не ответил. Тогда Володя мучительно поморщился: он хотел что-то вспомнить. Ему показалось, что все это уже было: и сугробы, и стихи, и противный запах. Наконец он сказал: «Я, по-твоему, умный человек?» Толя ухмыльнулся: «Комплиментов захотелось? Ну, умный. Это слов нет — умный». — «Стой! А со мной приятно разговаривать?» — «Если говорю, значит, приятно». — «Вот теперь повтори: с умным человеком и поговорить приятно». Толя растерянно моргал. Володя больно сжал ему руку. Тогда Толя послушно, как урок, повторил: «С умным человеком и поговорить приятно». Володя оттолкнул его. «Это ты нарочно подстроил! Смеешься надо мной? Смердякова разыгрываешь?..»

Он бросился бежать прочь. Толя попробовал его догнать. Добежав до угла, Володя услышал, как он кричал: «Погоди! Да куда же ты?» Володя побежал еще быстрее. Он падал в сугробы и снова подымался, он скользил, его лицо было в снегу, горели руки, но, не помня ничего, он все бежал и бежал.

Он остановился, только увидав перед собой огни стройки. Тогда он сел прямо на снег и, наклонив низко голову, пробормотал: «Вот я и выпил...» Он просидел так с час. Поток он почувствовал, что ему холодно. Он встал, кротко стряхнул с себя снег и поплелся домой. Он больше не думал ни о Достоевском, ни о Толе, ни о своем позоре. Он шел, как будто его завели, с пустой головой. Но все время ему казалось, что кто-то глядит на него и ласково, неуклюже улыбается. Сначала он подумал — Ирина! Но потом он вспомнил: нет, не Ирина, это отец, только отец так и улыбался...

Оставшись один, Толя припомнил все обиды этой сумбурной ночи. Володя над ним посмеялся. Почему он заставил Толю повторять какие-то слова? Конечно, он много знает. Насчет рычага он правильно сказал, но только он трус!

Хмель начинал выветриваться, и Толя приуныл. Что же с ним будет? Груня, наверно, уже все рассказала Ржанову. Тот побежит к Маркутову. Вызовут, станут допрашивать. Разве они поверят, что он просто хотел припугнуть девчонку?

Толя не хотел сознаться, что он сам трусит. Он уверял себя: наплевать! Но вместе с морозом в него забирался страх. Он бегал по пустым улицам, как будто за ним гнались. От холода гудели ноги. Наконец, не вытерпев, он постучался к Медведеву.

Сон у Медведева был крепкий, и Толя успел заоченеть прежде, нежели раздалось в сенях шарканье. Перепуганный голос спросил: «Кто тут?» Толя ответил: «Свои». Медведев выругался: «Вот черт, напугал! Ты что это придумал человека среди ночи будить? Не пущу! Ни за что не пущу». Толя сказал: «Два червонца». Медведев помолчал, а потом начал отодвигать тяжелые засовы.

От тепла Толя сразу размяк. Он клевал носом. Вдруг, сквозь сон, он вспомнил: расскажет, обязательно расскажет! Сон сразу прошел. Умоляюще он посмотрел на бутылку: только она и могла ему помочь. Он выпил залпом стакан. Внутри жгло. Сидя на сундуке, он ругался долго и вязко.

От Медведева он ушел часов в пять, и, когда он подходил к стройке, рабочие уже спешили на работу. Гаврюша спросил Толю: «Ты что это — на именинах был?» Толя приостановился и визгливо крикнул: «Не болтай! Нет теперь никаких именин! Теперь у нас октябрины!» Гаврюша строго сказал: «Иди ты спать. Лодырь ты несчастный!» Но Толя в ответ выругался.

Он дошел до горкома и спрятался за будку. Ему казалось, что все люди заняты теперь одним: преступлением Толи Кузьмина. Он увидел, как приехал Маркутов. Глаза у Маркутова были серые и злые. Он долго соскребал снег с сапог. Пока он топтал возле двери, Толя в

ужасе думал — вот сейчас раскроет папку и скажет: «Где этот Кузьмин?» Ждать было так трудно, что Толе захотелось подойти к Маркутову и сказать: «Вот я! допрашивай!» Но он спрятался подальше за возок.

Он подумал: «Может быть, Груня не скажет?..» Тогда он уедет на Магнитку. Там его никто не знает. Но тотчас же он усмехнулся: черта с два! Так его и выпустят! Он вспомнил ночь, сугробы и тихий голос Володи: «Если повернуть рычаг...»

Он громко вздохнул. Бывает — задумаешь что-нибудь, и не выходит. Так и его жизнь не вышла. Стихи об этом хорошие: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз». А впрочем, и стихи ерунда! Кто это придумал — слова в ряд, а потом рифма?.. Беззаботные, мимолетные, безработные... Еще что?.. Животные... Глупо! Да и все глупо! Вот один раз поцеловался с Груней, а потом она побежала — доносить. Лизка, та спуталась с рвачом — туфельки ей потребовались! Даже выпить хорошенько не дали. Как это очкастый говорил? У Достоевского мировое величие, а у нас сортир. Тьфу! Медведев — жулик: не водка у него, а дерьмо. Тошнит от нее.

К возу подошел рабочий. Толя отбежал в сторону. Он постоял еще немного посередине площади, а потом поплелся, будто бы на работу. Он сам не понимал, что с ним. Он еще пытался себя образумить. Тупо он повторял: «Вот тебе мостик, вот это мартен, а вот и Васильев!..» Он хотел быть трезвым и спокойным. Так же безразлично он сказал: «Вот тебе рычаг!» Тогда в его голове снова встали слова Володи. Он оглянулся. Кругом никого не было. Он даже успел подумать: ну и бездельники! Потом от злобы у него потемнело в глазах. Он подкрался и, как будто перед ним человек, навалился на рычаг. В ту минуту рычаг для него был живым: Груней, Ржановым, комсомольцами.

Рычаг не поддавался. На лбу Толи вспухли жилы. Он не помнил себя. Он напрягся, и рычаг наконец уступил. Тогда Толя радостно ухмыльнулся: он был теперь с жизнью в расчете.

Он хотел было уже побежать прочь, как кто-то вцепился в его плечи. Он стал вырываться, но человек не отпускал его. Они оба упали. Они катались по земле, хрипели и давили друг другу горло.

Сын кулака Васька Морозов, которого прошлой весной обвинили в том, что он подпустил лебедку, увидел, как Толя ломал рычаг. В ярости он бросился к нему. Впервые в своей жизни он видел живого

вредителя, и вся та злоба, которая была в нем, сказалась теперь. Он не только спасал машину, он сводил счеты со своим старым врагом.

Он был крепок, но неповоротлив. Опасность сразу протрезвила Толю. Он выскальзывал из рук Морозова, как угорь. Привскочив, он ударил его по лицу. Морозов его повалил. Толя изловчился и укусил Морозова в ухо. Тот закричал и выпустил Толю. Толя побежал, но Морозов быстро нагнал его и снова начал душить.

Подбежали рабочие. Их едва разняли. У Морозова лицо было в крови. Улыбаясь, он приговаривал: «Вот и поймал!» Он в упор глядел на Толю, которого держали два рослых парня. Не вытерпев, он плюнул в него и закричал: «Вот тебе, вредитель!»

Сергеев сказал Морозову: «Брось, Васька! Теперь в ГПУ разберут». Но Морозов не мог оторвать глаз от Толи. Он глядел на него и все что-то говорил. Слов не было слышно, только губы шевелились. Толя дрожал, как в лихорадке, и Сергеев, усмехаясь, сказал: «Ишь, дрожит!» Рабочие стояли кругом, молчаливые и злые. Только Головин проворчал: «А еще слесарь!..» Морозов все так же глядел на Толю. Он даже лица не вытер. У него были мокрые губы, а глаза темные и горячие.

Толю наконец-то увели. Тогда Морозов в изнеможении сел на ящик. «Меня товарищ Шор к себе вызывал. Раз я кулацкий сын, я должен оправдать доверие пролетариата. У меня вот отец на Магнитке. Он, может быть, за чужие грехи страдает, если он от рождения кулак. А этот подлец сбоку приполз. Кусаться полез. Как собака. И зачем с таким разговаривают? Перебить их надо!..» Морозов в тоске закрыл глаза. Сергеев ласково ему сказал: «Не расстраивайся! Ты свое сделал. Его по головке не поладят. Ах, подлец, два дня из-за него стоим!..»

Колька Ржанов обрадовался за Морозова: теперь все увидят, что Васька честный парень. Да и «старик» будет доволен... Он пошел к Морозову, но Морозова увезли в больницу: к вечеру у него сделался жар. Подумав о Кузьмине, Колька почувствовал, как в нем подымается злоба. Он никогда не видел этого человека, но он думал о нем, как о своем личном враге. Вот они кладут кирпичи, роют землю, ставят машины, а потом приходит такой и портит!.. Колька знал, что его чувство разделяют все, и это его радовало. Он радовался силе и простоте чувства: здесь не о чем было думать, это была борьба

насмерть, и будь на месте Морозова Колька, он с той же яростью душил бы ненавистного врага.

Груня узнала о вредительстве Толи позже других. Головин знал, что Толя приударял за Груней, и он не торопился с рассказом. Рассказала обо всем Груне рыжая Танька — ей давно хотелось поддеть «нетрожку». Она спросила: «Ты, говорят, с ним путалась?» Груня ей ничего не ответила. Но Головину она сказала: «Я себя во всем виню. Он мне вчера сказал, что хочет убить Ржанова. Я ему ответила, что расскажу всем. А потом я подумала, что он меня запугивает. Не поверила я, что он на такое способен. А он вот что придумал!» Она не выдержала и заплакала. Плакала она громко, подвывая, как плакала ее мать, когда отца повели на допрос. Головин ее утешал: «Ты-то при чем? Ты, можно сказать, первая его разоблачила. На собрании выступила». Груня вытерла лицо и взялась за работу. Но она не успокоилась. Это — ее вина! Она должна была сейчас же рассказать Ржанову или Головину. В душе она упрекала себя за другое: за поцелуй возле барака, за глупые свои мечты, за то, что ей тогда было хорошо и радостно. Засыпая, она подумала: хоть бы его пристрелили! Эта мысль ее облегчила — ей показалось, что Толя уже неживой, и его глаза, которые весь день ее преследовали, погасли и пропали в темноте барака.

Одного человека все происшедшее должно было особенно взволновать: борьба с рычагом была прямым продолжением ночной беседы среди сугробов. Но Володя весь день проспал. Никто не видел, как он вернулся. Под вечер к нему заглянул Костецкий. Володя сказал, что у него, должно быть, грипп. Про историю с Толей он узнал только на следующее утро, развернув газету. В первую минуту он смутился. Он хотел что-то припомнить, но его мысли путались. Он никак не мог восстановить час за часом пьяную ночь в Кузнецке. Он вспоминал только сугробы, отдельные слова Толи и рябую морду Медведева. Кажется, они ходили по улице Достоевского. От этого Толи скверно пахло. Потом Володя чего-то испугался и убежал. Наверно, и Толя был пьян. Он это сделал с пьяных глаз...

Суд над Толей устроили показательный в клубе «Красный металлист». Большой барак был набит до отказа. Володя сначала не собирался идти на суд, но в последнюю минуту он передумал: этот нелепый человек его чем-то привлекал. Володя помнил, как Толя

приходил к нему с бутылками пива и с глупыми анекдотами — это была смесь пошлых словечек, наивных рассуждений и почти нестерпимой тоски. На процесс Володя пошел с тревогой и с отвращением.

Он теперь чувствовал себя все более и более растерянным. Он понимал, что на стройке ему больше нечего делать — последняя карта оказалась битой. Надо было на что-нибудь решиться. Он походил на слепого щенка. Он вдруг останавливался и прислушивался к чужим разговорам. Бородатый итээр сердито ворчал: «Я масла на рынке не покупаю — совесть мне этого не позволяет». Володя бессмысленно повторял про себя: «Совесть... а что это совесть?» Он всполошился: почему он не подумал об этом раньше? В Томске Ирина его любила. У них могли бы быть дети. Час спустя он издевался над собой: Володя Сафонов с пеленками. Его неуверенность росла с каждым днем. Она начинала походиться на душевное заболевание. Порой с опаской он присматривался к себе: вероятно, так сходят с ума!

Он пошел посмотреть на Толю. Ему вдруг показалось, что этот напомаженный философ сумеет пристыдить и судей, и публику, и Володю.

Но Толя на суде держал себя трусливо. Он уверял, что ничего не помнит: «Напился, простите, как стелька». О Володе он и не заикнулся, боясь, что стоит ему рассказать про ночную беседу, как его объявят «идейным вредителем». Он сказал, что в Кузнецк пошел еще днем, купил литровку и все время пил; что было потом, не помнит, помнит только, как под утро он встретил Гаврюшку и Гаврюшка его спросил: «Где это ты так нализался?»

Груня выступила как свидетельница. Она сказала, что Толя — классовый враг. Он ругал комсомольцев. Он грозился убить Ржанова. Потом, помолчав, она добавила: «Я хочу перед всеми сказать, что я очень плохо поступила. Пускай меня из комсомола вычистят. Я вот сразу увидала, что он рвач. Он мне говорил, что у нас нет свободы пролетариата, и ругался, как кулак. Я этих кулаков в деревне видала. Они у нас Шатохина убили. Я должна была сразу его отшить. А я поступила, как несознательная. Он мне сказал, что хочет на мне жениться. Я, товарищи, с ним целовалась, перед всеми это говорю. Меня надо за это наказать. Только я скажу, что без комсомола мне теперь не жизнь. С родителями я порвала на политической почве.

Ничего у меня теперь не осталось, кроме комсомола. А вот и этого не смогла уберечь!»

Пока Груня говорила, все примолкли, председатель прикрыл лицо листом бумаги, даже Маркутов и тот отвернулся. Горе Груни дошло до всех, и все облегченно вздохнули, когда председатель сказал: «Вы ни в чем не виноваты. Вы себя показали честной комсомолкой».

Тогда Толя вскочил и завизжал: «Вот она, любовная трагедия!» Он хотел еще что-то сказать, но вдруг запнулся и уже другим голосом, тихим и жалостным, пробубнил: «Я ничего такого и не говорил. Шутил, вроде как частушки. Я болтаю по глупости, а потом выходит, что это идеи. Идеи у меня нет. То есть есть, но как у всех».

Председатель брезгливо поморщился: «Напрасно вы от всего отнекиваетесь. Скажите откровенно, что вас на это толкнуло? Пьянство еще ничего не объясняет. Пьяный может поскандалить. Но вы сами знаете, что сломать рычаг не так-то просто».

Толе вдруг показалось: придумал! Он заговорил с пафосом: «Толкнул меня вроде как дух. Я, конечно, в духов не верю, как убежденный материалист. Но это было мое заболевание. Я прочитал книжку писателя Достоевского, и там написано, что это мировое величье, то есть, а машины никому не нужны и если повернуть рычаг, значит, так надо. Я, конечно, читаю такие книги критически. Но когда эта деваха меня, можно сказать, смертельно обидела, я был в нервном потрясении и потерял тормоза. Потом я увидел, как она гуляет с Ржановым, и здесь-то началась драма. Я это говорю вполне откровенно пролетарскому суду. Я напился, и вот здесь я слышу этот голос: «Поверни рычаг!» Это, товарищи, как настоящая галлюцинация. Я согласен, чтобы меня доктор осмотрел. Все слова этой книжки я слышал подряд. Я говорю себе: «Стыдно, Кузьмин! Ты слесарь-инструментальщик. Ты строишь этот завод, как честный пролетарий». А он мне и нашептывает: «Поверни! Поверни!» Так я и пошел на это преступление. Я прошу только об одном: дайте мне загладить вину работой! Потому, что это не вредительство врага, а исключительно личная трагедия».

Восемьсот человек жадно следили за лицом Толи: они ему верили. Володя стоял в толпе строителей. Когда Толя заговорил о духе, он весь побелел. Это было внезапным прояснением: перед ним встала ночь в Кузнецке и сумасбродный монолог. Он не помнил в

точности, что он тогда говорил, но в словах Толи он услышал искаженный отзвук тех признаний, о которых знала только тетрадка в сундуке. Первой мыслью Володи было: надо сказать! Он стал протискиваться вперед. Кто-то прикрикнул на него: «Не толкайся! Всем интересно!»

Володя вдруг задумался. Первый порыв прошел. Он говорил себе: необходимо выступить! Я трус и двурушник, но я не подлец. Я должен подойти к председателю и сказать: «Дух — это я. О Достоевском говорил тоже я. Он никогда не читал этих книжек. Я ему сказал, что человек важнее машины. Он ничего не понял. Он не виноват. Виноват я. Меня зовут Сафонов, и вы можете меня судить. Я не вредитель. Я вообще слишком труслив для поступков. Я только рассуждаю. Он оказался глупее и смелее. Я никогда не мог бы сломать машину, хотя бы потому, что я презираю машины. Бороться с ними так же глупо, как и поклоняться им. Вы воспитали машинопочклонников. Следовательно, вы воспитали и машиноборцев. Я книжная крыса и скептик. Я человек другого круга и, наверно, другого класса. Я знаю, что Достоевский выше этого рычага, но рычагу нет никакого дела до Достоевского. Следовательно, все в порядке, и вы можете меня торжественно осудить».

Он повторил про себя эту речь. Он даже увидел себя на трибуне. Почему-то он подумал: надо снять очки, без очков лучше... Но тотчас же он усмехнулся: рядом с таким пошляком!.. Он теперь не мог без отвращения смотреть на Толю. Наверно, и председатель думает: почему от него воняет?.. Он весь какой-то напояженный... Значит, Сафонов будет осужден вместе с этим юродивым за вредительство. После Сенеки — рычаг. До чего это глупо!

Володя забыл приготовленную речь. Он теперь чувствовал только страх: вдруг Толя назовет его? Он боялся не наказания, но позора. Он сказал себе: «Трус», и сейчас же попробовал оправдаться: нельзя отвечать за чужие поступки. Представив себе, что его могут посадить рядом с Толей, он покраснел от стыда. Он решил уйти. На него зацыкали, но он протиснулся к двери. Остановила его мысль: если Толя назовет — отложат... Лучше уж сразу!..

Председатель сказал Толе: «Насчет Достоевского вы оставьте, это не литературный диспут. А если вы говорите, что вас подговорил «дух», то у этого «духа» имеется имя. Кто же ваши сообщники?»

Все замерли: вот, сейчас назовет! Кто они? Монархисты? Эмигранты? Шпионы? Толя ответил не сразу, и Володя пережил тяжелую минуту: он видел, как губы Толи складываются, чтобы выговорить «Сафонов». Он готовился пройти вперед и ответить: «Владимир Сафонов, родился в 1909 году, сын врача». Он теперь не произнес бы никакой речи. Он ответил бы на вопросы председателя послушно и тихо, как школьник.

Наконец Толя сказал: «Сообщников у меня нет. Разве что водка и жизнь. Очень меня жизнь озлобила. Еще Груня. А потом я чересчур много думал о глупостях, вроде как о философии. Вот и результаты...»

Напряжение спало. Володя вынул из кармана платок и осторожно вытер лоб. Он сказал соседу: «Очень жарко». Тот ответил: «Ну и сволочь этот Кузьмин!» Потом говорили какие-то люди. Володя их не слушал. Толя просил о снисхождении. Наконец председатель прочитал приговор: пять лет.

Володя вышел из клуба вместе со всеми. Он теперь радовался, что стоял позади и что Толя его не увидел. Он подумал: а ведь Толя герой — он так и не назвал Володю. О себе Володя старался не думать. Его мутило от страха и от гадливости. Но надо было что-то делать: идти в столовку или на занятия. Тогда он отчетливо понял, что он не может больше оставаться на стройке. Он должен уехать, все равно куда. Он зашагал по направлению к станции. Потом он вспомнил про тетрадку и пошел домой. Он взял сундучок и сказал Костецкому, что едет в Томск на неделю. Он назвал Томск — это было первое, что пришло в голову.

Столь же машинально он спросил бородатого железнодорожника: «Когда поезд на Томск?» Поезд шел через час, и Володя этому обрадовался. На станции было много народу: провожали какую-то делегацию. Володе показалось, что среди провожающих — Ирина. Он подбежал, чтобы проститься, но оказалось, что это — не Ирина: он ошибся.

Он подумал об Ирине. Он подумал о ней просто и ласково, как о чем-то очень далеком. Он хотел, чтобы ей было хорошо. Он жалел, что не повидал ее, не сказал: «Спасибо, Ирина!» Только это и мог он теперь ей сказать: она была давно, в другой жизни. Тогда Володя еще мог радоваться. Она была с ним очень добра. Когда он отчаивался, она

его утешала. Но как давно это было! Теперь все кончено, все, все. Вот и поезд!

На стройке не было ни театров, ни деревьев, ни улиц, но стройка числилась городом, и в этом городе были: горком, бюро красных партизан, техникум овощеводства, литконсультация по поэзии, клуб нацменов и фотоартель. Стройка, однако, оставалась стройкой. Как прежде, клепальщики на морозе клепали кауперы, а в душных бараках строители ругали харчи и говорили о большевистских темпах.

На третьей домне стал электромотор. Бригадир Антомонов сказал: «Снова прорыв!..» У него оборвался голос, и он уныло махнул рукой. Мотор подали к вечеру. Тогда Антомонов собрал рабочих: «Ребята, не уйдем, пока не кончим!» Его бригада проработала три смены подряд. Первый каупер третьей домны был закончен. В тот же день ударные бригады бетонщиков начали фундамент под новую домну: это была домна четвертая, и она рождалась так же напряженно и мучительно, как первая.

Когда зажгли первую печь мартена, строители стояли вокруг в молчаливом восторге: колхозники, монтажники, казахи, мордвины, спецпереселенцы и втузовцы. Шор от волнения отвернулся. Но сейчас же он закричал: «Что вы делаете, черт бы нас побрал? Надо нагреть изложницы».

Инженер Гаврилов диктовал Ластовой: «Сегодня выдана десятая плавка: 155 тонн». Ластова, отстучав, улыбнулась — она радовалась победе. Потом она тихо шепнула Загребинной: «Кажется, завтра будут выдавать монпансье».

Маркутов выступил на пленуме с докладом. Он говорил «Необходимо форсировать газопровод! Наш лозунг: бить морозы в лоб!» Потом Осицкий сказал: «Предлагаю почтить вставанием память товарища Ромашовой, которая погибла на боевом посту». Все встали. У Маркутова глаза были еще серее и грустнее обычного. Ромашова была его женой. Она умерла от плеврита, простудившись на ночной работе. Маркутов снова попросил слова и сказал: «Морозы нас не могут остановить. Мы должны закончить в этом квартале пятьдесят тысяч кубометров бетонных работ».

Куликова представила доклад о постройке детской площадки на семьдесят человек. Тапчаев положил резолюцию: «Категорически нет средств». Куликова не успокоилась. Она поехала на лесозавод и произнесла горячую речь. Рабочие постановили сделать сверх плана стулья, столы и кровати. На торжественном открытии площадки выступил Батиков. Он сказал: «У нас многие работницы не выходили на работу — не на кого было оставить ребятишек. Теперь семьдесят работниц смогут принять активное участие в стройке. Я предлагаю выбрать товарища Куликову ударницей коксового цеха». Куликова взяла на руки двухлетнего мальчугана и зачмокала: «Тю-тю!» Мальчуган от страха заревел. Девочка постарше подошла к Куликовой и деловито спросила: «Когда будут давать кашу?»

На вечере, посвященном культурному строительству национальных меньшинств, выступил казах Имамбаев. Он сказал: «Когда я приехал сюда, меня поставили землекопом на стройдоменном цехе. Я не знал, что такое цех. Были здесь казаки, которые приехали до меня. Я их спрашивал, что такое цех. Они мне отвечали: «Это сек». Сек по-нашему это баран. У баранов разная шкура, и у нас в деревне говорят: «красный сек и доменный сек». Они говорили мне: «Здесь коксовый сек и доменный сек» — они думали, что цех это сек. Они ничего не понимали. Я спросил комсомольцев, и комсомольцы мне объяснили. Я понял, что такое цех, и я рассказал другим казахам. Теперь они хорошо понимают, что такое цех, и никто из них не поедет домой. У нас, когда нет дождя, нет хлеба и казахи сидят голодные. Зачем гонять скот, когда можно работать на цехе? Мы теперь только начинаем жить». После Имамбаева говорила молодая казашка: «Мы прежде жили хуже скотины. Мужчины ели мясо, а женщины стояли позади и ждали, когда им кинут кость. А теперь я в ударной бригаде. Я вчера на курсы записалась...» Она смутилась и больше ничего не могла вымолвить. Ей много аплодировали. В углу сидел старый бородатый казах. Он хитро шурился. Он сказал: «Ну и бесстыдники», а потом начал аплодировать.

Зубаков сказал Путилову: «Необходимо устроить театр. Вот в Анжерке замечательная труппа: четыре заслуженных артиста». Путилов помолчал и вдруг сказал Зубакову: «Знаете, я ведь приехал сюда в апреле двадцать девятого. Тогда здесь ничего не было, ровно ничего. Нас приехало сто сорок человек. Два шофера. А дорог

никаких. Теперь я пляжу и глазам не верю. Смешно?» Зубаков сказал: «Грандиозно! Но как же насчет театра?»

Возле стройки находились Осиновские рудники. Прежде там была деревня Осиновка. Деревню снесли. Осталось кладбище: на нем хоронили рабочих. Кладбище было занесено снегом, и только один крест повыше других торчал из-под снега. В солнечное утро на кладбище пришли два инженера: Власов и Ройзман. Власов подошел к деревянному кресту и снял шапку. Он сказал Ройзману: «Здесь похоронен доменный мастер Курако. Это очень странная история. Давно, еще до войны, Курако мечтал о постройке Кузнецкого завода. Он работал над проектами. Я видал один из проектов — это гениально. Никто не хотел его слушать. Он жил в бедности. Он умер от сыпняка в девятнадцатом году. Тогда людям было не до стройки...» Ройзман поглядел на лицо Власова, которое сразу стало суровым, и тоже снял шапку. Он не знал, что ему сказать. Тогда Власов неожиданно его спросил: «Почему у вас перебои с углем?» Они заговорили о работе.

Вербовщики продолжали вербовать крестьян. За одну декаду прибыло девятьсот тридцать человек завербованных и сто восемьдесят четыре самотеком. Из Чехословакии приехали безработные шахтеры. Жена Франца Кубки, вздохнув, сказала: «Франц, как же мы будем здесь жить? Здесь нет ни кофе, ни сливок, ни масла». Франц Кубка обозлился и закричал: «Мало я намучился? Здесь есть работа, и то хорошо».

Засыпало землей четырех землекопов. Резанова откопали живым. Тарасов его спросил: «Куда же вы, дураки, полезли?» Резанов не ответил. Он молчал час, два. Иногда он хватался за голову и начинал мычать. Пришел доктор и сказал, чтобы Резанова тотчас же отвезли в лечебницу. Тарасов насупился: «Вот тебе — человек языка лишился! Не хочу я здесь работать! Это не работа, это черт знает что!» Панасенко ему ответил: «Что же, если ты приехал за длинным рублем, уезжай! А я останусь. Я приехал сюда, чтобы строить».

Шумели бураны, и пронзительно кричала воздуходувка. Люди продолжали строить. Они строили новые кауперы, туннели, мосты, газопроводы и шахты. Как прежде, они строили день и ночь.

Колька Ржанов ходил хмурый и молчаливый. Он был занят теперь одним: он хотел построить свой кран. Все свободное время он что-то

чертил. Ирина его спросила: «Ты завтра пойдешь в кино?» Он невпопад ответил: «Если под углом, обязательно подцепит...» Ирина рассмеялась, рассмеялся и Колька. Он в смущении крепко ее расцеловал, а потом проворчал: «Все-таки я его построю!»

Колька показал чертежи Соловьеву, но тот рассмеялся: «Кому это теперь нужно?» Так говорили и другие инженеры: они знали, что существуют настоящие краны, и чертежи Кольки им казались игрушкой. Только слесарь Головин внимательно выслушал Кольку и сказал: «Попробуем. Может, и выйдет».

Три недели спустя Колька и Головин подтащили к яме диковинное сооружение из бревен. Деревянное чудище вытянуло шею над ямой. Колька закричал Головину: «Верти за хвост!» Лебедка тотчас же подняла щит. Землекопы сначала недоверчиво глядели на кран, но когда они поняли, что кран и вправду подымает щит, что больше им не нужно таскать этот щит на плечах, они весело заулыбались. Головин сказал: «Ребята, качай Кольку!» Колька подлетел высоко, чуть ли не до морды своего деревянного зверя.

Подошел инженер Херсонский. Сначала он иронически прищурился: «Что это за белиберда?» Ему показали, как кран подымает щит. Херсонский проворчал: «Да, конечно... А все-таки лучше было бы поставить настоящие краны...» Он не завидовал успеху Кольки, но он знал свое дело, и он никак не мог понять это дикарское изобретение.

Однако, встретив Шора, он сказал: «Ну, у нас теперь не только моргановский кран, но и свой доморощенный. Посмотрите, все-таки интересно, простой рабочий, а додумался». Шор возле крана застал Кольку. Он сразу узнал его и вспомнил разговор о Морозове.

Кто знает, сколько людей перевидал на своем веку Шор? Он тотчас же забывал их имена, но он помнил лица. Он помнил лица лавочников, тюремщиков, парижских консьержек, солдат, английских дипломатов, крестьян, он помнил тысячи лиц. Все чаще и чаще, среди ночной тишины, эти люди обступали Шора, и он мучительно морщился: у него не было времени для воспоминаний.

Шор, посмотрев на кран, закричал: «Здорово! Ведь подымает, да еще как!» Потом, задумавшись, он сказал Соловьеву: «Конечно, это выпадает из стиля — американщина, а рядом такое. Но ничего не поделаешь: из курной избы в небоскреб сразу не прыгнешь. Лучше уж

эта штуковина, чем на спине таскать». Он подозвал к себе Кольку. Колька, волнуясь, следил за глазами Шора — глаза улыбались. Тогда Колька робко сказал: «У меня никакого технического образования...» Шор прикрикнул: «Сразу видно! Но вот голова у тебя на плечах — это самое главное. Образование пригоним. Ты что, на курсах? Ну вот и хорошо. А с осени мы тебя в Томск пошлем. В техникум. Я сейчас запишу. Голова у меня дурацкая: помню, что ненужно». Он крепко пожал руку Кольки, и Колька готов был прыгать от радости. Но он сдержался и простоял не двигаясь, пока Шор не ушел.

Потом он побежал к Ирине, — на счастье, у нее был выходной день. Он вбежал в ее комнату и закричал: «„Старику“ понравилось! Сказал, что меня в техникум пошлют. В Томск. Сказал, что хорошо придумано. Четыре раза при нем проверяли. Он и в книжку записал». Он хотел все сразу рассказать Ирине, но он не мог рассказать о самом важном: о том, как ласково светились глаза «старика», когда он глядел на Кольку. Он только, смущаясь, добавил: «Он со мной хорошо говорил, очень хорошо».

Они долго и шумно радовались, и все, что они делали, было праздничным. Пили чай, как в гостях, с медом: Ирина достала где-то банку. Колька обсасывал ложечку и смеялся. Потом Колька показал, как Херсонский разговаривает с немцами, и это было очень смешно, а может быть, и ничего смешного здесь не было, но они смеялись. Ирина сказала: «Вот ты в Томске увидишь профессора Ивашева. Он в пенсне и вдруг забывает, что говорил, и говорит «господа», честное слово!..» И они снова рассмеялись.

Колька сказал: «В Томске хорошо заниматься. Тихо. Только скучно мне будет без стройки. Зато научусь. Буду инженером. Тогда-то начнется самое интересное. Построим завод раза в два больше этого. К тому времени у нас только и начнут строить по-настоящему. Ведь еще ни черта не сделано. Я на Урале видал эти старые заводишки — все надо сломать. Или в Восточной Сибири — какая там дичь! Вот туда и пошлют. В разведку. Я сделаю проект...»

Он снова размечтался. С его лица теперь не сходила улыбка. Ирина ему рассказывала о Томске, о профессорах, о зачетах. Он слушал внимательно и в то же время рассеянно, как слушают дети сказку. Он не мог себе представить, что скоро это будет его жизнью и что эта прекрасная жизнь в больших светлых аудиториях окажется

только вступлением к другой, с чертежами, эстакадами и мостами. Он сказал: «Чудно — Колька, и вдруг инженер...»

Потом Ирина неожиданно сказала: «Значит, осенью расстанемся, и надолго». Колька перестал улыбаться. Он постарался как можно беспечней ответить: «Ничего, я на практику сюда приеду!» Но это не утешило ни Ирину, ни его самого. Тогда он сказал: «Зачем теперь думать о том, что будет осенью! До осени далеко!» Они сразу развеселились: полгода для них были целой жизнью. Колька признался: «А трудно будет без тебя!..» Ирина просияла — если так, значит, они никогда не расстанутся! Она сказала, улыбаясь: «Ничего, привыкнешь». Но Колька ответил: «Ты, Ирина, не смейся! Это всерьез». Больше они не могли разговаривать, они сидели молча друг против друга и улыбались.

Вдруг Колька снова рассмеялся: он вспомнил свой кран. «Ты знаешь, Ирина, и во сне такое не приснится! Я видал в атласе жирафа. Вот, если сделать жирафа из спичек... Твой Сафонов правильно сказал «каменный век». Скажи, Ирина, ты с ним видишься?..»

Ирина удивленно посмотрела на Кольку. Он смутился. «Ты что это думаешь? Я и забыл. Вскипятился тогда, и все... Я это просто спросил. Он, кажется, умный парень. С таким поговорить интересно. Мы в тот раз сцепились. Я-то знаю почему. А он принципиально. Хотя, может быть, и он из-за этих чувств. Это ведь, как по голове трахнут — ничего не понимаешь. Меня что обижает — вот вы встречаетесь, говорите, наверно, о книгах, о людях, мне ведь тоже интересно... Неужели через такое нельзя перешагнуть?»

«Может быть, когда-нибудь. Но тогда и не на земле люди, а парят. Вот если бы ты полюбил Варю, разве я могла бы сидеть и слушать, как вы разговариваете? Не так это просто переделать. Может быть, через сто лет... А пока что трудно. Я Володю с того вечера не видела. Мне это самой странно. Я думала — сжились по-человечески — настоящая близость. Но и это не выстояло. Он не приходит. Наверно, так лучше. Все-таки обидно — я даже не знаю, что он теперь делает. Он мне сказал, будто приехал, чтобы окончательно во всем разувериться. Но это слова. Он из-за меня приехал. А когда встретились, оказалось, что и говорить не о чем. Вот, как нарочно: он — в одну сторону, я — в другую. Если рассуждать логически, выходит, я его обманула. Только в

этих делах нельзя рассуждать. Я когда о нем думаю, сердце сжимается: не может он жить, никак не может!..»

Колька еще никогда не видел Ирину такой печальной. Он быстро поддался ее чувству. Он не думал о Сафонове. Он был полон беспричинной грусти. Он боялся что-либо сказать, боялся неосторожным словом еще больше огорчить Ирину. Наконец он робко проговорил: «Может быть, и не так это. Может быть, он увлечется работой...»

«Я его прежде понимала. Не совсем, но все-таки понимала. Теперь — не знаю: я сильно перевернулась. А он не меняется. Он весь готовый. Один только раз я почувствовала, что я старше его. Я не могу тебе рассказать, как это было. Но я тогда расплакалась, а он ничего не понял. Впрочем, это чепуха. Он не то старше, не то старей. Я хочу тебе объяснить и не могу: у меня для этого слов не хватает. Я себе сейчас представила, как он усмехается. Вроде гримасы. Но это не от злости. Мне всегда в такие минуты казалось, что он задыхается. Знаешь, как рыба, когда ее вытасят. Он говорит, что теперь безобразная жизнь. А я вот думаю — как жила моя мать? Училась в гимназии. Танцевала. Ходила в театр. Потом вышла замуж. Папа работал в депо. Он с утра уходил. Она сидела дома или ходила в лавки или к сестре. Нянчилась с нами. Скучно это, так скучно, что страшно подумать! А что будет через сто лет, я не знаю. Может быть, будет замечательно. А может быть, тоже скучно: все построят, наладят, научат всех думать. Это, конечно, хорошо. Только куда интересней теперь. Все приходится делать своими руками. Как ты — этот кран. Я говорила Володе, а он отмахивался. Может быть, он не вовремя родился. Раньше такие люди были счастливы. То есть счастливы они не были, наоборот. Но тогда всем казалось, что быть несчастным — это очень благородно. Он был бы в своей среде. А это для человека главное. Его горе в том, что он честен, ни за что не хочет приспособиться. Сколько у нас таких — в душе на все плюют, а публично распинаются! Володя не умеет обманывать. Он и себе не врет. А верить — он ни во что не верит. Как же ему тогда жить? Иногда мне кажется, что мы все перед ним виноваты, виноваты тем, что живем, работаем, веселимся. А иногда меня злоба берет. Посмотришь кругом: ужас, вши, люди надрываются, надо дело делать,

минуту потерять и то страшно, а он ходит с цитатами. Тогда я, кажется, сама готова сказать: «Уж лучше стреляйся!..»

Ирина выговорила это залпом и, выговорив, она сразу успокоилась, как будто ее освободили от чего-то очень мучительного. Она часто вспоминала Володю, но только теперь, рассказав о нем Кольке, она поняла, как много времени утекло с Томска, как отошла она от того, что ей казалось тогда жизнью.

Колька сидел молчаливый и сумрачный. Он был силен, когда приходилось сталкиваться с жизнью лицом к лицу, но, попадая в чащу сложных чувствований и противоречий, он неизменно терялся. Он не понимал, что происходит в душе Ирины? Почему она так безжалостна к этому Сафонову? Он сказал: «Здесь, Ирина, что-то не так. Если даже он чужой, он может перестроиться. Возьмем Ваську Морозова. Его не узнать. А ведь это кулак, темнота, у него жизнь и не в голове, а в крови. Сафонов другой. Он думает. Он и не похож на врага. Я это тогда зря сказал. У врагов зубы. А он какой-то неприкаянный. Выпал, а на место не поставили. Вот я тебя слушал и все время думал: может быть, это наша вина? Очень быстро мы людей отшиваем: раз-два, и прощай! Я буду с тобой говорить откровенно. Ты пойми: с моей стороны это не любопытство. Я никогда не спросил бы... Но вот вы, что называется, друг дружку любили. Ты хорошо видишь жизнь. Я с тобой душевно вырос. Два человека мне так помогли: ты и «старик». Почему же ты его не выволокла? Это легко сказать: «стреляйся». Но я в это не верю. Человеку надо помочь. Да и ребята у нас неплохие. Только заняты все по горло, некогда, спешат. А потом человек и вправду стреляется. Это, Ирина, не дело!..»

Ирина спокойно его выслушала. Ее лицо стало сразу строже и взрослей. Она сказала: «Вот всегда так — в жизни вы умные, а как дело доходит до чувств, девчонка и та скорей поймет. Ты что думаешь, если я тебе сказала, это значит, мне сейчас в голову пришло? Я и сказала потому, что — кончено. Не о чем больше толковать! Может быть, останься я с ним, он был бы на столько-то счастливей. Но ты с твоим Морозовым поговорил по душам, и все. А здесь надо не по плечу хлопать, но жизнь отдать. На это я не согласна! Не могу. Просто я не такая. У меня это выйдет, как в театре. В этом все дело. Для него наша жизнь — пошлость. А для меня он ненастоящий. На сцене можно, а здесь, в Кузнецке, — нельзя. Ты подумай, как это звучит

просто: краны, школа, выходные дни, столовки. Если так перечислить, получится ерунда. Да и у нас с тобой: ну, встретились, ну, любят. Даже романа об этом не напишешь. Вот Варя все время жалуется: «В романах хорошо, а у меня ничего не выходит». Я слушаю и смеюсь — может быть, у нее с Готовым куда лучше, чем в романе. Только нет таких фраз. Времени не хватает. А может быть, и охота у людей прошла. Я думаю, что и жизнь у нас замечательная, и любим мы друг друга по-настоящему. Но трагедии, конечно, не поставишь — «Ирина и Колька». Для трагедии я курносая...»

Она вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Колька, улыбнулся нерешительно, как будто стыдясь своей улыбки. Потом он встал, обнял Ирину и сказал: «Я тоже так думаю». Это показалось ему глупым. Он пробормотал: «Ну и положил резолюцию!» Обоим теперь было весело и легко.

Они подошли к окну. Из окна была видна вся стройка. Трубы и огни говорили остальное: Ирина и Колька были на своем месте. Они твердо знали, что им делать.

Колька посмотрел на часы и заторопился: у него была ночная работа. Ирина сказала: «Да ты застегнись — простудишься». Он весело ответил: «Никогда!»

Кладбище находилось по соседству с исправительной тюрьмой. Новых покойников хоронили возле главных ворот, и редко кто из посетителей забирался в глубь кладбища. Там было дико и неприятно. На земле валялись деревья, вырванные бурей, и сбитые с могил кресты.

Пятнадцать лет революции изменили население города. Мало в нем осталось старых томичан. У покойников больше не было ни родственников, ни друзей, ни врагов. Это было кладбище древнего племени, заселявшего некогда город. Могильные эпитафии казались сделанными на чужом языке. Только Володе и могло прийти в голову расшифровывать эти имена и даты.

Могила купца первой гильдии Феофана Санникова была некогда пышной. Часовню окружала чугунная решетка екатеринбургской работы, с ангелочками и вензелями. Решетка была поломана, а в часовенке валялись осколки бутылок. На двери было написано: «Блаженны плачущие!»

Рядом с Санниковым был похоронен классный надзиратель Виссарион Крачевский. Его могила была украшена эмалированной фотографией. Володя увидел густые усы, выпуклые рачьи глаза и высокий воротничок с углами. Над фотографией значилось: «До свиданья там! Твоя безутешная супруга».

Среди кустарников торчал старый восьмиконечный крест. Имя на нем стерлось, сохранились только стихи: «Прохожий, не гордись, мой попирая прах. Я дома, ты в гостях». Володя долги простоял возле этого креста. Он как будто обрадовался, среди скучных имен и лицемерных клятв разыскав эту грустную сентенцию. На минуту ему показалось, что он сидит в библиотеке. С недоумением он поглядел вокруг: солнце, снег, кресты. Он еще, кажется, в гостях. Да и нет у него никакого дома!..

Потом он задумался: что они делали, эти вздорные мертвецы? Супруга педеля, наверно, вскоре утешилась. Она носила большие корсеты. Может быть, купцу первой гильдии и довелось расстегнуть ее корсет? У купца была бакалейная лавка, где-нибудь на

Воскресенской горке, и доходный дом. Он драл семь шкур. Никогда в жизни он не плакал. После обеда он храпел на весь Томск. Когда наконец-то он умер, его сыновья на радостях напились до положения риз: сколько лет они молились, чтобы господь прибрал этого скупердягу! Потом они заказали памятник: «Блаженны плачущие!»

А этот философ? Что он подельывал в гостях у жизни? Чем торговал — воском или белорыбицей? А может быть, он просто валялся на оттоманке и бил по щекам краснорожую Груньку? Ведь глубина мысли определяется степенью безделья. Тогда не было темпов. Тогда ставили самовары... Володя поморщился и повернул к выходу.

Кругом высились столбики, украшенные пятиконечными звездами: это были могилы коммунистов. Кой-где лежали рыжие замерзшие цветы. Рабочий поплевал на ладонь: земля не поддавалась. Кладбище сразу ожило: здесь оно сливалось с городом. Накренился последний крест: «Здесь упокоился раб божий, красный партизан Иван Медведев». Вокруг креста было много звезд: «Здесь покоится Василий Перлов. Член ВКП(б) с 1918 г.», «Здесь похоронен Марк Гольвиц. Ударник».

Володя усмехнулся: что же переменилось? Они говорят: «энтузиазм». Прежде это называлось верой. Она родилась в тот самый год, когда палили иконы и потрошили мощи. «Член ВКП». «Марк ударник». Так хоронили бессребреников. Но эти не были в гостях. Они были у себя дома. Наверно, они строили кауперы или крольчатники. Вроде Кольки. Потом они надорвались... Как это величественно и как глупо! Володя пожал плечами: суета стройки продолжалась. Он еще раз пробормотал: «Величественно и глупо».

Он собирался было уйти, когда его остановил старичок в плешивой шапчонке. «На могилку пришли?» Володя ответил нехотя: «Гуляю». — «Ну, это и лучше. А я вот пришел посмотреть, не стащили ли чего. Сын у меня здесь. Комсомолец. Хотел я его похоронить по православному, товарищи не дали. Вот и звезду поставили. Я политики не касаюсь, но крест, по-моему, куда чувствительнее. Вот вы — человек молодой, интересно, как вы на этот счет думаете?» Словоохотливый старичок раздражал Володю. Он ответил сухо: «По-моему, все равно. Умер и умер». Старичок не унимался: «Ну а все-таки, что, по-вашему, больше соответствует человеческому чину?»

Тогда Володя повернулся к нему и крикнул: «Ни креста, ни звезды! Поняли? Просто кол. Осиновый». Он быстро убежал прочь.

Он больше не давал себе отчета в своих поступках. Зачем он пришел на это кладбище? Зачем полдня просидел на вокзале, среди чайников и узлов? Зачем, наконец, приехал в Томск?.. Всю дорогу он пролежал, прикидываясь спящим. Он не пошел в общежитье. Увидев издали Петьку Рожкова, он бросился прочь. Потом подошел вечер. Надо было где-нибудь приютиться. Володя растерянно оглянулся и побрел к Фадею Ильичу.

Фадей Ильич когда-то был конским барышником. Он любил с гиканьем носиться на резвых. После революции он присмирел, но не увял. Он заведовал конюшнями горсовета. Когда на него находила тоска, не задумываясь, он шел в «Коммерческую столовую». Водку он пил из чайных стаканов и называл ее «водицей». Выпив бутылку, он багровел и начинал говорить о тщете жизни. Он говорил о том, что зря обидел покойницу Машу, что прежде были кони, а теперь пошли коняги, что все мы окочурились и что не стоит человеку парить в небесах, если все равно из него вырастет лопух.

Фадею Ильичу оставили его маленький домишко возле самой Томи. Володя робко сказал: «Я теперь в командировке. На несколько дней. Вы меня пустите, Фадей Ильич. Я вам заплачу». Фадей Ильич посмотрел на Володю и буркнул: «Ладно! Только баб ко мне не води. Я человек нравственный. Не могу я бабья видеть — кровь во мне играет. Мигом отобью!» Он загоготал. Володя напряженно подумал: кажется, надо улыбнуться... Ему все казалось, что он в клубе «Красный металлист» и что Толя говорит: «Дух — это Сафонов».

Ночью он плохо спал. Лезли в голову глупые мысли. Может быть, уехать в Китай и поступить там в какую-нибудь армию? Все равно в какую, лишь бы не знали, кто он. Потом он решил отправиться утром в милицию. Он скажет: «Меня следует задержать — это я подбил Толю Кузьмина». Он вспомнил сугробы и Достоевского. Прежде легко было каяться: выслушивали, жалели, романы об этом писали. А теперь? Пошлют к черту: «Не мешайте, гражданин, работать». Или скажут! «Ладно! Виноват так виноват». Отправят на рудники. Снова уголь. Потом чугун. Потом сталь. Потом прокат. Блюминг еще не пустили... Зачем же книги? Зачем Достоевский? Одно из двух. Приходится отметить: духа в окрестностях не замечено. Вот только

Толя увидел... Дух — это Сафонов. Злой дух. Нет, слишком громко сказано. Просто чертик. Такого можно носить в кармане, никто не заметит. Можно с ним пойти на собрание. Даже выступить: «Товарищи, жизнь только здесь!» Смолин одобрит. Кстати, как звали этого Смолина? Кажется, Васька... А Толя? На каком основании он — Толя? Самозванство. Он попросту Толька. Достоевский — и рычаг ломать — какая гадость!..

Он вышел из дому рано утром. Фадей Ильич шутил и смеялся. Володя молча прошел мимо. Ржали лошади. Он пошел, не думая ни о чем, к библиотеке. Но у ворот он остановился. Наталья Петровна еще тогда крикнула: «Уйдите! Вы хуже всех!» Она первая догадалась, что он преступник...

Володя не пошел в библиотеку. Он долго бродил по молчаливым улицам. Он старался не замечать ни домов, ни людей: он боялся воспоминаний. Он купил газету и прочел ее от начала до конца. Он даже подумал: здорово! На мартенах Кузнецк обгонит Магнитку...

Под вечер он очутился на улице Фрунзе. Там жила Ирина. Он вспомнил, как он тогда ломался: закурил папиросу, медленно дошел до угла. Он своего добился: Ирина его ненавидит. Что же, так лучше! Если есть кто близкий, страшно умереть. А у Володи никого нет. Почему же все-таки страшно?.. Страшно от одиночества. Хоть бы попался кто-нибудь знакомый! Все новые лица. Общежитье переехало. «Товарищ, вы не знаете Рожкова? Петьку? Или Шварца? Ну, когонибудь с математического? Вузовец, которого Володя остановил, ответил: «Я в педтехникуме». Володя тоскливо подумал: как Ирина. Ирины теперь нет. Ирина в Кузнецке. Он один. Совсем один.

Он увидел огни и людей. Он кинулся туда — это был цирк. Он старался улыбаться и аплодировать. Когда эквилибрист прыгнул с трапеции, он смутно подумал: вот так бы!.. Он больше не глядел на арену. Он погрузился в мысли, вязкие и жадные. «Поставить точку» — это Маяковский когда-то написал. Что же, он поставил. Отец лежал в покойницкой. У него лицо было твердое и суровое. Значит, он успел обо всем подумать. Какие сугробы были в Кузнецке! Никогда он не видал таких сугробов. Скоро стают. Это ужасно: тогда начнется самое глупое. Например, черемуха. Ирина любила... Нельзя нюхать цветы! Почему никто не понимает, что это провокация? Впрочем, никого и нет... «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...» Вокруг Володи

шумела толпа. Но ему казалось, что он один, с тишиной. Он старался понять: о чем это он думает? Потом он догадался. Он кинулся к выходу, расталкивая людей. Он повторял про себя: об этом нельзя думать, нельзя, нельзя!.. В тумане мелькнули борода Фадея Ильича, противные разводы на обоях, шнурки ботинок. Почему-то Володя долго не мог развязать шнурки. Он лег и с отвращением подумал: нет, и на это не гожусь. Когда застрелился Чернов, говорили — трусость. А сколько для этого нужно сил! В голове все путалось. Он вдруг рассердился на себя: даже шнурки развязать не умею! Потом на него нашло оцепенение. Он робко подумал: может быть, это и не так страшно? Одуреть и — раз-два. Он машинально добавил: «три, четыре»... Он уснул, считая.

Утром он очутился на кладбище, а после кладбища — перед домом профессора Грима. Он сам удивился: почему он пришел сюда? Растерянный, он сел на лавочку и все старался понять, что его привело к этому дому с резными воротами? Прошлой весной Грим сказал ему: «Как-нибудь зайдите, потолкуем». Это было давно. В другой жизни. Если позвонить, Грим спросит: «Что вам угодно?» Как ему объяснить? Да и нужно ли еще объяснять? Кажется, все досказано, исписана тетрадка, пережит позор суда, Ирина сдана по назначению, остается тот конец, который почудился ему вчера за ловким прыжком эквилибриста.

Володя знал труды Грима. Он знал, что Грим не педагог средней руки, застрявший в провинции, но крупный ученый, Грим не ходил на собрания, не подписывал деклараций, не говорил о диамате, и в своем дневнике Володя называл его «непримиримым». Прежде, когда Володя еще мечтал о научной работе, он думал: буду как Грим! Один раз ему довелось поговорить с профессором. Он проводил Грима до дому. Он говорил о релятивизме. Грим улыбался, и Володя никак не мог понять, что означала эта улыбка. Потом он жадно всех расспрашивал: «Вы его знаете?» Но Грима мало кто знал: он жил замкнуто. В Томске о нем говорили, что это замечательный математик, однако большой дурак. Верней всего, его не замечали, как не замечали старых домов. Ему было шестьдесят два года.

Грим не любил говорить о том, что он называл «посторонними вещами». Эти «посторонние вещи» были всей жизнью. Охотно Грим разговаривал только о математике. Он думал, что он ничего не

понимает ни в политике, ни в любви, ни в людях. Жена сказала ему: «Вот Муся хочет выйти замуж за Кольчугина, а по-моему, этот Кольчугин негодяй». Грим, смущенно поморгав, ответил: «Я его мало знаю. Мусе видней — раз хочет, значит, он ей нравится». Жена хлопнула дверью и, не вытерпев, сказала заплаканной Мусе: «Твой отец не человек!» Это было давно, еще до войны. Муся вскоре развелась с Кольчугиным и вышла за Каплана. У нее было трое детей. Когда она спросила отца, куда лучше отдать Гришу — в девятилетку или в ФЗУ, Грим все с той же виноватой улыбкой ответил: «Я вот не знаю. Да это все равно. Он потом сам разберется...»

Вокруг Грима шла твердо налаженная жизнь. Жена требовала в распределителе, чтобы «ученому с мировым именем» выдавали балык. Муся собирала у себя всех дам Томска. Они танцевали фокстрот или играли в преферанс. Каплан носился с проектом новой стройки. Гриша играл с товарищами в мировую войну. Они вырезывали из газеты противогазы и били японцев. Орали ребята, гнусаво скулил патефон, Каплан размахивал руками, Муся разгуливала в заграничной пижаме, жизнь в доме кипела. Вся эта жизнь держалась на одном: в маленькой комнате сидел Грим и работал.

Он работал с утра до ночи, и жена, вздыхая, приговаривала: «Как машина!» Грим скрывал от близких, что он очень болен. Доктор, измерив давление крови, покачал головой, и Грим понял, что ему осталось немного. Он торопился: он хотел закончить свою основную работу. Об этой работе знали в Москве. Два года тому назад Грим выступил с докладом в Московском математическом обществе. После этого в Томск было послано специальное распоряжение: обеспечить Гриму сносные условия для работы. Домашние тотчас же ожили. Жена кинулась в распределитель: «Вы обязаны выдавать три кило масла!» Каплан стал приговаривать шепотом: «Я, знаете, зять Грима — того самого». Даже Гриша в школе заявил: «Я задачи не сделал — со мной дед разговаривал». Грим не думал ни о бумаге из Москвы, ни о распределителе, ни о проделках Каплана. Он продолжал работать.

Когда в его комнату провели Володю, он печально вздохнул — сколько раз он просил никого не пускать!.. Наверно, насчет зачетов... Мог бы в университете спросить!.. Он тихо сказал: «Что вам?» Володя приготовился к этому вопросу. Он быстро заговорил: «Вы как-то

позволили зайти к вам. Помните, я говорил тогда о релятивизме. Я вас не хотел отрывать от работы. Но сегодня у меня действительно важное дело. Я вас называл про себя «непримиримым». Это, конечно, наивно, но это выражает мое отношение. Я теперь совсем запутался. Не знаю, как из этого выйти. Да и стоит ли? Я пришел, чтобы задать вам дурацкий вопрос: как по-вашему, я могу еще жить или нет?»

Грим сказал: «Прежде всего, сядьте. Давайте поговорим спокойно. Почему вы не можете жить? Что вы такое наделали?» — «Собственно говоря, ничего. Можно, конечно, придаться. Я, например, говорил перед одним сумасшедшим о Достоевском. Он ничего не понял и пошел ломать машину. Это похоже на бред, но это так. Впрочем, об этом и говорить не стоит. Это деталь! Еще с Ириной... но это тоже деталь. Главное вот что — я не могу так жить! Вы не подумайте, что я какой-нибудь контр. Я прекрасно понимаю, что они правы. Но мне-то от этого не легче. Вы, наверно, и не знаете, что такое Домна Ивановна! Зато моих сверстников вы знаете — это ваши ученики. Я их зову «Петьками». Они учатся культурно сморкаться. От этого можно сойти с ума! Я все перепробовал. Я бросил математику — кому это теперь нужно? Конечно, вас признают, но вы мировая слава. Я уехал на стройку. Не помогло. Что же мне теперь делать?»

Грим сердито барабанил мундштуком по столу: «Должно быть, я и вправду выжил из ума. Я вот ничего не понимаю. Моим дамам теперь тоже не нравится: «На базаре грубияны» или: «Таким мылом нельзя мыться». Но ведь вы говорите о другом. У вас, например, Достоевский. Почему вы так озлоблены?» Я, правда, вижу только кусочек жизни. Но студентов я знаю. Чем они вам не нравятся? Подготовка, конечно, слабая. Зато какая энергия! Я помню старых студентов. Были и среди них идеалисты, но много было дельцов. Вроде моего зятя. Я лично предпочитаю теперешних. Они с таким жаром кидаются, что даже страшно. Вот вы говорите насчет стройки. По-моему, если строят, значит, так нужно — вопрос статистики. Теперь все говорят об этом чугуне. Вероятно, потому, что ничего нет. Построят, будет вдоволь гвоздиков или еще чего, тогда заговорят о другом. О поэзии, что ли. Я во время войны читал, что немцы все сады превратили в огороды. Роза от этого не стала картошкой. У них в это время такой Эйнштейн работал. Наверно, и поэты были. А о чем,

собственно говоря, жалеть? О томских купцах? Для науки это не подходит. Теперь в ОНО сидит... Забыл фамилию — рабочий, слесарь. А в каком-то плане я или слесарь — это одно и то же. Я и не хочу, чтобы на меня смотрели иначе. Все эти приказы из Москвы — меня лично это стесняет. Не будь семьи, я бы от всего отказался. В чем дело? Грим такой же рабочий. Просто область более отвлеченная. Главное, что они теперь работают и не только для себя. Был бы я помоложе, обязательно пошел бы с ними работать».

Володя слушал его, спокойный, но очень бледный. Он сказал: «Хорошо. Что же мне делать? Мне — вот такому, как я есть? Это глупо, что я вас спрашиваю. Я ведь сам знаю... С моей стороны это трусость. Но вы куда меня старше. Вы это верней чувствуете. Скажите мне прямо, как, по-вашему, — это очень страшно?»

Грим не понял, придвинув к Володе большое волосатое ухо, он переспросил: «Что?» Володя ответил: «Умереть».

«Я об этом никогда не думал. То есть о смерти я часто думаю. Но в связи с работой: страшно, что кончить не успею... А потом? Кажется, это просто. Как и все в жизни. Можно, конечно, накрутить: так и этак. А можно без фокусов. Но почему вы об этом говорите? Вы мне во внуки годитесь. Вам о зачетах надо думать, а не о смерти».

Грим внимательно поглядел на Володю. Володя попробовал улыбнуться. Тогда Гриму стало его жалко. Он вытер платком очки, пожевал воздух и забормотал: «Ну, ну! Хватит! Я вот старик. Напляделся. Жить приходится, как говорят, сжав зубы. У меня-то зубов нет. Все равно, сжимаю. Со стороны, кажется, все замечательно. Бумага из Москвы. Внуки. А поговорить не с кем. Спросите их — они скажут: «Из ума выжил». В карты играют. Патефон. Такая тоска берет! Вот и умру за этим столом. Да и с работой бывает трудно. Вот-вот, а не дается. Ничего, держусь. Даже доволен. А вам совсем грех. Я вам завидую. Вы-то увидите, как это кончится. Нехорошо, когда каждый только о себе думает. Вот и наука — тоже самопожертвование. Такой слесарь — он в математике ничего не понимает, а подход у него правильный. Я как-то спросил его: «Трудно?» Он засмеялся: «Мы не увидим, дети увидят». Вот и выходит, что для вас мы работаем».

Володя встал и глухо проговорил: «Нет, Иван Эдуардович. Для них, но не для меня. Их детей вы вывели в жизнь, а своих собственных

вы выдали с головой». Грим вспыхнул. На крик прибежала Муся, но он замахал руками: «Уйди!» Он кричал: «Кто это вас выдал? Предатели за границу убежали. Я вот ни одной лекции не пропустил! Стыдно вам, молодой человек! Старика обижаете. А только потому, что я в этих вещах ничего не понимаю...»

Когда Грим умолк, Володя тихо сказал ему: «Вы меня не поняли. Я вас не хотел огорчить. Конечно, вы никого не предали. Хорошо, что я к вам пришел. Я в жизни видел много чудовищного. Дядю. «Классовая эпизоотия». Наверно, он был охранником. Потом другой дядя — Мартын. Потом — Толя. Вы — настоящий человек. Хотя бы напоследок... Но почему вы сравниваете меня с собой? У вас был фундамент. Наука. Вы можете их учить. Они вас слушают. А я? Я должен с ними жить. Вы даже не понимаете, что это такое! У меня тетрадка в сундуке, а у них хоровое пение. Они отобрали Ирину, и это вполне естественно. С кем я оказался в итоге? С юродивым. Он помадится. Повернул рычаг. А потом — суд в клубе. Я себя чувствую сообщником. Это уже безумие. Знаю, знаю: история, неизбежность, смена культур. Это — в библиотеке. Вы знаете, я так напугал эту несчастную женщину. С моей стороны свинство! Но вы все же поймите, что мы остались ни к чему. Почему вы не запретили выдавать нам книги? Того же Сенеку. Надо было сразу сказать: «Готовьтесь к чугуну!» Не теперь — десять лет тому назад. Я прочел и свихнулся. С одной стороны — князь Мышкин, с другой — агрегаты. В мыслях я жил с какими-то «персонажами», а рядом храпел Петька. Он очень славный, добряк, он меня утешать пробовал. Вообще по отношению к ним я негодяй. Но что же мне делать? Для меня они не люди. Все, как один. Называется «коллектив». Проще говоря — стенка. Вот я и расшиб себе голову. На них я не могу сердиться. Они из другого теста. Например, Колька. У него вот такие плечи... А вы — как отец. Он Чехова читал. У него была гипертрофированная совесть. Отец умер. Я, должно быть, о нем вспомнил — оттого и пришел. Все на вас выместил. Как ребенок. Ужасно глупо! Но я больше не буду. Я вас очень прошу: не сердитесь! Я теперь постараюсь все уладить. Тихо, без шума. Больше я не хочу никого обижать. Хватит! Надо вот, как они говорят, смыться...»

Голос Володи задрожал. Он быстро выбежал из комнаты. Грим крикнул: «Погодите! Муся, да не пускай его! Нельзя его так

отпустить!.. Пусть он с нами чаю попьет. У тебя валерьянка есть?» Муся презрительно ответила: «Вот ты всегда с такими психопатами нянчишься!..» Грим сам побежал вниз, но у него дрожали ноги, и когда он добежал, Володи не было. Грим увидел в конце улицы согнутую спину. Тогда он поднялся к себе и снова сел за работу.

Вечером пришли гости. Муся хвасталась: «У меня зубровка — замечательная!» Патефон визжал: «Пей, моя девочка!» Каплан рассказывал еврейские анекдоты и, захлебываясь от смеха, повторял: «Понимаете — Мойша!..» Грим сидел у себя, закутав ноги в одеяло, и все еще работал. Потом, прислушавшись к голосам, он зевнул и впервые подумал: «Хоть бы скорее все это кончилось!..»

В тот вечер в «Коммерческой столовой» было как всегда шумно и чадно. Фадей Ильич пришел около одиннадцати. Официант сразу подлетел к нему и, фамильярно улыбаясь, спросил: «Водички?» Фадей Ильич мрачно кивнул головой. Официант шепнул кассирше: «С гнедым-то сорвалось — не в духе». Фадей Ильич молча опорожнил бутылку. Потом он позвал гитариста Сашку: «Пей!» Сашка попробовал рассказать, какой вчера приключился скандал: «Он, значит, сказал: «Это моя деваха» — и как заедет Боткину! Васька за милицией побежал...» Фадей Ильич прикрикнул: «Помолчи!» Он налил Сашке еще стакан. Он сердито подсапывал. Присела Маруся Чикова, но Фадей Ильич отмахнулся: «Иди! Не до тебя!»

К полночи посетители начали расходиться. Официанты уже сдвигали столы. Фадей Ильич крикнул: «Ну-ка, еще водицы!» Он залпом выпил стакан. Наконец-то он заговорил. Он сказал Сашке: «Подлец, как он меня обидел! Ну пустил — живи. Не надо мне твоих червонцев! А он такое со мной выкинул! К вечеру приходит и спрашивает: «Что, Фадей Ильич, коня покупаете?» Я даже удивился: с чего он такой разговорчивый? Два дня прожил — слова не сказал, а тут о коняге. Я ему отвечаю: «Это милый мой, не конь, а коняга». Ты-то знаешь — гнедой. Мы у депо купили. Для водокачки. На осмотр мне его привели. Он меня выслушал и улыбается. К себе пошел — вверх. Я повозился внизу и поднимаюсь — у него в шкафу книги лежат. Надо, думаю, записать конягу. А он висит на веревке и язык высунул. На меня смотрит. Да будь он живой, я бы его на месте раздавил! Подлец этакий! Мне, Сашка, что обидно? Почему он меня о коняге спросил? Если у него такое в голове было, какого черта ему о

коняге спрашивать? Пятьдесят шесть лет живу, а никто меня еще так не обидел!»

Фадей Ильич вытащил большущий старый кошелек. Там лежали медяки, гвоздики, квитанции и всякая дребедень. Он порылся в кошельке и вынул кусочек веревки. «Вот смотри! Отрезал. Ты думаешь — на счастье? Не верю я в счастье! Нет, это чтобы себя помучить...» Сашка весь побледнел. Он жалобно пролепетал: «Фадей Ильич, закрывают, а вы вот такое на ночь».

Шли дни и дни. Гудели грейферы. Молча работали люди. В коксовом цехе монтеры проложили электрическую линию слишком близко к дереву. Тепляк сгорел. Он горел быстро, и люди не успели остановить огонь. Тогда они начали строить новый тепляк. В шамотном цехе сорвалась вагонетка и придавила шесть строителей. В Прокопьевске засыпало шахту, и четыре дня не было угля. Потом на лесозаготовках рвач Огранов подбил рабочих: они потребовали сапог и сахара. У крепильщиков не было леса, и Шор кричал в телефонную трубку: «У нас нет угля! Понимаете, уг-ля!» Доменная печь № 1 простояла двадцать девять часов. В шахте «Коксовая № 1» шахтеры работали стоя в воде. Когда они шли домой, одежда на них замерзала. Шахтер Семенов сказал: «В Кузнецке стоит домна. Надо, ребята, налечь!» Шахтеры проработали две смены подряд. Домна № 1 снова пошла полным ходом. Газета печатала сводки: 806 тонн чугуна.

На пуск третьей домны приехали делегаты из Америки. Для них был устроен торжественный обед. Повара Купрясова и давние времена приглашали на купеческие свадьбы. Он решил показать американцам, что и мы не лаптем щи хлебаем. Он приготовил мороженое в виде домны, бисквиты были облиты пылающим ромом, а из окошечек вытекал малиновый сироп.

На обеде Шор сидел рядом с американским журналистом, который громко жевал, а между двумя блюдами, тупо глядя на Шора, спрашивал: «Все это хорошо, но где же у вас квалифицированные рабочие?..» Шор кротко отвечал: «Наши рабочие учатся». Американец снова принимался за еду.

Шор с трудом разговаривал. Еще утром он почувствовал недомогание: колело в груди, а ноги отмирали. Он даже подумал: может быть, взять отпуск? Но сейчас же он вспомнил о блюминге — надо раньше закончить блюминг. У нас сталь отстаёт... Пока американец жевал, он думал о газопроводе: налечь бы на газопровод!

Американец удивленно посмотрел на Шора: «Аппетит у вас плохой». Шор застеснялся: неудобно, еще подумают, что мы не умеем принимать. Он заставил себя проглотить кусок мяса. Когда принесли

мороженое, американец улыбнулся. Он сказал Шору: «У русского народа артистическая душа. Такие штуки вы делаете куда лучше, чем настоящие домны». Шор рассердился. Он ответил: «Плохо или хорошо, но мы теперь что-то строим, а не только разрушаем...» Американец не понял иронии и примирительно сказал: «Мороженое замечательное!»

В это время к Шору подошел Соловьев: «Григорий Маркович, на домне что-то неладно. Будто пожар». Шор хотел вскочить, но сейчас же подумал, что надо скрыть переполох от американцев. Он шепнул Соловьеву: «Никакой паники! Через пять минут я буду там». Потом, беспечно улыбаясь, он повернулся к американцу и захохотал: «Вот у вас мороженое едят вместе с содовой. Я пробовал — интересно». Он высидел несколько минут, а потом сказал соседям по столу, что должен отлучиться на четверть часа — необходимо проверить работу домны. Он обещал вернуться к кофе.

На домне люди потеряли голову. Иванников кинулся к телефону, но станция не отвечала. Тогда он крикнул Кольке Ржанову: «Беги скорей!» Колька бежал так быстро, что в ушах гудел ветер. На станции он увидел сразу Бачинского. Бачинский был весь белый. Он едва пролепетал: «Здесь тоже горит... кто-то поджигает...» Колька услышал запах гари. Вспыхивали сигнальные лампочки. Дежурные метались из угла в угол — никто не работал. Какая-то рыжая женщина валялась на полу без чувств. Колька закричал: «Что же вы, сволочи, не соединяете?» Никто на него не поглядел. Тогда он кинулся к Бачинскому: «Давай револьвер!» Он отобрал у Бачинского револьвер и крикнул: «Все по местам! Стрелять буду». Телефонистки побежали к аппаратам. Только рыжая женщина по-прежнему валялась на земле. Звонили отовсюду: стройка волновалась — пожар? Где пожар? Бачинский, немного успокоившись, начал осмотр здания. Огонь оказался вздорным: загорелся ящик с бланками. Пожар погасили до того, как приехали пожарные. Колька вытер рукавом лоб и сказал: «Рыжую облейте!»

Когда Шор подбежал к домне № 3, он на мгновение закрыл глаза. Он успел отчетливо подумать: тогда все к черту!.. Потом он закричал на Баренберга: «Где пожарные?» Баренберг улыбнулся: «Ничего нет. Ложная тревога. Это Иванникову показалось. А на телефонной — чепуха. Уже погасили». Тогда Шор начал бессмысленно

приговаривать: «Здорово! Вот так здорово! Вот так штука...» Он стоял, неуклюже расставив ноги, и улыбался.

Потом он собрался с мыслями. Он стал ругаться. Он ругал всех: Иванникова, Соловьева, Баренберга, даже американцев, ругал крепко, настойчиво, как будто он делал серьезное дело. Колька прибежал со станции. Он рассказал, как Бачинский струсил. Шор даже не поглядел на Кольку, он принялся ругать Бачинского: «Сукины дети! На минуту нельзя оставить! А еще ударники! Черт бы вас всех побрал!» Потом Шор замолк: он вдруг почувствовал, как утром, дурноту. Захотелось прилечь и вытянуться.

Подошел Соловьев — он прежде не решался показаться. Заикаясь, Соловьев спросил: «Григорий Маркович, вы к американцам поедете?» Шор сердито отмахнулся: «А ну их!.. Там и без меня обойдутся. Не могу я сейчас с ними разговаривать. Не до этого...» Соловьев поглядел на него виновато и недоуменно: «Может, поедете?» Тогда Шор тихо сказал: «Мне что-то нездоровится. Я к себе пойду». Соловьев предложил, что он отведет Шора домой. Но Шор снова рассердился: «Вы вот идите скорей к американцам! А меня оставьте. Сам дойду. Я, кажется, еще не умираю!»

Соловьев знал, что Шор упрям, и не стал настаивать.

Шор стоял, как прежде, расставив ноги. Под ногами скрипел уголь. Мимо него прошел Колька. Шор его остановил: «Ну, как твой кран?» Колька успел позабыть о своем изобретении. Он ответил: «Хорошо». Шор усмехнулся: «Что же, скоро будем клепать кауперы для четвертой?» Колька сказал: «Скоро». Тогда Шор схватился рукой за грудь. Колька перепугался: «Позвать кого?..» Шор слабо проговорил: «Не нужно. Со мной это часто бывает. Ты меня доведи до дому. Да не так — ходить я и сам могу. Просто вместе пойдем — веселей...» Шор ни за что не хотел сдаться. Он не оперся на руку Кольки. Он старался бодро шагать. Он даже улыбался. Только глаза у него были мутные и больные.

Шор жил неподалеку от доменного цеха. Они быстро дошли до дому. По дороге Шор иногда спрашивал: «Как с рудным краном?.. Я вот не знаю бетонщиков на четвертой. Там теперь Ногайцев, он что же — толковый?» Колька подробно отвечал. Потом Колька сказал: «Теперь вы отдыхайте!» Он хотел уйти, но Шор его удержал. Это было неожиданной для самого Шора слабостью: он побоялся остаться один.

Он сказал Кольке: «Ты подымись. Я тебе книжку покажу о подъемных кранах». Они вошли в комнату Шора, но Шор забыл о книжке. Он сразу скинул и меховую куртку и пиджак. Он расстегнул ворот рубашки. Колька, не вытерпев, сказал: «Я лучше доктору позвоню». Шор прикрикнул: «Никаких докторов! Я сам знаю, что со мной. Я вот лягу, а ты посиди. Поговорим. Ты, значит, в Томск едешь?..»

Шор лег. На минуту ему стало легче. Он сказал: «Паникер я. Вроде Иванникова. Еще четвертую пушу — вот что...» Он поправил подушку. «Ко мне американец приставал: где у нас квалифицированные рабочие? Ему бы тебя показать. У них на заводах — «бюро изобретений». Долларами соблазняют. Нет того, что у нас... А теперь ты мне расскажи про этого Ногайцева. Как они — управятся с фундаментом?» Колька ответил: «Я вам уже говорил». — «Ну, еще раз скажи, я прослушал». Колька начал рассказывать о бригаде Ногайцева. Вдруг он заметил, что Шор его не слушает. Глаза Шора стали еще мутней. Он с трудом дышал. Колька подошел к кровати и сказал: «Может, воды дать?» Шор ответил не сразу. Кольке показалось, что из груди Шора идет свист. Наконец он прошептал: «Дай лекарство... вот там, в шкафу... отсчитай — двадцать капель...»

Шор теперь лежал тихо и глядел на стену. Перед ним была все та же старая акварель: крыши и бледное небо. Когда Колька поднес ему чашку, он сказал: «Не нужно». Потом он напрягся и внимательно посмотрел на Кольку. Он спросил: «Как тебя зовут?.. вот по имени не помню... Колька? Ну, прощай, Колька! Ты не волнуйся. Это дело конченное. Чувствую — крышка... А ты того... Ну как это?.. Бетонщиков подгони! Дышать не могу... Ты иди! Зачем тебе это?..»

Колька побежал к телефону. Он кричал: «Скорей доктора!» Когда он вернулся к кровати, Шор лежал не двигаясь. Колька нагнулся, но сердце Шора теперь молчало. Тогда Колька сел на пол возле кровати и закрыл голову руками. Он вспомнил, как умирала его мать. Поп что-то бормотал... Она крестилась... А «старик» про бетонщиков спрашивал!.. Колька не выдержал и заплакал.

На следующее утро газета сообщила о скоропостижной кончине товарища Шора. Рядом с черной каемкой стояли цифры: домна № 3 — 382 тонны.

Весна в тот год была необычно ранняя: с середины марта зима стала поддаваться. Стояли теплые пасмурные дни. Снег набухал водой и темнел. Шорцы, которые работали на рудниках в Тельбессе, нюхали воздух и пели свои непонятные песни. Руда шла в Кузнецк через Монды-Баш. В Монды-Баше строили обогатительную фабрику. Поликарпов злобно плядел на серый болезненный снег. Жена ему сказала: «Вот, Федя, и весна! Дождались!..» Она стосковалась по теплу: это была молодая смуглая армянка. Поликарпов раздраженно ей ответил: «Ты лучше подумай о котлованах. Как хлынет эта водица, все пойдет к черту». Он еще почертыхался, а потом побежал на стройку: надо было обносить котлованы земляной насыпью.

Торопились люди, торопилась и весна. Снег не выдержал. Все покрыла вода. Она бежала, шумела и кружилась.

Старый шорец сказал Маслову: «Мы из толокна абырху варим. Выпьешь — и веселей». Маслов замахал руками: «Вот черт, надоумил!» Маслов сразу понял, что тоска у него от весны, что он не может забыть Сокольники и Наташу, что надо поскорей достать водки, тогда-то он развеселится. Он побежал к Чюмину, но Чюмин сказал, что с плотиной плохо, надо сейчас же ехать. Маслов забыл и про весну, и про печаль. «Ты набери ребят, мы это мигом уладим!»

Ариша Колобова писала мужу в Кузнецк: «Дорогой Ваня! Я хочу тебе сказать, что мы с Глашкой не управимся, и ты приезжай скорей, а то у нас весна, и я не знаю, кто будет работать». Колобов прочел письмо, задумчиво свистнул и пошел на работу. По дороге он вспомнил, как пахнет вспаханная земля, как хорошо весной в Ивановке, какая Ариша теплая и ласковая. Он еще раз свистнул и повернул назад. Вечером он уехал к себе, в деревню.

Ройзман морщил лоб. Он спросил Соловьева: «Ну как их удержишь?» Соловьев ответил: «Говорят, на Березняках — ударникам в качестве премиальных давали дубовые стулья. Думали — пожалеют бросить. А они, черти, все равно смылись». Тогда Ройзман махнул рукой: «Аграрная страна! Шут с ними! Вылезем и так...»

Дрыгин погиб во время несчастного случая на электрической станции: он зазевался, и через него прошел ток. Дрыгина хоронили с музыкой. Четыре комсомольца несли раскрытый гроб. Дрыгин лежал, покрытый красным кумачом. На его лице осталась гримаса, но в светлый весенний день эта гримаса казалась улыбкой. Семка Хомутов изо всех сил дул в трубу. Маня ему сказала: «Здорово вы заяриваете!» Семка весело посмотрел на Маню и, оторвавшись от трубы, сказал: «Потому боевой гимн». Им было весело, и они не думали о Дрыгине.

Немец Шрейдер обсуждал с Броницким проект моста. Броницкий говорил, что мост надо сделать из бетона. Шрейдер спорил: «Бетонный мост — это на пять лет...» Броницкий усмехнулся: «Зато его можно сделать сразу. А металлический останется на бумаге. Пять лет для нас большой срок. Через пять лет мы построим другой, настоящий...» Тогда Шрейдер, отложив чертежи, сказал: «Я здесь ровно ничего не понимаю. Я привык рассуждать логически. Когда я приехал в Москву, мне показалось, что я сошел с ума. Штейнберг повел меня в ресторан. Я спрашиваю, что это такое? Официант отвечает: «Петушиные гребешки». У нас даже Крупп этого себе не позволит. Потом прихожу к тому же Штейнбергу. Жена его месит глину. Она очень культурная женщина, она меня спрашивала о театре Рейнгардта. Я заинтересовался, что она делает — мне показалось, что она занимается скульптурой. Оказалось, что она приготавливает мыло из мыльного порошка для бритья. Вы это, например, понимаете? Возле моего отеля был почтовый ящик. Я поглядел, когда вынимают письма. Написано: «12 часов 29 минут». А когда я ехал сюда, наш поезд запоздал чуть ли не на сутки. Проводник говорил: «Может, завтра к вечеру и доедем». Но ведь это абсурд! Почему не привести все к одному знаменателю?» Броницкий, смеясь, сказал: «Петушиные гребешки, должно быть, из распределителей — срезают, это результат коллективизма. А проводник — это результат отсталости. Но вы не отчаивайтесь! Это не так трудно понять. Просто у нас другой подход: мы должны торопиться». Немец вспомнил, как утром он чуть было не потонул в весенних лужах. Со страхом поглядел он в окно: ручьи неслись отовсюду, бесстыдные и крикливые. Он сказал: «У вас и природа какая-то нетерпеливая. Ну, давайте посмотрим проект...»

В одну из землянок возле Верхней колонии, кряхтя, вошел землекоп Алтынов. Он принес с собой все пожитки. Девочка лет

четырех, увидав его, заплакала. Алтынов сказал: «Не плачь, девочка! Скажи, как тебя звать? Я тебе конфету дам». Девочка продолжала всхлипывать. Алтынов, осмотрев по-хозяйски землянку, начал расставлять козлы. Он постелил одеяло. Потом он сказал девочке: «Я теперь здесь жить буду. С мамкой. Вот мамка скоро придет, спечет олады. У меня масло в бутылке. Ну что же ты разрюмилась? Девочка? А девочка?»

Люба говорила Егоровой: «Боря, значит, и сказал: «Буржуазка ты, а не комсомолка. Поняття у тебя отсталые». А я скажу прямо: страшно! Он со сколькими гулял! Как с гуся вода. А мне потом расхлебывать. Я не об алиментах говорю. Но что же это, если ребенок без отца! Сразу вроде сироты. Ты мне скажи, Маша, что мне теперь делать?» Егорова ответила решительно: «Отшей!» Вечером Боря поджидал Любу возле столовки. Ухмыльнувшись, он сказал: «Айда!» Люба грустно вздохнула, но тотчас же пошла за ним.

Болтис допрашивал Степку Жукова: «Вы признаете, что вы с ней сожительствовали?» Степка насмешливо улыбался: «Сожительствовать не сожительствовал, а за речку, конечно, ходили». Болтис рассердился: «Шутки вы оставьте! Дело касается алиментов». Степка фыркнул и, выпятив свою широкую грудь, сказал: «Десяток у меня — наработал. Откуда же я столько денег выгоню? Они гуляют, значит, это ихнее дело — должны за собой следить».

В больницу прибежал кочегар Харламов. Он был весь черный от сажи. Поглядев на сиделку в белом халате, он застеснялся и тихо проговорил: «Харламова Аксинья». Сиделка ушла куда-то, а потом вернулась довольная. «Сегодня утречком, и мальчика». Харламов на радостях хотел схватить ее руку, но вовремя вспомнил, что пришел невымытый, и сказал: «Вот баба — молодец!.. Это у меня пятый — все мальчонки. А теперь я бегу — работать. Вы уж ей скажите, что муж приходил...»

В яслях при мартеновском цехе пол блестел от весеннего солнца. Ребятишки ползали по полу, кувыркались и визжали. Заведующая яслями, нацепив на нос пенсне, писала: «Если не будет налажена регулярная доставка молока, я снимаю с себя...» Вдруг она услышала крик. Она побежала к ребятам. Кричал Мишка: он ударился о косяк двери. Она взяла Мишку на руки и быстро затараторила: «Сорока-ворона...» Мишка схватил пенсне и засмеялся.

У Вари Тимашовой был выходной день. Она не пошла ни в клуб, ни к Ирине. Она сидела у себя и писала письмо Глотову. Ее губы при этом смешно двигались, а не находя нужного слова, она то и дело морщила лоб. Она писала: «Дорогой мой Петька! Бегемот ты несчастный! Что же ты мне не отвечаешь? Я совсем замучилась. Рассказываю ребятам про разных перепончатокрылых (понял? ну чем это не твои деррики?), а сама все думаю: будет сегодня письмо или нет? По-моему, с твоей стороны это даже некрасиво! Ты можешь понять, как я к тебе привязалась. У нас в Кузнецке совсем весна. Грязь непролазная — тонем, но зато весело. Началось сразу, 12-го у меня был выходной и был такой холод, что я чуть нос не отморозила. Мы ходили с Ириной на лыжах. А три дня спустя все потекло.

Ты, наверно, читал в «Известиях» про смерть Шора? Я была на похоронах. Сначала говорил Маркутов, он говорил очень хорошо: о том, что Шор старый большевик. Он был в Сибири в ссылке, много перенес, а потом приехал сюда строить, и он так описал его жизнь, что я подумала: какие это были люди! После должен был говорить Ржанов — помнишь, тот, что к Ирине ходил. Он выступил от комсомола. Но он был очень расстроен и только сказал что-то о старике и о том, что надо торопиться с фундаментом. Я стояла далеко, так что, может быть, и не все расслышала. Но говорил он с таким чувством, что у меня слезы подступили к горлу — чуть-чуть не разревелась. Было очень, очень красиво! Цветов не достали, но Ирина пошла с ребятами в лес, и они сделали красивые гирлянды из елки. В школе мы посвятили два часа рассказу о жизни Шора. Ребята слушали хорошо, а один мне даже сказал: «Таким бы быть!» Вот тебе и все кузнецкие новости. Хотят к Первому мая пустить блюминг. Тогда, наверно, приедут разные делегации, и мы заживем совсем как в Москве.

Представляю себе, как ты там наслаждаешься. Уж одно то, что можешь увидеть настоящие театры! Мы как-то с Ириной сидели до трех ночи и все переживали по газетным объявлениям, какие в Москве постановки. Я не могу себе даже представить, как это у Станиславского? Егорова говорила, что в театре многие плачут, так это жизненно, например «Дни Турбиных» или «Страх». А Ирина все мечтает о Мейерхольде. Я ей давно сказала, что она «футуристка». Она вот из поэтов признает только Маяковского и Пастернака. Вообще

у нее странные вкусы, но она очень хорошая, и без нее я совсем бы раскисла. Вот когда мы говорили о театрах, она сказала: «Тебе, наверно, Глотов все опишет». А я ей сказала: «Он пять недель как уехал, а прислал только одну открытку, что очень занят и что скоро выступит с докладом». Она перепугалась, что меня обидела, и начала доказывать, что все это — правда, теперь столько работы — не до театров, вот даже на письмо не хватает времени. Я ей, конечно, ничего не ответила. Но я-то знаю, что просто ты меня не любишь.

Вот написала, и сразу клякса. Черт знает что! На себя поглядеть противно — разве можно так привязаться к одному человеку? В особенности если это не человек, а Бегемот! Кому ты теперь говоришь «лисанька» или что-нибудь в этом роде? Скажи прямо! Ты не сердись — я это не всерьез. Я недавно всю ночь продумала и твердо решила никогда больше не ревновать. Это унижительное чувство, и оно никак не подходит к нашим понятиям.

Словом, все написанное можешь не читать. Главное, не огорчайся! У тебя, должно быть, и без этого много неприятностей. Я все ждала сообщения, как прошел твой доклад, а ты мне так и не написал. Попросила у Грольмана «Экономическую жизнь», но там ничего не было. Я даже не знаю, как ты устроился? Когда ты уехал, ты был совсем простужен, я боюсь за тебя — теперь и в Москве, наверно, оттепель, это самое опасное время. Если ты не купил себе новых ботинок, то очень прошу, отдай эти в починку, день или два можешь проходить и в сапогах. Что они некрасивые, это не важно, ты и в сапогах сможешь обольстить какую-нибудь московскую красавицу, честное слово!

Я тебе сейчас пишу, Петька, о пустяках, потому что не знаю, как написать самое главное. Я даже не знаю, — радоваться мне или плакать? Логически выходит, что надо радоваться, а я вот реву, как белуга. Дело в том, что вышла неприятность. Помнишь, в тот вечер, когда ты пришел после разговора с Броницким о командировке и мы сначала ссорились?.. Я, кажется, никогда не была так счастлива, как в тот вечер! Я давно почувствовала, что со мной неладно. Вскоре после твоего отъезда. Но не хотела поднимать панику. Очень меня тошнило, но это, понятно, ерунда. Пошла, наконец, к врачу, тот сейчас же все установил. Сказал: «Все вполне нормально». Я скажу тебе откровенно, что совсем потеряла голову. Тебя нет и не с кем даже

посоветоваться. Первое, что пришло в голову — это: немедленно аборт. Я спросила врача. Он объяснил, что необходимо пройти через комиссию. Вряд ли утвердят. Тогда придется сделать платный в Новосибирске. Это, конечно, трудно, но я все-таки сумею наскрести восемь червонцев. Я хотела купить себе пальто, не куплю, это не важно.

Но когда я совсем было решилась, я вдруг начала сомневаться. Зачем я это делаю? Ведь это не случайно! Понимаешь меня? С моей стороны это настоящая любовь. Может быть, я никогда в жизни не переживу таких минут! Конечно, я еще молодая, но когда становятся старше, больше рассуждают, а любят не то чтобы меньше, но как-то тише. Я это вижу на других. Я подумала о мальчике. Мне почему-то кажется, что обязательно будет мальчик. Тогда я увидела, как он похож на тебя. Пожалуйста, не смейся! Но я увидела: маленький, а морщит лоб, как ты, когда ты говоришь о разных твоих дерриках. Вот я сижу и мучаюсь: не могу ни на что решиться!

Я тебе об этом не писала, не хотела волновать. Все-таки это наше бабье дело, а у тебя и так много забот — вот даже мне не можешь написать двух слов. Как же я полезу к тебе с моими глупостями? Но сегодня вдруг стало невтерпеж. Кто-то прошел по коридору, и мне показалось, что это твои шаги. Я сразу вспомнила, как ты приходил, и тот вечер вспомнила. Ты не думай, что я закрываю глаза на все трудности. От тебя я не хочу ничего брать, тебе самому нужно. А я теперь получаю 112 рублей, причем вычти займы и пр. Маме посылаю 10 рублей в месяц. Картина, как говорят, яркая. Даже принимая во внимание ясли и т. п., с деньгами плохо. Потом — работа. Но все это на втором плане. Главное, меня пугает, что тебе это совсем ни к чему и что ты возмутишься. Тогда я, конечно, сейчас же сделаю аборт. Напиши мне немедленно, что ты обо всем этом думаешь. Не расстраивайся: я здорова и весела. Но только напиши! Без твоих писем я схожу с ума. Мне кажется, что ты болен или попал под автомобиль. Егорова говорила, что в Москве очень много автомобилей, они несутся не плядя, и столько несчастных случаев. Я пляжу на твою карточку, знаешь, та, с трубкой; и плачу. А здесь еще это ужасное состояние: тошнит, спать не могу, все в голове путается. Надо держать себя в руках: вчера было тринадцать уроков, пришлось заменить Сахарову, у нее ангина, словом, нелегко! Но ты не думай, что я ною. Я

вполне спокойна. Завтра иду с Ириной в кино — прислали новый фильм «Путевка в жизнь». Все говорят, что замечательно. Видишь — живу хоть куда! Смотри, береги здоровье! Не забудь про ботинки, хуже всего это промочить ноги. Крепко, крепко целую пасть дорогого моего Бегемота! Как поживает марксистская борода — подстриг? Не обращай внимания на кляксы и прочее — лень переписывать. Я тебя очень люблю, мой родной! А ты? Забыл, вот наверно знаю, что забыл! Ну, не сердись, лучше обними меня, как раньше. Я лягу и засну у тебя на руке. Знаешь, стоит только вспомнить... Нет, не буду больше! Прощай, мой любимый! Твоя Варя».

Три дня спустя Варя объясняла ребятам, что такое полынь: «Это многолетнее растение, сорняк, на вкус она очень горькая...» У Вари вдруг закружилась голова, и она села на скамейку. Костя поднял руку: «Про полынь я знаю. У нас в деревне такую песню пели: «Я полынь не сеяла, сама уродилась...» Варя сказала: «Вот, вот... В окрестностях Кузнецка много полыни, будем гулять, я вам покажу...» Раздался звонок. Ребята понеслись к двери. Варя по-прежнему сидела: она боялась шелохнуться. Но пришел Сидоров и сказал: «Для вас письмо». Тогда Варя сразу вскочила и, обгоняя ребят, понеслась вниз. Письмо было, конечно, от Глотова. Варя вдруг поняла, что не может его прочитать на людях. Она решила, что помучает себя и не будет читать письма до самого вечера. Если написал, значит, все благополучно: здоров и не забыл. Начался новый урок. Варя весело рассказывала ребятам про белок и бурундуков. Она забыла о своих хворостях. Время от времени она заглядывала и портфель: там, среди тетрадок, лежал тонкий конверт.

Из школы Варя вышла, окруженная ребятами. Мишка Калинин начал ей рассказывать, как он словил бурундука: «Он, Варвара Васильевна, ручной был, орехи у меня грыз». Варя машинально повторяла: «Да, да». Она все ждала, что Мишка сейчас повернет в сторону, тогда-то она распечатает конверт. Возле фонаря можно прочитать... Но Мишка, увлеченный своим рассказом, проводил ее до дому.

Она быстро пробежала к себе и начала читать. «Дорогая Варя! Прости, что не ответил тебе на твои ласковые письма. Я был очень занят в связи с докладом. Доклад прошел хорошо, после этого мне предложили остаться в Москве в тяжпроме. Конечно, обидно, что не

увидю теперь, как все у нас достроят. За два года я сжился с нашей стройкой. Но, с другой стороны, работа здесь тоже увлекательная: планируем, а масштаб грандиозный! Отсюда видно, что таких Кузнецков много и что не стоит придавать столько значения нашим будничным неудачам. Теперь — о тебе. Я не думаю, чтобы тебе стоило сейчас перекочевывать в Москву. Прежде всего, здесь беда с квартирами. Я приютился временно у Гавриловых. Все-таки неудобно: они молодожены и я их очень стесняю. Ищу хотя бы угол. Потом работы по специальности ты здесь не найдешь. В Кузнецке тобой дорожат, а здесь нужна совсем другая квалификация. Ты сама понимаешь, как мне больно расставаться с тобой! Но я не думаю, что мы должны связать нашу жизнь. То, что было, — для меня священо! Но мы оба молоды. У нас все еще впереди. В одном из писем ты говоришь, что любовь в жизни одна. Это очень трогательно, но прости меня, Варя, до чего это звучит по-детски! Как мужчина, я привык все анализировать. Что такое вот эта «любовь»? Для меня существует или увлечение, или привычка. Увлечения проходят... А привычка?.. Какое счастье, что мы свободны от такого тупого, мещанского чувства! Я помню все хорошее, Варя, и только хорошее! Верю, что судьба когда-нибудь сведет нас и мы встретимся как настоящие друзья.

Я буду рад, если ты будешь время от времени мне писать. Не хочу порывать связи ни с тобой лично, ни с Кузнецком. Но переутомляйся и будь здорова! Крепко тебя обнимаю. Твой П. Глотов».

Варя легла на кровать, повернулась к стенке и закрыла глаза. Она не плакала. Она не пробовала разобраться в том, что случилось. Тихо и медленно она переживала свое горе. Так она пролежала всю ночь. Утром она пошла в школу. Она улыбалась, как будто ничего и не произошло. Увидев Сахарову, она спросила: «Поправилась?» Сахарова поглядела на Варю и вздохнула: «Что это с тобой? Хворала-то, кажется, я». Варя ответила шуткой. Она спокойно рассказывала ребятам о ластоногих. Мимоходом она спросила заведующую, сможет ли она получить отпуск на десять дней: «Мне надо обязательно съездить в Новосибирск». Заведующая ответила: «Что же, Сахарова вас теперь заменит».

Когда Варя пришла домой, она раскрыла чемоданчик и стала зашивать рубашку. Постучала Ирина. Варя не ответила: она

побоялась, что Ирина начнет расспрашивать, куда Варя едет, зачем. Тогда Варя не выдержит и расплачется.

Потом ей стало так тоскливо, что она сама пошла к Ирине. Она сразу сказала: «Я завтра в Новосибирск еду», — и отвернулась, чтобы глаза ее не выдали. Но Ирина не стала ее допрашивать. Она рассказывала о детской площадке при коксовом цехе: «Знаешь, эта Куликова — молодец! Я думала, что она не справится. Ты ее видала? Такая морда, что поглядеть страшно. Вроде носорога. А сама добрящая. Сначала ребяташки ее пугались, а теперь души не чают. Я сегодня смотрела, как она играет с ними, и знаешь, один малыш начал ее передразнивать, наморщил лоб — вот так...» Тогда Варя неожиданно заплакала.

Ирина села рядом с ней, обняла ее и тихо шепнула: «Ну, не горюй! Напишет. Вот увидишь, что напишет». Варя заплакала еще сильнее. Все ее тело вздрагивало, а слезы лились и лились. Наконец она сказала: «Написал... Кончено это! Оказывается — увлечение. Он-то в Москве остается. В гору пошел... А я, наверно, для Москвы не гожусь... У них там ногти полированные... Словом, о чем тут толковать? Главное, что не любит...»

Она говорила глухо и несвязно. Ирина дала ей выплакаться. Только когда Варя притихла, она спросила: «Куда же ты едешь?» Тогда Варя снова заплакала. Она постыдилась рассказать обо всем Ирине. Она ответила: «Не скажу!» Они молча поплакали.

Потом Варя все же не вытерпела. Она шепнула: «Не хочу я ехать! Сама знаю — нужно, а не хочу. Знаешь, Ирина, наверно, мальчик, я это чувствую...»

Ирине стало страшно. Она еще никогда об этом не думала. Вот, значит, что!.. Может быть, завтра это случится и с ней? Конечно, Колька не Глотов. Он не станет говорить об «увлечении». Он ее любит. Она улыбнулась про себя, вспомнив смущенный голос Кольки: «Я тоже так думаю». Но в этих делах я Колька не советчик. Если его спросить, растеряется. Одно дело рассуждать. А здесь — ложись и кричи. Что же Варя делать? Трудно как!.. Ирина сконфуженно вытерла глаза и сказала: «Я-то, дура, разревелась...» Но Варя ее не слушала. Она говорила, как будто сама с собой: «Это ведь не случайно, не по пьянке. У него, может быть, сто раз было. А я так все переживала, до глубины... Почему эта операция?.. Я не хочу! Это все равно что себя

зарезать. Мама говорила: если сильно тошнит, значит, мальчик... Я с ума сойду!..»

Тогда Ирина стала сразу спокойной. Она еще крепче обняла Варю и начала ей тихо рассказывать: «Я недавно зашла к Рыбиной. Мальчик ее у меня. Смотрю — живот. Оказывается — четвертый. А муж уехал в Иркутск, с кем-то спутался и не шлет ни копейки. Я ее спрашиваю: «Почему вы, в таком случае, аборта не сделали?» Она как рассвирепела: «Вот еще что придумали! Бабы-то на что-нибудь годятся». Я ей ответила, что теперь женщины работают, как все, одним словом — равноправие. Она на меня закричала: «Я сама работаю в шамотном цехе. Ты что мне о правах рассказываешь? Я свои права знаю. Делегаткой была на конференции. А рожаю, значит — нравится. Ты вот учительница. Сама должна понимать — с ребятами веселее». Вот такая не боится... Варя! А Варя! Ведь не так это страшно... Как-нибудь да вылезем... Я сейчас подумала, что и не нужно тебе ехать. Если над какой-нибудь домной столько людей мучаются, надо, чтобы было для кого. А то, что же это получается? Строим, строим — и потом?.. А с деньгами выкрутимся. У меня каждый месяц остается — не знаю на что тратить, времени нет. Сложимся. Чем я хуже Глотова? Я с Куликовой поговорю. Знаешь, она прямо мировой педагог. И чисто у них. Зато как это весело, Варя! Ты представь себе — расти начнет. А потом вдруг возьмет и заговорит. Вот как ты — девчонка». Варя сидела согнувшись. Ирина в страхе думала: да она и не слушает!.. Но когда Ирина сказала «девчонка», Варя упрямо наморщила лоб. «Почему ты говоришь — девчонка? Я ведь тебе сказала, что мальчик». Ирина рассмеялась: «Да, да, мальчик. Обязательно мальчик». Тогда улыбнулась и Варя.

Ирина подошла к окну — вот и ночь прошла! Апрельское утро озорничало, и хоть не было на стройке ни березок, ни грачей, ни всего, что полагалось ему по чину, оно все же веселилось. Так хлюпали лужи под сапогами рабочих, так усмехались неуклюжие бородатые рабочие, столько кругом было синего неба и нежной, взволнованной воды.

Ирина сказала: «В школу пора!» Она начала натягивать на ноги большие рыжие сапоги — это был подарок Кольки. Она не посмела улыбнуться своему счастью и только тихо-тихо пробормотала: «В сапогах теперь хорошо!..» Потом они пришли в комнату Вари —

Ирина хотела вскипятить чай. Там все еще говорили о вчерашнем вечере. Посередине комнаты лежал раскрытый чемодан. Ирина заметила возле подушки конверт,— наверно, письмо Глотова... С тревогой поглядела она на Варю. Но Варя отпихнула ногой чемодан и стала мыться: надо было отмыть следы ночных слез. Она намылила лицо и вдруг сказала: «Все-таки в романах это куда красивей! А впрочем, ерунда! Как-нибудь да вылезу. У меня сегодня в пятой группе минералогия. Надо их заинтересовать...» Она посмотрела в окошко на огромные лужи и засмеялась: «Ирина, иди сюда, скорей! Посмотри — Соловьев-то... Он калоши в руке несет, честное слово!»

В два часа ночи Маркутова разбудил телефонный звонок. Говорил Скворцов из Монды-Баша: «Очень много воды. Боимся за дамбу...» Маркутов потер сонные глаза и крикнул: «Сейчас мобилизуем!»

Два часа спустя комсомольцы заполнили смехом и песнями станционный барак. Поезд их довез до широкой долины, затопленной водой. Здесь кончалась железнодорожная ветка, дальше надо было ехать верхом. Лошади недоверчиво ступали в воду. Дул резкий ветер. Колька Ржанов показал Антипову на огромное дерево, вырванное с корнем: «Здорово!» Антипов зевнул. «Я здесь с августа. Ста шагов нельзя пройти. Грязь, бурелом, тоска».

Тайга была упряма: она не подпускала людей. Она смыкалась глухой стеной. Навстречу пришельцам она швыряла гигантские стволы. Она вцеплялась в них едким кустарником. Она слала в разведку быстрые потоки, и эти потоки сносили все. Зимой тайгу сторожил снег, летом — свирепая мошкара. Тайга чувствовала, что люди хотят ее уничтожить, и она не сдавалась.

Тайга была упряма, но упрямей тайги были люди. Приехал геофизик Щукин. Он привез с собой восемь вузовцев. Они разбили палатку и по ночам пели частушки. Они ели рыбные консервы без хлеба и пили морковный чай, который пах дымом. Пришел шорец Ато. Он спросил Щукина: «Медведя не боишься?» Щукин засмеялся: «Только нам этого не хватало. Я с кулаками ночевал, когда раскулачивали, а ты меня медведем пугаешь!» Потом Щукин вспомнил, что шорцы отсталый народ, и он стал рассказывать о руде, которая скрыта в этих горах. Ато его молча выслушал, и он снова сказал: «Медведь здесь сердитый — неужто не боишься?»

Разведчики уехали назад в Кузнецк. Щукин с утра до ночи составлял отчеты. Потом он шел к Леле Ластовой и жаловался: «Я ведь говорил, что на юг от Темира, а Мацкевич не верил. Анализ сделали — не руда — прямо золото! Надоели мне эти комиссии! Скоро снова поедем. Там, Лелька, лафа! Живем как Робинзоны. Я теперь ружье возьму. Жрать, конечно, нечего. Зато смешно! Ну, чего

ты расстроилась? Боишься, что меня медведь съест? Эх ты, дурашка! Давай лучше целоваться!»

В тайгу повезли рабочих. Падали старые деревья. Пищали пилы. Люди сколачивали бараки. Копылин написал стишки и, послунявив листок, прилепил его к стенке: «Вот тебе и стенгазета!» Приехал Маркутов и прочел доклад о международном положении. Соколова закричала мужу: «Гляди — тараканы!» Она не то сердилась, не то радовалась: без тараканов жилье ей казалось нежилым. Жизнь в тайге становилась крепкой и ясной. У людей были синие карты с белыми прожилками. Они не глядели ни на верхушки деревьев, ни на белок, которые проворно лазили по стволам, ни на бледно-голубое небо. Они глядели только на землю, они рвались в глубь земли: под их ногами было железо.

Далеко окрест были слышны громкие взрывы. Бригадир подрывной бригады Костя Андрианов упал с горы и сломал себе ногу. Шухаев сказал: «Ну, Костя, поедешь теперь в Кузнецк. Там спокойно». Костя стал спорить: «Это, товарищ Шухаев, совершенно неосновательно. Я себя знаю — через три дня поскачу. Зачем я поеду на эксплуатацию? Мое дело другое». Он поморщился, чтобы не закричать от боли. Раздался взрыв — это работали товарищи Кости. Костя отвернулся к стенке и в тоске забормотал: «Как это я оступился?..»

Стройка ширилась, как весенняя вода. Из Кузнецка люди прошли в Монды-Баш. Из Монды-Баша одни двинулись к Темир-Тау, другие повернули на Тельбесс. Людей в стране было много, и тайга что ни день уступала несколько саженей. Это был поход на тайгу. Снова шли строители: колхозники, казахи, бабы, комсомольцы, летуны и раскулаченные. Снова женщины вязали узлы, на кошевках брякали ржавые чайники, и вопили разбуженные ребята.

Торжественно открыли новую ветку на Темир-Тау. Шухаев произнес речь: «Большевики переменили лицо Сибири!» Он проработал на стройке два года. Прошлой осенью его жена умерла от брюшного тифа. Ее похоронили в лесу. На похоронах Шухаев сморкался и, стыдясь своей слабости, говорил Крицбергу: «Идите домой! Здесь здорово сыро». Шухаев много раз ездил по этой ветке на дрезине. Он увидел наконец паровоз. Паровоз был украшен красными ленточками, как игрушка. Он выразительно свистнул. Затрубили

музыканты. Пронесся Ванька Ключев: ему сказали, будто всем строителям дают ситец и сало. Когда празднество кончилось, Шухаев пошел в лес. Он виновато оглядывался: он боялся, что кто-нибудь его увидит. Он дошел до могилы жены, постоял, сердито посопел, а потом сказал: «Вот и достроили!..»

Кассирша, широко улыбаясь, выдала первый билет до Темир-Тау. Билет купила Маша Крашенникова. Она села в вагон и замерла. Вокруг нее люди говорили о пятилетке, о бригадах, о руде. Они говорили о том, как трудно было проложить эту дорогу и как страшно менять спокойный Кузнецк на новую стройку, среди гор, рек и тайги. Они говорили о том, что в Темир-Тау плохо с хлебом, на колхозном базаре пусто, придется, видимо, подтянуть животы. Маша не принимала участия в этих разговорах. Сапожкова спросила Машу: «Ты что, на работу или к кому?» Маша сказала: «Я-то? Я к Вяткину. Может, вы слыхали — Гришка Вяткин? Он прежде в Кузнецке работал. На мартене». Сапожкова ответила: «Нет, не знаю. Много их на мартене. А он что, муж тебе?» Тогда Маша заплакала: «Я и сама не знаю. Говорил: «Давай поженимся». А потом в Темир-Тау уехал. Я ему писала. Не отвечает. А мне скоро рожать. Одной страшно. Верхом-то я не могла. А теперь поезд пустили — вот и поехала...» Сапожкова рассердилась: «Что ты — несознательная? В Кузнецке больница, а ты рожать в лес едешь». Потом она посмотрела на Машу, вспомнила свою молодость и ласково сказала: «А плакать нечего! Там тоже доктор есть. Найдешь твоего Гришку. А не найдешь, так и не надо. Ты баба хорошая — не пропадешь».

В долинах текли бурные реки, они текли испокон веков: Томь, Кондома, Тельбесс. Весной они росли, а в долгую зиму тяжело дышали под толстым льдом. У каждой реки было свое русло. Реки текли среди леса. Они знали перелетных птиц, выдр и белок. Они знали токование глухарей, течку медведицы, звериную страсть и гогот диких гусынь, которые выводили свои крикливые выводки. Людей реки не знали. Люди пришли в спокойные долины. Они угрюмо глядели на светлую воду. Они мерили, чертили, высчитывали. Потом инженер Литовский пососал погасшую трубку и сказал: «Придется отвести».

Люди отодвинули от себя тайгу. Они захотели также переменить ход рек. Кондома текла не на месте. Надо было построить два моста.

Люди решили убрать Кондому в сторону. Литовский поехал в Кузнецк. Его план был одобрен. Строители начали насыпать дамбу. Эта дамба была длиной в километр.

В весеннюю ночь зазвенел лед, а час спустя зазвенел телефон над ухом Маркутова. На дамбе гудел колокол. Бежали отовсюду люди, и, как вспугнутые светляки, метались среди гор сотни фонарей.

Утром рабочие стояли на берегу. Они угрюмо переминались. Федоров сказал: «Полезть-то просто, а ты попробуй — лед! Умирать никому не хочется...» Тогда подошел Колька с товарищами.

Кондома рвалась в свое старое русло. Весна принесла ей силы. Она отыскала лазейку и начала промывать себе путь.

Колька первый полез в воду. За ним пошли и другие. Петька Ножнев не выдержал и закричал: «Ой и холодная!» Колька сказал: «А ты не стой на месте! Подавай мешки!» Они выстроились цепью и стали передавать мешки с землей.

С комсомольцами работал партизан Самушкин. Он сидел в конторе, когда пришел Шухаев и сказал, что с дамбой неладно. Самушкин сейчас же побежал к реке. Всю ночь он, угрюмо поругиваясь, таскал мешки с землей. Увидев комсомольцев, он просиял. Он стоял в ледяной воде и мурлыкал под нос старые партизанские песни. Колька сказал ему: «Ты это, Самушкин, зря! Нам ничего — мы молодые...» Самушкин усмехнулся. Ему было за пятьдесят, но он никогда не думал о своих годах. Он ответил Кольке: «Старые на печи лежат. А если я здесь, значит, и я молодой».

К вечеру люди победили реку. Река смирилась, она пошла туда, куда ее пускали люди.

Колька позвонил Маркутову: он обещал ему дать подробный отчет. От холода Колька охрип и с трудом говорил. Он сказал Маркутову: «Сделано. Ты меня хорошо слышишь? Ну вот, значит сделано. Шухаев мне сказал, что надо остаться здесь. Черт их знает! Здесь оползни. Ребята не управляют. Понимаешь, для зарядки. Народу здесь много, а с комсомольцами ерунда. По-моему, Ванюшин совершенно разложился. Я-то хорошо слышу. А ты? Это я осип — говорить трудно. Ну, ладно, завтра еще позвоню. Слушай, Маркутов, к тебе дело. Личное. Ты Ирину знаешь? Нет, нет, мою. Коренева. В ФЗУ. Так ты ей скажи, что все благополучно. А то я уехал ночью — не успел проститься. Значит, завтра еду в Темир. Пришли газеты. Да

смотри, не говори Ирине, что я без голоса, она, чего доброго, испугается. Ну, пока!»

Шухаев, ухмыляясь, сказал Крицбергу: «Я этого Ржанова отвоевал. Пусть он теперь у нас поработает. У них в Кузнецке благодать. Прямо тебе Москва. Концерты устраивают. Честное слово! А здесь настоящего народу мало. Чуть что — сразу паника. Пусть он наших ребят поджучит».

К Первому мая начали готовиться задолго. Колесникова обещала выступить с революционной декламацией. Она становилась в коридоре и неожиданно начинала повизгивать: «Мировой Октябрь, ты раздул огни!..» Сема Плихов набрал бригаду гармонистов. Они репетировали по вечерам возле барачков, и Шухаев мучительно морщился: «Ну и уши у них!..» Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я кулич испеку». Овсянников рассердился: «Что это тебе, пасха? Это день пролетариата! Здесь надо речи говорить, а ты с куличами...» Овсянникова ответила: «Речь речью, а кулича поесть каждому приятно. Раз теперь нет пасхи, значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «А изюма-то нет...» Строители собрались на опушке леса. Рядом была тайга, огромная и непроходимая — такой она слыла прежде. Строители знали, что они пройдут и через эту тайгу.

Колька посмотрел вокруг себя: на деревья, на первую траву, на кустарник, покрытый пухом. «Черт возьми, вот и весна!..» Все эти недели он работал, не покладая рук: он боролся с весной. Теперь впервые он ей улыбнулся. Он сказал Лешке: «Здесь, наверно, птиц много. Вот бы послушать!..»

Тогда вышел Сема Плихов с гармонистами. Они поклонились и сыграли «Интернационал». Пришла Овсянникова со всеми своими детишками. У ребят на груди были большие красные банты, и Николаева в зависти зашептала: «Это она флаг стибрила в красном уголке, честное мое слово!» Чернобаев пришел в новеньких калошах, хотя на дворе было сухо. Сема спросил: «Ты что это, одурел? Или ревматизм у тебя?» Чернобаев презрительно сплюнул: «Это для самого шика, потому — праздник. В Москве все так ходят».

С докладом выступил Шухаев. Он сказал: «Мы должны помнить слова Ленина: Ленин говорил, что железо — главный фундамент

нашей цивилизации. Необходимо обеспечить Кузнецкий гигант нашей сибирской рудой!»

После Шухаева на трибуну поднялся Самушкин. Он не умел произносить речей, он путался, заикался и вытирал рукавом потный лоб, но говорил он с чувством, и строители его слушали: «Я, как красный партизан, когда-то ходил с ребятами по этой самой тайге. Здесь мы прятались от белых. Здесь вот погиб товарищ Сергеенко. Это был железный боец. Он ходил с раной, а потом его схватила лихорадка. Он пролежал весь день, а вечером подозвал меня, отдал мне свой маузер и сказал: «Прощай, Самушкин». Мы его здесь и похоронили. Тогда здесь живой души не было. А теперь, товарищи, мы здесь празднуем наше Первое мая. Я, как старый партизан, скажу вам, что смертельный бой еще продолжается, потому что надо построить социализм. Вы все помните, как мы боролись с этой проклятой Кондомой, чтобы отстоять дамбу. Товарищ Шухаев правильно сказал, что по Ленину выходит: это и есть главный фундамент. Это святые слова. Поглядите на Кольку Ржанова или на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я с ними боролся за эту дамбу. Я вам скажу, что это и есть наш главный фундамент. С такими людьми мы добудем и железо, потому что они крепче железа. Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди».

Декабрь 1932 — февраль 1933
Париж